

ГРАНИ

GRANI

138

1985

Verlagsort: Frankfurt/M., Oktober-Dezember

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947—1952 Е. Р. Романов

1952—1955 Л. Д. Ржевский

1955—1961 Е. Р. Романов

1962—1982 Н. Б. Тарасова

1982—1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XL

№ 138

1985

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир МАКСИМОВ. <i>Удальцов. Глава из романа «Заглянуть в бездну» («Звезда Адмирала»)</i>	5
Вероника ДОЛИНА. <i>Песни</i>	35
Нина БОДРОВА. <i>У реки Утраты. Стихи</i>	44

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь ЕФИМОВ. <i>Чехов о насилии</i>	47
Е. А. ТУДОРОВСКАЯ. <i>Пушкин в гриме Белкина</i>	59
А. К. ЖОЛКОВСКИЙ. <i>Искусство приспособления</i>	78
Елена ГЕССЕН. <i>Новояз-1985. Нелингвистические заметки</i>	99

КРУГ ЧТЕНИЯ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. <i>Без гнева и пристрастия</i>	114
---	-----

НАСЛЕДИЕ

Борис ПАРАМОНОВ. <i>Канал Грибоедова</i>	142
--	-----

ИСТОРИЯ

Виталий РАПОПОРТ. <i>Меч и скрипка. Очерк биографии Михаила Тухачевского</i>	210
--	-----

НАУКА

Лариса ВИЛЕНСКАЯ. <i>Чудеса и трагедии черного ящика. Что происходит с парапсихологией в СССР</i>	253
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Лев Друскин. Берегите нас, поэтов!	276
Н. Малаховская. Будничная святость	279
Т. Горичева. Трагедия русской святости	284
П. Шмидт. «Европа в огне»	287
С. Довлатов. Папа и блудные дети	291
Ю. К. Новооткрытая лирика Сергея Клычкова	295
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	300

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Владимир МАКСИМОВ

Удальцов

Глава из романа «Заглянуть в бездну»
(«Звезда Адмирала»)

Всё свершалось не по воле Наполеона, не
Александра Первого, не Кутузова, а по
воле Божьей.

Лев Толстой

1

С утра Каппель впал в беспамятство. Обмороженное, в черных пятнах, лицо его с каждым часом все более заострялось, глаза проваливались, горячечный бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы, сквозь тридевять земель, время времен и январскую стужу за окном память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов казавшейся теперь непостижимой жизни: цветения кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой, переключки смотров и парадов, шепотного забытья любви, отзвуков старинного романса, встреч, расставаний и опять встреч.

Распластанный на заскорузлых овчинах, Каппель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с явью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал:

– А, это вы!.. Да, да, я помню... Я скоро обязательно поднимусь... Сколько еще до Иркутска?.. Кто вы?.. Мне нужен Войцеховский...

С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же каппелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Каппеле, снова и снова, по упорным настояниям занемогшего генерала, пересказывая тому мельчайшие подробности выдачи Верховного.

И тот всякий раз, как бы заново, вместе с участниками, переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевавшей в нем муки:

– Я знал, я говорил, предупреждал: солдат с нагробленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать, ради ворованного добра, а союзнички – те и того гаже, им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь; всегда, во все века, предавали при первой возможности себе на выгоду, мерзавцы, дьяволом меченные, только на этот раз не отсидаются за славянской спиной, эти и до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются...

Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью или заросло полынью и чертополохом.

Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью устремлялись взглядом в сторону умирающего, но тем не менее их явно не тяготило это зрелище: в ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместий до Канска, они свыклись с присутствием смерти, которая сделалась для них частью их повседневного быта.

Время от времени заглядывал врач, будто нарочно скопированный с чеховского персонажа – бородка лопаточкой, пенснэ, усталая сутулость, едва скрытая полувоенным френчем, – беспомощно топтался около больного, механически щупал пульс, задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая:

– Чего делать, делать нечего, теперь только один Бог волен, все под Ним ходим, какая уж тут медицина, так только, для очистки совести, судьбу не вылечишь, как в народе говорят: попили-поели, пора по домам...

Бдения Удальцова возле Каппеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе, лицом к окну, вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные, в темной поросли, руки за спину. Не оборачиваясь, спросил:

– Что там, полковник?

– Все так же, Ваше превосходительство.

– Думаете, выживет?

– Едва ли.

– Вот что, полковник, – Войцеховский круто повернулся к нему, вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами. – Разведка докладывает, что положение Политического центра в Иркутске практически безнадежное, власть их – дело считанных дней, в следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров – к стенке. Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужен карт-бланш от командующего.

– Он спрашивал вас, Ваше превосходительство.

– Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник, он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому и не отпускает вас от себя, но время не ждет, полковник, сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования, вам это будет сделать легче. – От неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу. – Поймите меня правильно, полковник, Владимира Оскарыча мы уже не спасем, а Верховного, может быть, успеем. – Он пристально вглядывался в собеседника, словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ, а когда прочел наконец, сразу же облегченно расслабился. – Аркадий Никандрович, голубчик, если бы вы знали, как для меня всё это непереносимо!..

К вечеру Каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине, тело его то сжималось в судорожный комок, то

безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провальных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл:

– В правый угол... Вера... Где? Кавалергард... Тише... Не нужно... Ес...

Но явь еще не отпустила его окончательно. Она клочкотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память:

– Хорошо, что вы здесь, полковник... Кажется, легче... Неужто пронесло?.. Почему так темно, полковник?.. Нельзя ли зажечь лампу?

Глядя, как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо, Удальцов, волнуясь, заторопился:

– Вы еще совсем слабы, Ваше высокопревосходительство. – Спазмы в горле перебивали ему дыхание. – Вам надо лежать и лежать. – И уже с некоторой опаской: – Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, Ваше высокопревосходительство.

Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста:

– Давайте, – с усилием дернулся он к протянутой ему бумаге. – Только сумею ли, рук совсем не чувствую, онемели...

Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы Каппеля случайный отгрызок карандаша, и тот, стелющимся движением, успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его, вдруг окончательно обессилев, сползла к бедру и резко оцепенела.

– Всё, – не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал Удальцов и перекрестился. – Конец.

Каппель лежал вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя тихое умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильно его поразившее.

В кружении возникшей потом суеты вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в Читу Удальцов никак не мог выбрать свободной минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ перед ним как-то среди улицы, порядком осунувшийся и помятый:

– Здравия желаю, Аркадий Никандрыч, – Егорычев прямо-таки светился радостью встречи, – малость опамятовался вот, вас ищу.

Поеживаясь от лютой стужи, он устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и Удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя:

– Чёртушка, чего ты поднялся, лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!

– Никак это невозможно, Аркадий Никандрыч, никак это невозможно, – заторопился, зачастил тот, – без меня вы совсем пропадете, вошь заест, а уж куском вас обделят, как пить дать.

– Ну уж и пропаду, я ведь у тебя не дитя малое, руки-ноги есть, голова работает, выкручусь как-нибудь. – И только тут по-настоящему разглядел ординарца, замotanного с ног до головы в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки. – Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть, давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу, отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать.

Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу:

– А вы как же, Аркадий Никандрыч?

– А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским, Верховного спасать, может быть, еще успеем.

– А куда же я без вас, Аркадий Никандрыч, – умоляюще засветился тот, – чего мне там, в этой Чите, делать, а и жив ли кто дома у меня, один Бог знает?

– А ведь если со мной, Филя, то почти на верную гибель.

– Двум смертям не бывать, Аркадий Никандрыч.

И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа.

– Эх ты, голова садовая, – сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов, – нечего делать, со мной так со мной!..

Ранним утром, едва развиднелись чернильные сумерки, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом Главнокомандующего, в сопровождении конного конвоя, потянулся в сторону железнодорожной магистрали в читинском направлении.

Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозную мглу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул:

– Ну, с Богом!

И санная колонна, будто повинувшись этому выдоху, дрогнула, сдвинулась с места и медленно потекла чуть в сторону – на Иркутск.

2

Через три дня части Второй армии, двигаясь по главному, Московскому, тракту вдоль железной дороги, после десятичасового боя овладели станцией Зима, откуда Войцеховский по прямому проводу, через чешского посредника, передал иркутскому ревкому условия отмены штурма города:

«1. Немедленная передача адмирала Колчака иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.

2. Выдача Российского золотого запаса.

3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.

4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведущих переговоры».

Задержав до получения ответа Главный штаб в Зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше.

Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а Вторая направилась на тридцать-сорок верст севернее, в обход Иркутска. Шли день и ночь с минимальными передышками, без особого труда сметая на своем пути выдвинутые навстречу им красные заслоны. И лишь в верстах семидесяти от города Вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день шестого февраля и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только на утро седьмого (когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь) части Второй и Третьей армий ворвались на станцию Иннокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары, непосредственно напротив Глазговского предместья.

Остаток утра затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы Иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство.

Но к полудню, когда все оказалось готово к выступлению, грянул гром. Сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника Второй чехословацкой дивизии полковника Крейчи, в котором, в ультимативной форме, выдвигалось категорическое требование отменить захват Глазговского предместья, в противном случае, говорилось в документе, союзники выступят против каппелевцев вооруженной силой.

В помещении воцарилась провальная тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни: чехи в очередной, но теперь уже в решающий раз, предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними понастоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было.

Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побагровел и разъяренно замотал взбывчившейся головой:

— Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию, я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их при-

ителями из ревкома. – Генерала несло и сейчас даже сам он не мог бы остановить себя. – Что же это делается, господа, столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами, в четырнадцатом предали их, стали лизать задницу нам, а теперь у нас же в доме ведут себя, как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить из-под них дерьмо за объедки со своего стола, да еще и ультиматумы ставят! – Он вскинулся в сторону Войцеховского побелевшими от бешенства глазами. – На дворе за тридцать градусов, мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту, а эта разжиревшая от даровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках, с награбленным у нас добром, и еще презрительно поплевывают сверху нам на головы. Доколе же мы будем сносить это позорище, господа, не лучше ли уж тогда – пулю в лоб?

Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился всегда осторожный в суждениях генерал Вержбицкий:

– Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять Зиму. Согласитесь, если бы не майор Пржахл, своими силами мы бы не смогли этого сделать.

Но вмешательство только подлило масла в огонь.

– Пржахл, Пржахл, – снова взвился Сахаров, – надолго его хватило, этого Пржахла, Ваше Превосходительство? Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться. Нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в святцы записать готовы. Были и до него, полковник Швец, например, может, еще несколько найдется, и это на пятьдесят-то тысяч!

– К тому же, – не слушая его, продолжал гнуть свое Вержбицкий, – союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней.

При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости.

– Союзники! – вскочил он с места. – На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом – нам в спину! Веками эти союзники спят и видят – стереть с лица земли само ненавистное им название Россия, дума-

ют теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя. Только рано радуются, у Лейбы Троцкого с Ульяновым и для этой сволочи петля готова! Если мне разрешат, через двадцать четыре часа я их всех, вместе с ревкомом, поставлю к одной стенке! Я...

Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера:

– Позвольте доложить, – в эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний, – нынче утром Верховный правитель с Пепеляевым убиты!

Только тут, после длившейся целую вечность паузы, Войцеховский наконец подал голос:

– Что будем делать, господа?

Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос:

– Константин Васильевич однако прав, господа. – Сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся. – Иркутск надо брать, пускай эти сукины дети отвечают за все по закону, стерпеть это никак не возможно, господа.

Его поддержал командир ижевцев генерал Молчанов:

– Мои молодцы рвутся в бой. – В его простоватом, задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость. – Поверни их сейчас, после такого марша, в сторону – пиши пропало, боеспособная сила превратится в холостой сброд.

Но Вержицкий, со своего места, только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать:

– Возьмем город и окажемся в глухом мешке, нас начнут бить все, кому не лень, и со всех сторон: и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный: в обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым.

Остальные молчали. Молчали так красноречиво, что Войцеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы:

– Господа, как Главнокомандующий я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с про-

тивником, нам необходимо любой ценой сохранять силы для похода на соединение с атаманом Семеновым. Итак, мое решение: двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа...

Расходились молча, не глядя друг на друга, в подавленном оцепенении.

На прощание Войцеховский остановил выходившего последним Удальцова:

– Будьте любезны, Аркадий Никандрыч, задержитесь. – Он сел и жестом указал на стул против себя. – Хочу поговорить с вами совершенно откровенно. – Взгляд у него при этом скользил мимо собеседника и в сторону, он нервно сцеплял ладони перед собой, с ломким хрустом переплетая пальцы. – Положение, как видите, Аркадий Никандрыч, не из легких, это мягко говоря, а если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому я не волен распоряжаться вашей судьбой, вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору, ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет: пробивайтесь в Монголию или Китай, там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать, толпа должна перебеситься, в конце концов она устанет от собственного бедлама, тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но, Аркадий Никандрыч, ради Бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами.

Здесь он впервые взглянул на Удальцова тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем, что Главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться.

Удальцов поспешил подняться первым:

– Ваше превосходительство, – коротко откланялся он, – честь имею.

Но выходя, всей спиной, лопатками, самой кожей чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.

Из Иннокентьевской уходили затемно. И хотя на станционных складах брошенного красными интендантства людей удалось наспех, но сносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего.

Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию, следом за проводником, давно потерявшим какие-либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением: сколько можно терпеть и когда все это кончится? И ради чего?

Поэтому, когда после двух часов марша, сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выглядело миражем, галлюцинацией больного воображения: никакого жилья на многие версты вокруг никому не предвиделось. Но едва до их сознания дошло, что армия просто сбилась с дороги и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятьем Иркутск, по изломанным рядам прошелестело решительное облегчение: надо брать! Брать, чтобы одним последним рывком, смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться, наконец, в спасительном тепле, под защитой домашнего крова.

Думалось, еще мгновение, и вся эта, окрыленная внезапной надеждой, людская масса, не ожидая приказа, ринется сквозь снежную замять навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее, но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатилась над головами охлаждающая пыл команда:

– Поворачива-а-ай!.. Продолжать на юго-восток!

Дальше уже не шли, а вьюжная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. Прощай, Иркутск!

Еще в Иннокентьевской Удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким, даже сверхчеловеческим, военным искусством невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерции поразившего страну тотального распада, развала, разрушения. Земля, в крови и крике, словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обличьем и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло: происходила неподъемная для нормального человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетья подомнет его под себя, обратив в пыль или грязь своей очередной смуты.

С отступающей армией ему было только до Мысовска, оттуда пути их сразу же расходились: отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорычевым – дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше – в Китай.

«Может, и прав Войцеховский, не лукавил попусту, светского приличия ради, – думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром, – перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать всё заново».

Мутный рассвет застал каппелевцев уже верстах в пятнадцати от Иркутска, в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше – к желанному Байкалу.

Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим – курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу.

Вдали, за рекой, над зубчатой линией скалистых гор всплывало багровое, в дымном мареве, солнце, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые

оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало если не окончательное спасение, то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться, а хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади.

Хозяином дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший Адмирала еще по русско-японской кампании.

Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног, обмяк жестким лицом:

– Эх-ма, ваше благородие, вот оно как дело-то оборачивается, жила-была Рассея-матушка, во все концы корабельным носом упиралась, поглядеть – сдвинь ее попробуй с места, живот надорвешь, а как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирай ее теперь ложками. – Но, видно, проникшись наконец состоянием гостя, спохватился. – Ладно, чего уж там, располагайтесь, ваше благородие. – И уже куда-то, в глубину дома: – Мать, где ты там, мечи-ка на стол что есть, по такому случаю спозаранку пополднюем. – И снова к Удальцову, добродушно подмигивая: – А к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие!..

Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда, после черного провала в памяти, очнулся, хозяин, в валеных опорках на босу ногу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь:

– Ишь, как тебя уходило, ваше благородие, прямо снопом свалился, будто подкошенный, даже будить жалко, да только банька застынет, еще жалчее, попаримся всласть, дурь из костей выгоним, а там закусим и сызнова на боковую.

Потом, в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал вконец разомлевшему Удальцову:

– Мне ординарец твой баял, ваше благородие, будто вы с им к монголам наладились, так мой тебе совет: одолеешь Байкал, дальше не ходи, зимой вам туда никак не

добраться, тут в эту пору и местные-то далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгинете. – Он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать. – Слышь, ваше благородие, имеется у меня на той стороне, в сельце так дворов на двадцать, друг-приятель, Иваном Малявиным кличут, зверем-рыбой промышляет, у него зимовья чуть ли не по всему Иркуту заложены, я вас к нему налажу. Скажешь, от Силантьича, сразу примет, он вас до весны где хошь скроет, перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам, по суху недалёко, а в Мысовск не советую, мало чего там, в Мысовске этом, дется, может, уже красные шуруют али близко к тому.

Пар клубился под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и прелым мочалом. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, въевшуюся в самое нутро стужу, и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне.

«Не ловушка ли это? – лениво шевельнулось в нем, но тут же отлегло. – Впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока».

Тот сверху снисходительно хохотнул:

– Ординарец у тебя орел, ваше благородие, он в Иннокентьевской добра нахапал, на три зимовки хватит, а то и больше, одних пим по две пары на брата да амуниции разной мешок, как только унес. Насчет провианту, Иван от себя подкинет, промышлять можно наостриться, не такая уж мудреная наука, были бы руки-ноги да ружьишко какое-никакое, а уды ставить слепой справится.

– Байкал большой, не заблудиться бы.

– Дорога тут, ваше благородие, проще простого. – Он опять перешел на полусшепот. – Как Мысовск покажется, отваливай от своих и бери сразу по правую руку, там ходу вам останется версты две, не больше, берег один, не заблудишься, в любую избу стучи моим званием – всяк откроет, а уж Малявин Иван там первейший человек, не бойсь, ваше благородие, однава живем...

После бани, распаренные и умиротворенные, они сидели в чистой горнице, под озаренными робкой лампад-

кой образами, за холодной бражкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу:

— Четверо их было у меня, ваше благородие, один к одному, без малого изъяну народились, молодцами выросли, за ими хозяйство у меня, как за каменной стеной, стояло, а нынче где они — сыны мои, ищи ветра в поле, трое с белыми ушли, один к красным подался, одних со старухой оставили да и сгнули невесть в какой стороне, вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что, за какие грехи на нас такая напасть?

Проникаясь его болью, Удальцов вместе с ним изводился той же мукой и тем же недоумением: за что, почему, за какую непростительную вину огромная страна, со всем сущим и содержащимся в ней, ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос и с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот, рубленных из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми, деревенских избах. И опять, снова и снова, подступал горьким комком к горлу все тот же вопрос: за что?

С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытие, с этим и поднялся, чтобы под напутствия хозяев присоединиться к армейской колонне, темной лентой потянувшейся на байкальский лед.

Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся из Лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. Вконец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов, подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь.

Верхом, на санях, пешим ходом они тянулись следом за проводниками, наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом исступленном порыве пробиться к другому берегу, между ними впервые стерлась, сошла на нет разница в чинах и званиях, навсегда уравнив их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату.

Скудное февральское солнце, словно бы нехотя, перекачивалось над завьюженным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матеряющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь.

Наконец, на самом исходе дня, впереди явственно определились признаки близкого жилья: с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки: Мысовск!

Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок.

За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый болезненным туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью:

– Вот, полковник, и я занемог, – он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп, – глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарычем последую. Что у вас?

Удальцову было теперь не до условных соболезнований, вместо этого он одним духом, почти по-уставному, выложил:

– Позвольте проститься, Ваше Высокопревосходительство. Следуя вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу.

Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность:

– Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь. – И все же напоследок не удержался от красного словца: – Только помните, полковник, Россия в нас еще верит.

Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, Удальцов больше не слышал Главнокомандующего, а спустя час путники уже стучались в первые попавшие ворота обещанного им Силантьичем сельца.

4

Малявин оказался мужиком на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжелой кивнул, гостей выслушал так, будто всё это ему было не впервой, а укладывая их после скорого ужина по лавкам, только и сказал себе бабьим голоском:

– Утро вечера мудренее.

Но разбудил чуть свет, уже одетый для долгой дороги.

– Попотчуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал, да и наладимся по морозцу. – Подумал, подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо-другое, решил, видно, расщедриться. – Тут до моей заимки рукой подать, верст сорок, даст Бог перезимуете помаленьку.

Сборы были недолгими, а завтрак и того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавая еще бабенка, в темном платке, повязанном по самые брови, потчужа гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними:

– Ешьте, ешьте, касатики, хучь наспех, зато от пуза, а на дорожку-то я вам разного наложила: и мясца, и рыбки, и шанежек напекла, десятерым хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти замордуют, хучь в тайгу уходи, да ить и там углядят. – И вдруг тревожно стрельнула поочередно по тому и другому быстрым глазом. – Там у нас, на займище-то, девка наша младшая, Дарья, управляется, дак вы, молодцы, не больно-то раззадоривайтесь, она у нас така, што,

осерди только, своего не пожалует, не токмо чужого, а ежели с ей по-хорошему, клад девка, у ей вы, как у Бога за пазухой, отнимете... Ну, Христос с вами!

Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин, будто нехотя, отговорился в сторону спутников:

– Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче да и двигай ногами туда-сюда, в мой след. Ну, с Богом!

И заскользил в распахнутые ворота в синеющий расцвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже ленцой, ухитряясь при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто: широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами, лыжи непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями обвисали на ногах при подъемах, а Малявин шел себе да шел, скользил вперед, не оборачиваясь, словно и думать забыл о своих незадачливых спутниках.

Но, как водится, лиха беда начало. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой: видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту. И вскоре они уже уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода.

Вековой кедрач, в снежных шлемах с ледяными подвесками, нависал над их головами, и сквозь редкие его просветы под ноги им стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в громе и грохоте испепеляется растерзанная междоусобной войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади и не гонится больше по пятам за ними!

Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер, и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненькое:

– Притопали...

И, словно отзывавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодаль от них, перед ними обнажился, слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямо-

угольник двери, и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом, печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая, на излете, тень:

– Папаня, вы?

Потом, в неверном озарении светильной площадки, тень обернулась подбористой девахой, в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбивавшейся из-под платка темно-рыжей куделью. Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым – в мать! – глазом, но однако – и это уже в отца! – настороженно помалкивала.

По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой и надолго, если не на века: из матерых, в добрых два обхвата, лиственниц, с полом из неотесанного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой, с лежанкой, печью в углу, справа от двери.

«В такой крепости, – одобрительно осмотрелся Удальцов, – до второго пришествия зимовать можно».

Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупно просветил гостей насчет их будущей жизни:

– Завтрева лапнику наломаете, мягче перины будет, останему девка научит, она у нас на всякое дело быстрая. – Помолчал, недобро добавил: – На руку особливо.

Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем, настолько отдаленным и призрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением вытекающей из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, мои печали!

Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стороне зимовейки. В занявшейся новым теплом печи потрескивали горящие сучья. Пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофеля.

«До весны-то срок еще долгий, – мысленно одернул себя Удальцов, – не заметишь, как обабишься».

У печного зева на корточках, спиной к нему, сидела вчерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие кудельки покачивались в такт движениям у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени.

И тут же, боковым зрением, Удальцов перехватил жадно устремленный в ее же сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась, насмешливо озарившись всеми своими веснушками сразу:

– Очухались, мужики? – Она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой. – Пора и честь знать, картошка стынет!

Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих ветров и хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение стосковавшейся по теплу земли: все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера.

Днем Удальцов старался реже показываться в зимовье или около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием: тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей, на лету – по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению – угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанывал.

Время от времени навещался Малявин, зорко поглядывал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой и, после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся восвояси.

Удальцов днями кружил по распадкам, борам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему если и важными, но не первостепенными: дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать.

Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Елен в Красноярске. Что с ней, где она, смогла ли добраться до Екатеринбурга? В памяти Удальцова всплывали ее, совсем еще детское, лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути: «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви.

«Вот уж воистину сильнее смерти, – пытался посмеиваться он над собой, – перед ней все равны: и я, и Адмирал, и Егорычев!»

Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих!

Удальцов заранее знал, что найти Елен будет не просто, как не просто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами, но он верил в свою звезду; к тому же, в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь – Нокс. Ведь поклялся же тот тогда, после Тобольской передраги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки ни попросил. Словом английского офицера поклялся!

Дни тем временем складывались в недели, а те в свою очередь принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озера и протоки, сиротел, набухал корявой чернью окружающий

лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья.

Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку, дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава – смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог:

– Нишкни на месте!

Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно-беспокойные глаза. Он был в офицерской папаше и шинели с притороченным к ней меховым воротником:

– Кто хозяин? – не выговорил, а скорее прокашлял он и мгновенно, тревожным взглядом, выделил из всех Удальцова. – Ты?

Тот выступил вперед:

– Что вы хотите?

Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове, гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим:

– Всем выйти! – И к Дарье с Егорычевым. – И вам тоже. – После того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной. – Кто вы?

Запираться было бессмысленно: его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание:

– Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя Адмирала. – В нем почему-то, от слова к слову, нарастала уверенность в том, что с этим рано состарившимся мальчиком ему удастся договориться. – Что вам здесь нужно и с кем имею честь?

– Корнет Савин, честь имею, полковник. – На его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки. – Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку. Одним словом, вольница. – Прикрыл бессильно глаза, откинулся папашой к притолоке.

– У всех теперь свои знамена: у кого красные, у кого белые, у кого зеленые, один я без знамени, просто так кровь лью: и тех, и других, и третьих. – Истончившиеся губы его передернулись в нескрываемой муке. – Предлагал ведь я себя Адмиралу, полковник, еще в Японии предлагал; нет, не поверил, не взял, пустяками отговорился, а ведь могли бы мы еще тогда, – последние слова он почти выкрикнул, – могли бы, была сила!

– Нет, не могли бы, корнет, никто не мог бы.

– Почему же, – исходил тот в своей муке, – почему же, полковник!

– Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо, но чуда, к сожалению, не случилось.

– Что же, – тот снова заострился и отвердел, – тогда пусть каждый платит сам за свое, лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдаться на милость победителя, да еще такого победителя! – Он, хотя явно и без особой надежды, искал в собеседнике. – Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов подчиняться, скажите только слово, полковник. Хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь?

– Нет, корнет, у меня другие планы.

Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его:

– А знаете, как Адмирал закончил? – Но не стал ждать ответа. – Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да, видно, порода не та, но Анну Васильевну не тронули пока, держат еще, да. – Взяв на себя скобу, прощально блеснул глазами в сторону собеседника. – Ладно, живите по своим планам, полковник, Бог вам судья!

И вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним:

– Пора уходить, Филя, засиделись мы тут.

Но по тому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному.

А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями:

– Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду, от добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей, Малявин опять же не против, мужиков ныне с руками рвут, работников совсем не осталось, все – кто по фронтам, кто в сырой земле отсыпается, почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут, чего ж мне еще искать по свету, да и отыщу ли?

– Замордуют ведь, Филя! – попробовал образумить его Удальцов. – Не простят адмиральскую службу!

– А чего с меня взять, ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат – он солдат и есть, солдата куда пошлют, туда и идет, не по своей воле живет солдат, кому неведомо?

Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по-собачьи глазами.

– Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня – своя, – безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору. – Не мне тебя неволить. – Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он не разделил порыва, убрал ее за спину. – Ладно, Филя, собраться только помоги...

Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел не прощаясь, жалко было будить их.

5

Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново: все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним – в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки.

Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты ивняковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье – по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой,

казавшейся ему нескончаемой, дороге он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу: поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясинной, хрупкий подлесок — непроходимой чащей, ласковая речушка — винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв, рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход, замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство.

На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий, с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал горла душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море, от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой, с прозеленью по краям, лентой летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался: Иркут, где-то в самом своем истоке!

По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетья.

Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни, к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования.

И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю,

колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь сосновую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что кажется, припусти побыстрее – взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра.

И позади, захлебываясь в смехе, тянется за ним умоляющий голос отца:

– Аркашка-а-а!.. Бесено-о-ок!.. Останов-и-ись!..
Пожалей отца-а-а, совсе-е-ем пада-ю-ю!..

Почти в беспамятстве, Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее, сводящее зубы и скулы студеное облегчение, но едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то, в полный рост, отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревянел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе силы обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой:

– Кто ты?

– Человек, не леший.

Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и, все еще снизу вверх, любопытствовал:

– Ты откуда тут?

– Я-то тутошний, ты вот откуда взялся?

Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших, бровей.

– Напугал ты меня, брат, – Удальцов окончательно опамятовался и встал, – хоть бы голос подал.

– Лес шуму не любит, – беззлобно осклабился тот полнозубым ртом, – тише ходишь, целей будешь.

– Жилье близко?

– Э, мил-человек, тут жилья на сто верст кругом днем с огнем не сыщешь, я один тут кукую, на подножном корму.

– Не страшно одному-то?

– С людьми страшно, мил-человек, а себя чего же бояться!

– А зверье?

– Зверя не трогай, он тебя не тронет, я сам по себе, зверь сам по себе, живем – не грыземся.

– Где же ты тут обитаешь?

– А вон...

Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб, с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель врытый в землю.

– Так и живешь?

– Так и живу, мил-человек, – спокойно утвердил мужичонка и вновь васильково озарился. – Заходи, гостем будешь, чайку попьем.

Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости.

После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась Удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил наконец в ней громоздкую, из неотесанного камня, печь, занимавшую здесь большую часть места, с набросанной на ней тряпичной рухлядью, и, в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг к другу жердей.

– Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге, устроился.

– Не жалуюсь. – Тот стоял снаружи, у него за спиной.

– На мой век хватит.

– Тут и свековать думаешь?

– А куда мне податься – некуда!

– Мир большой.

– Кому как.

– Не по тебе, значит.

– Не по мне, – уверенно согласился тот. – Земля большая, а места на ней мало.

– А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь?

– Отчего прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спроворю. – И сразу захлопотал, засуетился у него за спиной. – В одночасье спроворю, мы и попьем на воз-

дышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь эта сырую низину любит, а тут высоко да сухо. Располагайся, мил-человек, опростай ноги от немочи.

Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг запылавшего вскоре костерка: ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку.

– Городского не сулю, а своим попотчую, – приговаривал он при этом, улыбочиво посвечивая во все стороны, – без рафинаду, зато с ягодой, сыт не будешь, а для дремоты лучше нету, пей да радуйся...

Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая выпитое рыбным волокном под таежный лучок, а хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо:

– Как призывали меня в германскую, так и подался я, куда глаза глядят; чего я с тем немцем не поделил, пускай воюют, кому своя голова полушка, а чужая того дешевле, а я и не жил еще вовсе, не токмо девки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше околицы носу не высывывал; на хрена, думаю, мне в этом пиру похмелье, я пока жить хочу; ноги в руки и – ходу, ходу, токо бы не забрили...

– Сам-то из каких мест?

– Пермские мы; по-разному кличут, больше водохлебами; что греха таить, мастаки у нас чай гонять из пустого в порожнее, хотя отец мой покойный, Царство ему Небесное, с Дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку:

– Чем же ты здесь перебиваешься? – уже сквозь дрему любопытствовал Удальцов. – На твоих харчах долго не протянешь.

– Говорю тебе, на подножном, а когда совсем приспичит, на трахт выхожу, Христа ради кланяюсь.

– Кто ж теперь подает?

– Свет не без добрых людей, мил-человек, особливо монголы; иной плетью огреет, а иной и подаст, с миру по нитке; да и много ли мне надобно одному-то; зимой, однако, хуже, лесным припасом живу... Э, да ты совсем смо-

рился, милок, – тенью метнулся он перед гостем, – залезай-ка в нору, там сподручнее...

Умиротворенный угощением и незлобивым говором, Удальцов в сонном полузабытье перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений.

Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим при-свистом врезался в пол за вершок от его затылка: откуда же было угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок!

Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мягкость острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу:

– Прости, Бога ради... Со страху я... Прости...

Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух: ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу:

– Будь ты проклят, тварь...

А тот полз за ним на карачках, всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая:

– Сам ить знаешь, как нынче живется, не люди – волки одне кругом; чуть сплошаешь, враз на распыл изведут... Не я тебя, так ты меня все одно извел бы... Кто ж знает, чего у другова на уме, а я ишшо жить хочу, молодой совсем, за какие грехи погибать мне тут... Прости, Христа ради, лукавый попутал, сам не знаю, как получилось, не оставь без отпущения... Прости-и-и-и!

Удальцов уходил не оборачиваясь, не мог, не хотел, не нашел в себе воли обернуться.

Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе, наподобие фата-морганы,

не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она оставалась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не исходило теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется – эта жизнь, – еще никто не знал.

Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой, занимались сумерки, горизонт темнел, проявив на своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости, и наконец, с наступлением полного заката, обозначилась перед ним, поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.

6

Дальше Удальцов уходил в одиночку...

7

Летом двадцать первого, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаянья поступился гордостью, позвонил Ноксу:

– Здравствуйте, полковник, вас беспокоит ротмистр Удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт?

В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось:

– Извините, сэр, я вас не припоминаю...

И связь тут же оборвалась.

* *

*

Вот и всё, господа хорошие, вот и всё.

8

Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года после Рождества Христова.

Песни

* *
 *

Меж нами нет любви,
 какая-то прохлада,
Как если бы у нас
 сердца оборвались.
И как ей удалось
 за пазуху прокрасться...
Должно быть, мы с тобой
 не крепко обнялись.

Меж нами нет любви,
 не нужно суесловья,
Но снова кто-то врет
 и «да» рифмует с «нет»
И снова говорит:
 «любовь, любви, любовью»,
Холодное, как лед,
 и чистое, как снег.

Но если нет любви,
 тогда какого чёрта
Мы тянем эту нить
 извечного клубка?
Затем, что не дано
 любви иного сорта,
И как-то надо жить,
 раз живы мы пока...

Там, кроме имени, число,
Которое давно прошло,
И год, и месяц – наша дата,
Тот день, что с нами был когда-то.

На наших кольцах имена,
От дней прошедших письма,
И если я кольцо утрачу,
Тех дней утратится цена.

И я кольцо свое храню,
А оброню – себя браню...
Стараюсь в нем не мыть посуду,
Оберегать его повсюду.

Так, из-за слова и числа,
Я все обиды бы снесла,
Свое кольцо от всех напастей
Я б защитила и спасла.

Кольцо храню я с давних пор
От взора-вора, вздора ссор,
Но в мире нет опасней вора,
Чем вор по имени «Раздор».

Мое кольцо, меня спаси,
Возьми меня, перенеси
В тот самый миг, когда гравёр
В тебе свой первый штрих провел...

О СЫНЕ МОЕМ И О ЕГО ОТЦЕ

Мой сын безбожно на отца похож,
Он тоже светлоглаз и белокож.
Я часто, глядя на него, не верю,
Что это сын мой, что ему я мать.
И я боюсь, что сходство неспроста,
Что время всё поставит на места,
И женщине, как я, черноволосой,
Он тоже будет что-то объяснять.

Она, кивая, выслушает речь,
Останется в подушке контур плеч,
И тоже точно так, как я когда-то,
Всё будет вспоминать его слова.
Слова ведь тоже были неспроста,
Одна лишь строчка посреди листа,
И мне они давным-давно забылись:
«Любимая, ты слишком уж смугла...»

А впрочем, только время им судья,
Одно лишь только время, но не я.
И если он ту женщину оставит,
Пожму плечами: дескать, ну и что ж?
А женщина останется одна
И назовется «бывшая жена»,
И – вот ведь штука – родит мне внука,
Который тоже будет на него похож...

ИГРА В СОЛДАТИКИ

Синие солдатики, красная карточка:
Идет война Двенадцатого года.
Нам наши силы надобно беречь,
Раз на дворе такая непогода.

Мы не гуляем – дождик за окном,
Всё ждем, что переменится погода.
У нас полки и роты под огнем,
У нас война Двенадцатого года.

Мой сын, похоже, полюбил войну,
И что ни день у нас – то новобранец,
Солдатский кивер и солдатский ранец –
Иных игрушек не дари ему.

А Горбунок несется все быстрее,
А где-то зайцы скачут по опушке.
Дитя забыло кукол и зверей,
По целым дням у нас грохочут пушки.

Еще не скоро в школу он пойдет
И поведет сражения на парте.
Ему четвертый год, и он ведет
Свои полки против Буонапарте.

Но, слава Богу, драпает француз,
Мы победили в сей неравной схватке,
Мой храбрый сын подкручивает ус:
Какое счастье! Всё у нас в порядке!

* *
*

Дружок, когда поет рожок,
 как флейта,
На мачте плещется флажок,
 как лента.
Мы покидаем берега
 и мчимся,
Как будто нам не дорога
 отчизна.

Ах, мы не матросы,
 но эти вопросы
Нас стиснули,
 как ледяные торосы.
Совсем обступили,
 и мы отступили,
Родным на беду
 погибаем на льду.

С собою пару пустяков
 сложили,
Как будто двадцать пять годов
 не жили,
Как будто не было беды
 и боли,
И не хватало нам воды
 и соли.

Ах, мы не матросы,
но эти вопросы
Нас стиснули,
как ледяные торосы.
Совсем обступили,
и мы отступили,
Родным на беду
погибаем на льду.

Как будто в полосу вошли
такую,
Мы всем болезням предпочли
морскую.
И вот нам дышится ровней
и глубже,
А голоса родных, друзей
всё глуше.

Ах, мы не матросы,
но эти вопросы
Нас стиснули,
как ледяные торосы.
Совсем обступили,
и мы отступили,
Родным на беду .
погибаем на льду.

ПЕСНЯ СЕРОЙ ШЕЙКИ

Какие тут шутки,
когда улетает семья!
Последствия жутки,
об этом наслышана я.
Судьба не копейка –
Мне попросту не повезло:
Я Серая Шейка,
и мне перебили крыло.

Семья улетает...
Прощайте, прощайте, семья!
Меня угнетает,
что сестры сильнее, чем я.
«Взлетай, неумейка!» –
мне эхо с небес донесло.
Я Серая Шейка,
и мне перебили крыло.

Гляжу близоруко,
гляжу безнадежно во мглу,
Но я однорука
и, значит, лететь не могу.
«Счастливо, счастливо!» –
кричу я вдогонку семье.
Тоскливо, тоскливо
одной оставаться к зиме...

Тоскливо и жутко
готовиться к лютой зиме.
Последняя утка,
последняя утка на этой земле.
«Судьба не копейка», –
мне здешние птицы твердят.
Я Серая Шейка,
пускай меня лисы съедят.

РАЗГОВОР С ПОСЛЕДНЕЙ ПЕСНЕЙ

Не боюсь ни беды, ни покоя,
Ни тоскливого зимнего дня,
Но меня посетило такое,
Что всерьез испугало меня.
Я проснулась от этого крика,
Но покойно дышала семья.
«Вероника, – кричат, – Вероника,
Я – последняя песня твоя!»

– Что ты хочешь? – я тихо сказала, –
Видишь, муж мой уснул и дитя.
Я сама на работе устала,
Кто ты есть? Говори не шутя.
Но ни блика, ни светлого лика,
И вокруг темноты полынья.
«Вероника, – зовут, – Вероника,
Я – последняя песня твоя!»

– Что ты кружишь ночью совою,
Разве ты надо мною судья?
Я осталась самою собою,
Слышишь, глупая песня моя?
Я немного сутулюсь от груза,
Но о жизни иной не скорблю.
О, моя одичавшая муза,
Я любила тебя и люблю!

Но ничто не возникло из мрака,
И за светом пошла я к окну,
И во тьме заворчала собака,
Я мешала собачьему сну.
И в меня совершенство проникло
И погладило тихо плечо,
«Вероника, – шепча, – Вероника,
Я побуду с тобою еще».

* *
* .

Теперь все чаще хочется друзьям
Сказать: «Благодарю вас, дорогие»,
За то, что вы со мной, когда другие
Рассеяны давно и там и сям.

Меня благословлявшие вчера,
Сегодня не успели попрощаться,
Им незачем оттуда возвращаться,
А мне туда покуда не пора.

Но вот однажды старенький альбом
Ленивою рукой достанем с полки...
Ах, зеркала печальные осколки
Дают изображение с трудом.

То памятное наше торжество,
Где ты теперь звучишь, мой голос слабый...
Была бы слава, я б делилась славой,
Но ничего здесь нету моего.

И станут возрождаться имена,
Как будто возвращенные из плена:
Сначала «Валентин», потом «Елена»,
И лучшие наступят времена.

Мы, как живые, под руки пойдем,
И будет исходить от нас сиянье,
И целый мир нам будет милый дом,
И сгинут рубежи и расстоянья!

Пока же мне не подан тайный знак,
Стихи я буду складывать и вещи.
Мне кажется, виденье было вещим:
Мы свидимся, не знаю, где и как...



Нина БОДРОВА

У реки Утраты

М. Щ.

I

Есть круг среди верных кругов.
Есть ветер средь вѣтров.
Чистейший покров
Приносит как будто навечно.
Под корочкой мокрого дня
Блеснет голубым опереньем
Родная земля,
Ее многозимье.

II

С предельной грустью надо сообщить,
Что стынет дождь, едва из колыбели,
И леденеет, долетев до цели,
Всю землю превращая в скользкий щит.

С предельной грустью надо сообщить –
Осеннее пальто совсем промокло
И кажется тяжелым и нетеплым
И от простуды вряд ли защитит.

С предельной грустью надо сообщить,
Что от небес совсем пощады нету,
И есть резон российскому поэту
Талант и счастье в землю схоронить.

И надо сообщить – суров ноябрь,
И в красной книге все отцы и деды...
И мы с тобою по тому же следу,
С повадкою некормленных кутят.

В том петербургский климат виноват.

III

Свет вспыхнет, ныряя в стекло.
Ночь ярче от этого блеска.
Распахнута занавеска –
Весь двор занесло.
Стук ложек в кофейном чаду
Похож на негромкую песню,
В которой так ясно и веско,
Сквозь слов чехарду,
Доносится весть о жилье,
О горьком сиротстве, о братстве,
С которым уже не расстаться
В огне и аду.

IV

Ты, как подстриженный неволей,
Негромкий и совсем не свой,
Один не стоек и не воин –
Аника-воин среди войн.

Что делать т а м, где всё – наветы,
Не защитить и не спасти.
В морозной дреме русской леты
Там просто кануть и застыть.

Нам равный груз давил на плечи.
...И я тебя не берегла
В той мгле, где странность человечья
Так истязеемо светла.

Прощаться не надо, не надо.
Пока нам даровано жить
За дальней тяжелой оградой
Хоть тень за ладонь удержи.

Пройдемся по бледным полянам,
По ельнику в желтых цветах.
Не поздно еще и не рано
До трех досчитать и до ста.

Не только кукушка, ромашка,
Но даже ольха и орех
В заросшем окопном овражке
Уже подсчитали наш век.

Уж день измеряется часом,
Но всё же не будем, постой.
Пока не война, не несчастье,
Не всадник с железной косой.

1981



Чехов о насилии

Нет писателей универсальных. Даже у самых великих та или иная сторона душевной жизни человека оказывается незапечатленной, какая-то краска отсутствует в палитре. Если мы захотим прикоснуться к миру тихой лирической созерцательности, вряд ли мы снимем с полки том Достоевского. Гоголь почти ничего не знает о любви. Бушевание мрачных, сжигающих душу страстей – не в романах Тургенева мы прочтем о нем. Толстой ничего не расскажет нам о поэтическом, творческом огне – его подозрительно-недоверчивое, пронизанное морализмом отношение к феномену искусства делало его слепым в этом отношении. Набоков же, наоборот, представит нам мир, населенный людьми, не слыхавшими о противоборстве добра и зла.

Чехов – не исключение. И в его восприятии человека есть заметная лакуна. Он очень плохо понимает природу людской злобы. С другой стороны, будучи великим художником и сострадательным человеком, он не мог закрыть глаза на проявления жестокости, которые видел каждый день в окружающем его мире. Люди мучили, унижали, убивали друг друга – и он не мог не писать об этом. Попробуем же проследить на нескольких примерах, как преломляется в его творчестве столь чуждая его душе тема жестокости и насилия.

I

У Чехова есть несколько произведений, в которых совершается убийство. Тринадцатилетняя Варька в рас-

сказе «Спать хочется» (1888 г., т. 6, стр. 10*) убивает порученного ее присмотру ребенка. В рассказе «В овраге» (1900 г., т. 8, стр. 417) невестка старика Цыбукина Аксинья, озлившись, насмерть обваривает кипятком годовалого племянника. Брат и сестра Тереховы разбивают голову брату Матвею – рассказ так и называется: «Убийство» (1895 г., т. 8, стр. 32).

Хотя сам акт убийства является кульминационным в каждом из произведений, описан он всегда с чрезвычайным лаконизмом. Взгляд художника в этот момент словно бы подменяется взглядом газетного репортера. Так, в рассказе «Спать хочется» это всего лишь деепричастный оборот из двух слов: «Задушив его (ребенка), она быстро ложится на пол...» (т. 6, стр. 15). В рассказе «В овраге» – три строки:

– Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. (Т. 8, стр. 446.)

Подробнее всего сцена описана в рассказе «Убийство» – 14 строк (т. 8, стр. 53). Но разве можно сравнить ее по красочности и детальности с многостраничными описаниями убийства старухи-процентщицы или старика Карамазова у Достоевского?

В каждом из упомянутых рассказов убийство совершается не потому, что человек заранее задумал и в корыстных целях осуществил свое преступление, а просто потому, что у него истощился запас терпения – физического или духовного. Не стало сил дальше выносить усталость, обиду, раздражение – и проливается кровь. Даже Аксинья, которая в результате гибели маленького Никифора получает свое вожденное Бабёкино, действовала не целенаправленно, а в припадке ярости.

Само убийство описано во всех рассказах весьма кратко – зато раздражению, накипавшему в душе убийцы, уделены, как правило, целые страницы:

* Здесь и дальше цитируется по 12-томному собранию сочинений Чехова, Москва, 1953-57 гг.

Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечернюю; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» – и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

– Грех, какой грех! – сказал он укоризненно и вздохнул. – Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтоб не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А может быть, все это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему покойно соображать.

(Рассказ «Убийство», т. 8, стр. 51-52)

Даже в шуточном рассказе 1887-го года «Драма», заканчивающемся знаменитым «Присяжные его оправдали», нарастающая тоска известного писателя, вынужденного выслушивать пьесу пришедшей к нему графоманки, описана вполне серьезно.

Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания... Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета; виден был только один еедвигающийся рот...

(«Драма», т. 5, стр. 238)

Да, о раздражении, тоске, скуке никто лучше Чехова не писал. Но иногда возникает ощущение, что и

злобу людскую он пытался понять через знакомое ему чувство и воображал ее просто доведенным до предела, гипертрофированным раздражением. Недаром Достоевский, давший нам такое многообразие мотивов человеческой вражды и ненависти, всегда оставался чужд ему. В переписке Чехова многократно упоминаются Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой и другие русские писатели. Имя же Достоевского упомянуто всего лишь два-три раза, и лишь в одном письме 1889 года дан краткий отзыв: «Купил я в Вашем магазине Достоевского и теперь читаю. Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий» (письмо к Суворину, т. 11, стр. 339).

Все это отнюдь не значит, что Чехов в с е г д а изображает проявления злобы и жестокости как результат истощившегося долготерпения человека. Очень часто люди в его произведениях мучают друг друга просто так, ни за что.

– Ма-арья! – раздался крик у самой двери.

– Вступитесь Христа ради, родименькие, – залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду, – вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий, чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, – страшный. Это был Кирыак. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, тотчас же у нее из носа пошла кровь.

– Экой срам-то, срам, – бормотал старик, полезая на печь, – при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирыак схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее.

(«Мужики», т. 8, стр. 205)

Без всякой причины невзлюбили мужики деревни Обручановой инженера Кучерова и его семейство, обосновавшееся на даче неподалеку от них. Инженер при встрече пытается усовестить их:

– Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы, – продолжал он. – Дело вот в чем. С самой ранней весны каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими пастухами; их просишь, а они грубят... Разве так поступают порядочные люди? Неделью назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в Ереснево, и теперь мне приходится делать три версты круга. За что же вы вредите мне на каждом шагу? Что я сделал вам дурного, скажите Бога ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте.

(«Новая дача», т. 8, стр. 368)

Ничего не помогало, не действовали ни подарки, ни уговоры. Причем создается впечатление, что не к самому семейству Кучеровых испытывали вражду мужики, а именно к атмосфере доброты, благополучия и покоя, царившей там, именно ее пытались разрушить. Вот пьяные хулиганы, отец и сын Лычковы, являются к Кучеровым во двор и на глазах у семьи, пьющей чай на террасе, устраивают безобразную драку.

Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стукали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьезные.

(«Новая дача», т. 8, стр. 376)

Хотя многие и не одобряют хулиганов, никто не пытается остановить их. Вообще, воспрепятствовать злодею, защитить невинную жертву, встать на пути обидчика – такого мы почти не найдем у Чехова. Да и вспомним ли мы хоть одного героя в русской литературе, который добровольно взял бы на себя роль заступника? Утешить, пожалеть, пригреть – это да. Но заступиться... То ли в жизни такого не было, то ли не смотрели на заступ-

ника как на героя. Для удерживания и наказания убийц и насильников существовало начальство, а начальство, как мы знаем, само сплошь и рядом пользовалось людьми жестокими и несправедливыми.

Чехов не питал иллюзий ни в отношении власти имущих, ни в отношении народной массы. В знаменитой повести «Мужики» цензура даже вырезала страницу, полную горьких слов в адрес жителей деревни Жуково¹.

В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее.

(«Мужики», т. 8, стр. 232)

II

Когда Достоевский встретился с молодым философом и поэтом Владимиром Соловьевым, тот ему очень понравился. Они говорили о вере, о Христе, о добре и зле, и Достоевский несколько раз повторил: «Да, вы всё это замечательно понимаете и хорошо объясняете. Вам бы только еще на каторге побывать...»

Представление о том, что, не окунувшись в море людских страданий, нельзя понять суть жизни, было очень прочным в кругах русской интеллигенции. Возможно, именно под воздействием этой идеи Чехов принял в 1890 году удивившее всех его знакомых решение – отправиться за тысячи верст на Сахалинскую каторгу.

«Остров Сахалин» – самое крупное произведение Чехова (340 страниц) и, может быть, наименее читаемое.

Конечно, увлекательным его не назовешь. Очень часто оно принимает обличье сухого чиновничьего отчета, перечисляющего просто число душ мужского и женского пола в такой-то деревне, количество вольных среди них, каторжных и отпущенных на поселение, количество скота, пахотной земли, инвентаря, упоминающего погодные и природные условия, возможности для развития промыслов. Портреты встречаемых писателем людей и их судьбы набросаны порой двумя-тремя штрихами, порой выписаны довольно подробно. Подавляющее большинство этих реальных персонажей – либо осужденные преступники, либо надзиратели, тюремщики, солдаты, представленные охранять их и постепенно проникающиеся тем же духом насилия и жестокости.

Страшна жизнь на острове, страшны люди, страшны нравы.

Убийство – одно из самых частых преступлений на Сахалине, вероятно, потому, что половину ссыльных составляют осужденные за убийство. Здешние убийцы совершают убийства с необыкновенною легкостью. Когда я был в Рыковском, там на казенных огородах один каторжный хватил другого по шее ножом для того, как объяснил он, чтобы не работать, так как подследственные сидят в карцерах и ничего не делают. В Голым Мысу молодой столяр Плаксин убил своего друга из-за нескольких серебряных монет. В 1885 г. беглые каторжные напали на аинское селение и, по-видимому, только ради сильных ощущений занялись истязанием мужчин и женщин, последних изнасиловали, – и в заключение повесили детей на перекладинах. Большинство убийств поражают своим бессмыслием и жестокостью.

(«Остров Сахалин», т. 10, прим. на стр. 335)

Чехов отнюдь не пытается представить осужденных невинными страдальцами. Он помнит о жертвах их преступлений, время от времени рассказывает и о них. Вот, например, история некоего Пищикова:

Этот Пищиков засек нагайкой свою жену, интеллигентную женщину, беременную на девятом месяце, и истязание продолжалось шесть часов; сделал он это из ревности к добрачной жизни жены: во время последней войны она была увлечена пленным турком. Пищиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить на свидание и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турок уехал, девушка полюбила Пищи-

кова за его доброту; Пишиков женился на ней и имел от нее уже четырех детей, как вдруг под сердцем завозилось тяжелое, ревнивое чувство...

(«Остров Сахалин», т. 10, стр. 192)

И все же жестокость преступления, за которой следует жестокость наказания, которая влечет за собой жестокость новых преступлений, – этот порочный круг гнетет сердце и ум писателя. И, пытаясь отыскать выход из беспросветного мрака, он невольно и, видимо, сам того не замечая, соскальзывает к тому искажению взгляда на мир, которое так хорошо знакомо нам по сегодняшним газетам, журналам и телепрограммам свободного мира. Картина складывается таким образом, что все наше внимание невольно приковывается к убийце, преступнику. Он предстает перед нами как живой, страдающий человек, заполняет страницы и экраны, в какой-то мере выглядит исключительной личностью; жертвы же его всегда где-то на заднем плане – безлики, заурядны, мертвы. «Что тут можно сделать? – мельком вздыхаем мы. – Мертвых не воскресишь, надо заботиться о живых».

Точно так же и у Чехова сострадание обращено главным образом на тех, кого он видит перед собой, – на осужденных. Вот привозят на каторгу женщин. И в примечаниях Чехов упоминает, что среди них убийцы составляют 57%, а отравительницы превосходят число мужчин-отравителей в три раза (т. 10, стр. 250). В тексте же назовет их «жертвами любви и домашнего деспотизма» (т. 10, стр. 251), а потом талантливо опишет кошмар их существования на острове. На страницах 342-45 подробнейшим образом описано наказание плетьюми некоего Прохорова, при котором Чехов присутствовал. И лишь в полстроки сказано, за что: «за убийство казака и двух внучек». Запомним ли мы этого казака и двух его внучек? Нет, мы будем помнить лишь крики истязаемого, синебагровые рубцы на привязанном теле, кожу, лопающуюся под каждым ударом.

Похоже, что сама идея наказания, возмездия за преступление кажется Чехову не только отталкивающей, но и глупой.

Пока несомненно одно, что колония была бы в выигрыше, если бы каждый каторжный, без различия сроков, по прибытии на Сахалин тотчас же приступал бы к постройке избы для себя и для своей семьи и начинал бы свою колонизаторскую деятельность возможно раньше, пока он еще относительно молод и здоров; да и справедливость ничего бы не проиграла от этого, так так, поступая с первого же дня в колонию, преступник самое тяжелое переживал бы до перехода в поселенческое состояние, а не после.

(«Остров Сахалин», т. 10, стр. 234)

«Справедливость ничего бы не проиграла», – смело заявляет писатель, но все же считает необходимым привести хоть какой-то аргумент в защиту этого утверждения. Сама же идея, что человек, которому дадут избу и землю, станет непременно жить со своей семьей в этой избе и честно пахать и сеять, как бы даже не подвергается сомнению. И действительно, ведь не может же человек быть настолько глуп и жесток, чтобы ни с того ни с сего выйти из замечательной избы, отправиться в кабаки, пропить ее, проиграть в карты, а там, с горя, начать пускать красного петуха и резать соседей?

III

Чешский писатель-эмигрант Милан Кундера опубликовал недавно в книжном приложении к «Нью-Йорк Таймс» эссе², в котором рассказывал, как после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году он потерял всякую возможность заработка и как друзья предложили ему сделать (под псевдонимом) инсценировку «Идиота» для театра.

Я перечитал «Идиота» и понял, что, даже если бы я голодал, я не мог бы взяться за эту работу. Мир Достоевского, наполненный экзальтированными жестами, мутными безднами и агрессивной сентиментальностью, отталкивал меня... Откуда такое внезапное отвращение к Достоевскому? Не было ли это антирусской вспышкой в душе чеха, уязвленного оккупацией его страны? Нет, потому что я продолжал любить Чехова... Что меня раздражало в Достоевском, это атмосфера его романов: мир, в котором все преобразовывалось в чув-

ства; другими словами, где чувство было возведено в ранг ценности и истины».

И далее Кундера связывает мир торжествующей восточной эмоциональности Достоевского с миром, пославшим танки на улицы рациональной западной Праги.

Поэт Иосиф Бродский в ответном эссе³ вступился за Достоевского и справедливо указал Кундере на то, что «Капитал» был написан на рациональном Западе примерно в те же годы, когда эмоциональный восточный писатель боролся с молодым еще призраком коммунизма, создавая «Бесов». Кроме того, за тридцать лет до 1968 года вражеские танки вторглись в Чехословакию с другой стороны, но никто не пытался связать это историческое событие с произведениями Гёте или Шиллера.

И все же, нет сомнения, что Кундера абсолютно искренен в описании переживаемых им чувств. Он просто дает неубедительное истолкование их. Не потому он испытывал отвращение к Достоевскому, что у того чувство было возведено на трон, а потому что ощущал в нем опасность для своей системы представлений о мире. Кундера так восхваляет рациональное начало в жизни, что становится очевидным: художественная правда произведений Достоевского, включавшая в себя воссоздание иррациональной злобы в человеческой душе, таила в себе нешуточную угрозу для него. И недаром вспышка раздражения чешского писателя пришлась именно на 1968 год. Именно в этом году чехи пытались разговаривать с Кремлем «разумно» и получили в ответ танки. Поражение было не только военным и политическим, но и интеллектуальным.

На Западе весьма чтут Достоевского, но фильмы ставят по Чехову, чеховские пьесы не сходят со сцен театров и с телеэкранов – он ближе. Бродского осыпают почестями и премиями, но в массовую продажу идут книги Миланы Кундеры – он понятнее. И думается, здесь мы имеем дело не с разницей литературных вкусов, а с чем-то более глубоким.

Восторжествовавшая в Западной культуре система взглядов отрицает онтологический трагизм человечес-

кого бытия, отрицает феномен зла. Зло объявляется побочным продуктом тех или иных обстоятельств: невежества, эксплуатации, отсталости, колониального наследия, классового или расового неравенства. Западная Европа не верила, что нацизм был рациональной формой организации иррационального зла, и поддерживала миролюбивого Чемберлена, который утверждал, что если отдать Гитлеру Чехословакию, у него просто не останется разумных причин начинать войну. Америка не верила, что японский милитаризм будет завоевывать всё новые и новые территории с безрассудным упорством, и дождалась разгрома своего флота в Перл-Харборе. Не верит западный образованный слой и сегодня тысячам беглецов от коммунизма, и аргумент этого неверия остается все тем же: «описываемое вами зло слишком иррационально, а сами вы слишком эмоциональны, чтобы вам можно было поверить». И все же, при всей опасности этого ослепления, вырастает оно не столько из равнодушия и верхоглядства (хотя и этого вполне хватает), но больше из некоего прекраснодушия, которое так близко чеховскому мироощущению. Живи Чехов сегодня, мы, скорее всего, увидели бы его в рядах демонстрантов-пацифистов рядом с доктором Споком (два доктора, два самых читаемых автора), или у ворот атомных электростанций с плакатом в руках.

С другой стороны, и беглецы от коммунистического зла очень часто впадают в обратную крайность. Они не верят в искренность ослепления Запада и пытаются упрощенно объяснять гигантские массовые движения за мир, за невмешательство, против апартеида и тому подобные, одной лишь пропагандой либеральной прессы и происками кремлевских агентов и агитаторов. Более того, они тоже по сути отрицают наличие низменных и злых страстей в душе человека, когда истолковывают коммунизм не как социально-политическую реализацию этих страстей, а лишь как некое опасное наваждение, как эпидемию, поражающую невинные и добрые народы извне. Откуда же берутся другие формы политического зла, как вырастают режимы Гитлера, Муссолини, Дювалье, Иди Амина, Хомейни? На это мы не получим ответа.

Правда, конечно, и то, что не Чехов даст нам ответ, не он раскроет природу и источники зла, насилия, жестокости. Но чему мы можем поучиться у него – это упорству вопрошания. Снова и снова возвращается он к теме зла, столь чуждой и непостижимой для него, всматривается, отказывается принимать поверхностные и готовые толкования, преломляет под разными углами в своем творчестве. О, если бы проповедник Билли Грэм провел в Советском Союзе столько времени, сколько Чехов на Сахалине, если бы смотрел вокруг себя открытым взглядом, может, не решился бы он объявить всему миру, что в СССР религиозная жизнь не знает притеснений. Но и для нас, так близко столкнувшихся с миром организованного насилия в его опаснейшей на сегодняшний день форме, Чехов должен оставаться ярким примером, показывающим: есть люди, не знающие зла в собственной душе и потому не верящие в наличие его в других, но при этом честные умом и сердцем настолько, что взгляд и слух их остаются открытыми. Они могут услышать нас – но и мы должны вслушиваться в их слова с тем же вниманием и доверием, с каким до сих пор вчитываемся в Чехова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примечания к повести «Мужики», т. 8, стр. 525.
2. «The New York Times Book Review», issue Jan. 6, 1985.
3. Ibid., issue Febr. 17, 1985.



Пушкин в гриме Белкина

Рассказчики «Повестей Белкина»

Издавая «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», Пушкин старательно законспирировал свое авторство. В предуведомление «От издателя» он включил письмо от некоего помещика А. П., соседа «покойного Белкина», в котором во всех деталях обрисована личность мифического автора «Повестей». Иван Петрович Белкин – отставной офицер, малообразованный помещик и добрый человек. Он «получил первоначальное образование от деревенского дьячка», которому «обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности». Он мало интересуется своим хозяйством, но трогательно предан литературе. По свидетельству соседа, «Повести» были его первым опытом. Кроме «Повестей», «Иван Петрович оставил множество рукописей...», в частности, рукопись неоконченного романа*. Помимо того, Пушкин приписал сюжеты «Повестей» различным рассказчикам: в рукописи Белкина якобы «над каждой повестью рукой автора (т. е. Белкина. – Е. Т.) надписано: слышано мною от такой-то особы». Издатель иронически дополняет: «Выписываю для любопытных изыскателей...» (это мы с вами! – Е. Т.), и далее следует перечень рассказчиков, их «чин и звание» и инициалы. Рассказчики, по-видимому, были предусмотрены уже в первоначальном замысле Пушкина. Они сами участвуют в

* Не собирался ли Пушкин и свой неоконченный роман «Дубровский» приписать И. П. Белкину?

рассказах, являются живыми свидетелями событий (как в «Выстреле» или в «Станционном смотрителе») или же наложили отпечаток своих вкусов на фабулу повести (так, в «Метели» и «Барышне-крестьянке», рассказанных «девицей К. И. Т.», дан романтический поворот событий с тайнами, переодеваниями, узнаванием). То есть, «Повести» сразу же были написаны с участием рассказчиков. Но впоследствии, быть может, Пушкин решил что этого недостаточно для конспирации, и ввел фигуру общего автора «Повестей» – И. П. Белкина, который уже совсем не участвует ни в действии, ни в рассказывании повестей. Белкин, как и его сосед (человек провинциальный, простодушный и старомодный), – всего лишь обрамляющие персонажи книги.

Все это можно было бы посчитать нередкой в то время литературной мистификацией. Но, приступая к изданию «Повестей» в 1831 году, Пушкин пишет своему издателю Плетневу (перечисляя правила, «коими будем руководствоваться при издании...»): «...Смирдину (книгопродавцу. – Е. Т.) шепнуть мое имя с тем, чтобы он перешепнул покупателям», – стало быть, это тайна не от публики. Тогда от кого же?

Еще в декабре 1830 года Пушкин сообщает Плетневу: «Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Анопуме*. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает». Неужели это было настолько страшно, что Пушкин предпочел рискнуть навлечь на себя неудовольствие царя, если Анопуме раскроется? Еще в 1826 году, возвращая Пушкина из ссылки, император Николай сказал поэту: «Я сам буду твоим цензором». «Царская милость» обернулась для Пушкина тяжелой зависимостью: так, попытка напечатать стихотворение («Анчар»), проведя его через обычную цензуру, вызвала неприятнейшие и унижительные для Пушкина объяснения с шефом жан-

* Это и доказывает, что идея заменить Анопуме именем Белкина возникла у Пушкина позднее. Во всяком случае, предисловие (о Белкине), видимо, написано перед самым изданием: в письме к Плетневу (в августе 1831 года) он пишет: «Предисловие пришлю позже».

дармов Бенкендорфом. Значит, очень уж не хотел Пушкин открывать своего имени, если он рискнул опубликовать «Повести» под авторством Белкина и отдать их в обычную цензуру.

То было время усиленного полицейского надзора за литературой; немалую роль в этом деле играл Фаддей Булгарин («Видок Фиглярин»). Пушкин писал: «Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу» и считал, что «в России пишет один Булгарин».

Впрочем, Пушкин сражался без страха с Булгариным на журнальном поле. Из Болдина он писал Дельвигу: «Написал пропасть полемических статей, но... отстал от века и не знаю, в чем дело — и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина». Неужели он стал бы бояться, что его «Булгарин заругает», если бы в «Повестях» все было, действительно, благополучно?

Чего же так опасался Пушкин, издавая «Повести»? Разумеется, не критики со стороны Булгарина, а его политических доносов*. Значит, было в этих невинных на вид повестях что-то, к чему не хотел Пушкин привлекать внимания правительства. На худой конец, перекладывая авторство на Белкина, он мог бы оправдываться: я тут ни при чем, я только издавал чужую рукопись и ничего такого не заметил, а цензура пропустила.

Для того, чтобы надежнее скрыть свое авторство, надо было придать как можно больше правдоподобия Белкину и рассказчикам. Как это не раз случалось в русской литературе, вынужденный камуфляж стал творческим приемом. Конспирация приобрела свойства творческого замысла, и где проходит ее граница с основным замыслом — определить не так-то просто.

Какой же вид получили «Повести», приписанные скромному провинциалу Белкину и его таким же неприятельным информаторам?

Исследователи обычно сходятся на том, что сюжеты «Повестей» — это легковесные анекдоты (взятые иной раз из произведений чужой литературы) или пародии на сен-

* По другому поводу он пишет Вяземскому, что Булгарин «по своему обыкновению пустится в доносы и клевету — и с ним не справишься».

тиментальные повести; только гением Пушкина им придано самостоятельное значение. Но, как нетрудно убедиться, «Повести» нельзя считать анекдотами. Все это – драматические истории, совсем не свойственные жанру анекдота, а обязательный «хороший» конец в них – вовсе не прихоть писателя, не уступка анекдотическому стилю. Тут-то и следует обратить внимание на список «рассказчиков». Кто они такие? Они – то, что называется «широкая публика», самого демократического свойства: титулярный советник, то есть, чиновник небольшого чина, а во время действия повести – и совсем в «мелком чине»; это девица (даже не барышня); приказчик; офицер... Офицер, рассказчик «Выстрела», – «подполковник И. Л. П.» Исследователи спорят: может ли это быть И. П. Липранди, кишиневский приятель Пушкина (тому есть некоторые основания), или нет. В «Выстреле» рассказ ведется от лица офицера, но это не может быть блестящий и образованный друг Пушкина. Это бедный армейский офицер в отставке, малообразованный и не охотник до чтения. Это человек уровня Белкина, только без его любви к литературе. Это не может быть и сам Белкин: рассказчик приехал в деревню во всяком случае до 1821 года, а Белкин поселился в своем поместье в 1823 году.

В устах всех перечисленных Пушкиным рассказчиков сюжеты «Повестей» – вовсе не анекдоты: в них нет оттенка «курьеза», свойственного анекдоту. Больше всего они напоминают устные рассказы о драматических происшествиях, всегда бытовавшие среди определенных кругов населения. Об этом свидетельствует хотя бы сюжет «Метели». Пушкин рассказывал этот сюжет еще в Лицее, в 1814 году или 1815 г.¹ Это типичный устный рассказ, из тех, которые нередко распространяются после войны: подобных драматических историй (об офицере, вернувшемся с фронта) немало ходило и в наше время, после 1945-46 года. Такой же вид Пушкин придал и сюжетам других «Повестей» – сообщил им черты таких ходячих историй, каково бы ни было на самом деле их происхождение. Для таких устных рассказов характерен этот острый и даже замысловатый драматизм ситуаций и обязательно благополучное разрешение конфликтов.

Укажем здесь, что Пушкин не случайно приписал обе повести – «Метель» и «Барышня-крестьянка» – одному романтическому рассказчику: девице К. И. Т. В них, действительно, есть некое стилевое единство. Обе повести обладают одинаковым сюжетным построением – основаны на романтическом «кажущемся» конфликте. В «Метели» Марья Гавриловна и Бурмин любят друг друга; но счастью их препятствует тайный брак, заключенный в свое время каждым из них. Но, оказывается, что они, сами того не зная, тайно венчались друг с другом. Такого же рода сюжет мы видим в «Барышне-крестьянке»: молодые люди любят друг друга; непреклонный отец хочет женить сына на богатой барышне, а сын намерен «жениться на крестьянке и жить своими трудами». Но, к общему удовольствию, оказывается, что богатая барышня и бедная крестьянка – это одно и то же лицо; конфликт был кажущимся. Заключительные слова повести: «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку» – могут быть отнесены также и к «Метели».

Перечень особ, сообщивших автору сюжеты «Повестей», должен указывать на широкий круг, в котором возникли и передавались эти устные рассказы. «Выстрел» – рассказ, ходивший в армейской среде; «Станционный смотритель» – в среде мелких чиновников; «Метель» – среди различной публики послевоенного времени; он дошел до автора через девицу К. И. Т., которая рассказала ему также сюжет «Барышни-крестьянки», может быть, услышанный ею даже от дворовых. Все это, как сказали бы позднее, – разночинная публика.

Кроме того, в «Повестях» в ряде мест вставлены как бы «подлинные» рассказы от лица различных персонажей. Так, в «Выстреле» в основной рассказ отставного офицера вставлены два рассказа: один – от лица Сильвио (о первой дуэли), другой – от лица графа (о второй дуэли). В первом рассказе имеются элементы речевой характеристики – галлицизмы в речи Сильвио («... имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках»). Самый рассказ Сильвио замечателен своей «отстраненностью». Сильвио говорит о себе как бы со стороны. Еще слова

«В то время буйство было в моде» можно объяснить шестилетним сроком давности, после которого «мода» переменилась. Но в остальном Сильвио говорит о себе очень уж объективно. «Он шутил, а я злобствовал», «Я сказал... плоскую грубость», «Злобная мысль мелькнула в уме моем», – как будто он рисует со стороны свое поведение. Граф в своем рассказе тоже говорит о себе как бы со стороны («он знает, как я обидел его друга; пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил»). Так же объективно относится к себе и основной рассказчик повести, когда говорит о себе: «моя одичалая застенчивость». Словом, впечатление таково, что все их речи – только маскарад; общий прием в рассказе настоящего автора.

«Станционный смотритель» также повествуется от лица некоего «титularного советника А. Г. Н.»; но и его личность проявляется лишь в одном месте – в чисто-гоголевском рассуждении среднего чиновника: «... что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось бы в употребление другое, например: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! и слуги с кого начинали бы кушанье подавать?..» В остальном «Станционный смотритель» лишен какой бы то ни было условной характерности рассказа. Как «Станционный смотритель», так и остальные повести недвусмысленно написаны прямым языком и стилем Пушкина, в его пронзительной и иронической манере, и соответствуют литературной, философской и исторической образованности истинного автора. Например, в «Барышне-крестьянке» от начального рассказа «девицы К. И. Т.», несомненно, ничего не осталось, кроме фабулы. Возьмем хотя бы рассуждение об уездных барышнях («Что за прелесть эти уездные барышни!»... и т. д.). Оно, безусловно, принадлежит самому Пушкину. Здесь и проходит граница между основным замыслом Пушкина и его «сказовым» обрамлением. Это дополнительная маскировочная раскраска, приданная автором своим текстам; она должна рисовать их якобы окололитературное значение, изобразить их бытование, среду, обстоятельства возникновения. Она же придает языку «Повестей» непосредственность устного рассказа. К самим рассказам это не имеет прямого

отношения. И Белкин и рассказчики только прикрывают лицо Пушкина в «Повестях».

Так что же такое было скрыто в «Повестях» за лицами различных посторонних рассказчиков, что могло подвергнуть Пушкина нападкам Булгарина? в чем хотел Пушкин избежать излишнего внимания своего венценосного цензора и для того выдать в свет свои «анекдоты» через простую цензуру?

Время «Повестей Белкина»

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к самим «Повестям» и прежде всего посмотрим, к какому времени относится действие «Повестей».

Как это свойственно Пушкину, если даже он не указывает прямо, в какие годы происходили описываемые им события, то годы эти у него точно расчислены. В «Выстреле» Сильвио рассказывает «автору» повести о своей первой дуэли с графом, состоявшейся **ш е с т ь л е т н а з а д**. Ч е р е з п я т ь л е т «автор» встречается с графом и слышит от него о развязке истории (о второй дуэли). Еще некоторое время спустя «автор» узнает о смерти Сильвио, который «во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами», то есть, в 1821 году. Таким образом, начало событий (первую дуэль) можно отнести к первым годам века. Сильвио рассказывает: «...Тогда буйство было в моде... я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым...» — стихи Давыдова о Бурцеве написаны в 1804 году. Вторая дуэль явно относится к мирному времени, либо до, либо после Отечественной войны. Может быть, расчет времени должен быть — 1809 г. (первая дуэль) — 1815 г. (вторая дуэль) — 1820 г. (рассказ графа) и 1821 г. (смерть Сильвио). Но до второй дуэли в течение шести лет Сильвио не выезжал из польского местечка, что, конечно, вряд ли было возможно, если этот промежуток времени приходился на события Отечественной войны. Тогда лучше принять более ранние сроки: 1805 г. (первая дуэль)

– 1811 г. (вторая дуэль) – 1816 г. (рассказ графа) – 1821 г. (смерть Сильвио)².

Датировка «Метели» проще: тайный брак Марьи Гавриловны состоялся зимой в начале 1812 года, перед Отечественной войной; встреча ее с Бурминым произошла в 1815-16 гг., спустя некоторое время после возвращения русской армии из Парижа.

Даже происшествия «Гробовщика» можно датировать: они относятся к 1817 году, так как Адриан Прохоров продал свой первый гроб в 1799 году, а затем 18 лет жил в своей лачужке, пока не купил новый домик (но о «Гробовщике» я не буду говорить здесь, так как эта повесть резко отлична от интересующего меня материала).

В «Станционном смотрителе» знакомство автора с Дуней и ее отцом прямо датировано 1816 годом; тогда как похищение Дуни гусаром и ее последняя встреча с отцом в Петербурге может относиться к 1817 – 1818 гг.; приезд ее (с тремя барчатами и кормилицей) на могилу отца можно отнести примерно к 1823 году.

Наконец, события «Барышни-крестьянки» должны происходить в 1817 – 1820 году, так как отец молодого Берестова «вышел в отставку в начале 1897 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал». Алексей родился в деревне; ко времени, описанному в повести, он еще очень молод³.

Таким образом, по своему началу «Повести» расположены хронологически последовательно: «Выстрел» – 1805 г., «Метель» – 1811 г., «Станционный смотритель» – 1816 г., «Барышня-крестьянка» – 1817 или даже 1820 г. Развязки их происходят около 1820-го года.

(В этом смысле, как и в некоторых других отношениях, с «Повестями Белкина» можно сопоставить и роман «Дубровский», действие которого происходит, возможно, около 1815 года [Владимир Дубровский родился в годы после второго турецкого похода, то есть, около или после 1791 года; в романе ему 23 года]. Но скорее этот срок надо передвинуть к 1818 году: это время соответствует событиям романа – крестьянскому разбойничьему бунту⁴. К тому же, в решении суда по делу о тяжбе Троекурова с отцом Дубровского упомянут указ 1818 года

[впрочем, Пушкин использовал без изменений подлинный судебный документ более позднего времени]. Так или иначе – это время недолге после Отечественной войны.)

Таким образом, действие «Повестей Белкина» (как и «Дубровского») относится к 10-м годам XIX века, то есть, к особенной эпохе русской действительности, резко отличной от времени 30-х годов, когда «Повести» (и «Дубровский») были написаны⁵. Правда, выбор этого времени может быть мотивирован всего лишь обстоятельствами жизни И. П. Белкина: он переехал в деревню в 1823 году и здесь занялся литературой. «Повести» – его первый опыт. Сюжеты «Повестей», разумеется, были рассказаны ему до этого, то есть, до 1823 года, или же в самом начале его пребывания в деревне, где могли ему рассказать их: сосед-помещик, свой брат – отставной офицер, заезжий чиновник, местная девица.

Но во всяком случае, время «Повестей» ограничено годами перед декабрьским восстанием. Здесь уже было чего остерегаться. К чему было живописать такое сомнительное время, о котором не любил напоминаний император Николай?

Действующие лица «Повестей Белкина»

Откуда бы ни брал свои сюжеты Пушкин, но с помощью своего «обрамления» – рассказчиков – он придает сюжетам характер распространенных устных рассказов о событиях, случившихся с реально существовавшими лицами. И вся соль «Повестей» для него – в этих лицах, в личностях героев.

Фабулы «Повестей», «анекдоты с счастливым концом», целиком зависят от характера персонажей. Ими определяется ход событий. Далеко не с каждым героем возможна была бы счастливая развязка, скажем, в «Метели» или в «Станционном смотрителе» (судьба Дуни). Кто же обеспечивает благополучные развязки «Повестей»? Кто их носители? Это граф в «Выстреле», это Бурмин, Минский, Алексей Берестов. События «Повестей»

происходят в провинции, в помещичьих имениях, в деревне, или же на захудалой почтовой станции. Но кто такие дворянские персонажи «Повестей»? Нетрудно убедиться, что это не какие-либо провинциальные жители, а главным образом столичные – московские и петербургские – офицеры. В «Выстреле» граф – офицер, московский житель, временно приехавший в имение жены⁶. Герой «Метели», гусарский полковник Бурмин, участник похода 1812-14 гг., также приезжает в свое поместье лишь на время. Герой «Станционного смотрителя» гусарский ротмистр Минский – петербургский офицер. Алексей Берестов из «Барышни-крестьянки» учился, видимо, в Москве (в пушкинских черновиках зачеркнуты слова, сначала в «Харьковском», затем в «Московском» университете, но Берестов поддерживает переписку именно с Москвой). Он готовится стать офицером, по всей вероятности, по примеру своих друзей-военных; эти подробности в биографии молодого Берестова имеют определенный смысл: М. В. Нечкина в книге «Грибоедов и декабристы», говоря о Московском университете 10-х годов («Московский университет можно с полным правом назвать питомником декабристов»), упоминает о поступлении большинства окончивших университет на военную службу, в особенности в 1811-14 гг. Здесь же Нечкина говорит: «Поза самостоятельности, спора, отстаивания своего мнения в столкновении с старшим поколением уже была в то время характерной чертой облика московского пансионера и студента»⁷. «Поза самостоятельности» именно и характерна для Алексея Берестова, воспитанника Московского университета. Если присоединить к этому перечню Владимира Дубровского, петербургского гвардейского офицера, воспитанника Пажеского корпуса, то станет несомненным, что дворянские герои «Повестей» (так же, как и Дубровский) – это просвещенные столичные офицеры, то есть, среда, с которой был близок Пушкин в петербургские годы своей молодости и вообще в преддекабрьские годы.

Под стать героям «Повестей» и героини – романтические провинциальные барышни, о которых Пушкин отзывался с такой симпатией («... что за прелесть эти

уездные барышни!»), считая главным из их «существенных достоинств» «особенность характера, самобытность». Союз Алексея и Лизы, Бурмина и Марьи Гавриловны, графа и его Маши, даже Минского и бедной провинциалочки Дуни (наконец, роман Дубровского и дочери самодура и крепостника Троекурова) сопровождается настоящей близостью их вкусов, взглядов, отношения к жизни. При всей своей случайности и порой даже анекдотичности, их сближение вполне закономерно.

Коллизии «Повестей»

Теперь уже нетрудно определить, какие коллизии движут «анекдотическими» сюжетами «Повестей».

Ключ к их пониманию обнаруживается в повести «Метель». Драматическая коллизия здесь несомненно присутствует. Но в чем она заключается? и кто ее носители? Владимир и Бурмин? Но и они даже не встретились и не знали один о существовании другого. Владимир погиб к середине событий, и его судьба была, в сущности, лишь толчком к настоящему, серьезному конфликту повести. Пушкин не сделал первый роман Марьи Гавриловны слишком серьезным и в начале даже изобразил его иронически («Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена...» и т. д.). Поэтому и крушение его не кажется таким уж значительным, несмотря на смерть Владимира и тяжелую болезнь Марьи Гавриловны. Бедный Владимир – жертва обстоятельств (метель!), а не реального конфликта в его жизни. Центр действия повести – встреча Марьи Гавриловны с Бурминым; все остальное – предыстория, обуславливающая драматизм этой встречи. Конфликта между влюбленными, собственно говоря, никакого нет; противоречие заключено в их судьбах. Но где же его причина?

Строго говоря, коллизия повести обусловлена двумя личностями Бурмина: повесы-офицера из первой части, совершившего «преступную проказу», – и влюбленного из второй части, порядочного, мужественного человека.

Автор повести всячески подчеркивает: ни одна душа на свете не знает о преступлении проезжего гусара, о его легкомысленном венчании с чужой невестой. Бурмин рассказывает: «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с какой станции поехал... Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе...» Кто может изобличить его, если он скроет свою женитьбу? Никто – кроме его собственной совести, его порядочности и чести. Перед нами два различных человека, и второй глубоко осуждает первого, погубившего его счастье; признает свое преступление и свою ответственность за него: «В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул... я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отмщена».

Что же с ним случилось? Что произошло за эти короткие четыре года, что в корне изменило нравственную сущность молодого офицера?

Прошла Отечественная война. Она всколыхнула русское общество. «Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе...» Но дело не только в возмужании. Европейский поход, взятие Парижа, проблемы патриотизма, мужества, чести, широких общественных интересов, – через все это прошла военная молодежь, еще недавно проводившая жизнь в полковых «развлечениях» (буйство, пьянство, карты, дуэли – вспомним «Выстрел»!). О новом облике молодого офицерства свидетельствуют «Записки» декабриста И. Д. Якушкина: «В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжении двух лет мы имели перед глазами великие события, решавшие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь невыносимо было смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед»⁸.

Мы знаем, как постепенно усиливалась эта рознь между молодым офицерством, участниками войны, и старшим дворянским поколением, сторонниками старых порядков. Мы знаем, к чему она привела.

В двух из «Повестей Белкина» изображено это нравственное перерождение дворянской военной молодежи – в «Метели» и «Выстреле». В остальных «Повестях» события происходят уже после войны.

В «Метели» это перерождение очевидно. В «Выстреле» – сложнее. Оба главных действующих лица «Выстрела» – Сильвио и граф – тоже не те люди, которые в начале событий вышли на дуэль. Сравнительно с крайними точками рассказа оба героя переменились. Но как их нравственное изменение соотносится с временем Отечественной войны? От Сильвио, буяна, дуэлянта, «перепившего Бурцева», до Сильвио, командовавшего отрядом этеристов и погибшего за греческую свободу, – дистанция не меньшая, чем от молодого графа («Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость, самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета...») до утонченного аристократа, с которым 11 лет спустя познакомился автор. Этот автор – бедный «одичалый» помещик, но бывший офицер, и это обеспечивает ему, как бывшему товарищу по оружию, любезный прием у графа («...вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою...» Он «приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным... Разговор его, свободный и любезный...» Вошла жена графа. «Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии... Граф и графиня рады были, что я разговорился...» и пр.). Великодушие, любезность, простота, такт, воспитанность, наконец – душевная тонкость, – все это черты подлинного аристократизма духа. Рассказывая о своей дуэли с Сильвио, граф относится с осуждением – но не к Сильвио, а к себе самому, каким он был в то давнее время («он знает, как я обидел его друга...»).

Но все это мы видим уже в конце повести, заведомо после Отечественной войны. А что было с дуэлянтами посредине? Когда произошел перелом? Если даже вторая дуэль состоялась до войны, то все же оба они были готовы к этому перелому, и драматизм столкновения Сильвио и графа – в том, что во второй раз Сильвио стреляется

уже с другим человеком, который должен отвечать за первого. Да и Сильвио уже не тот. С самого начала он больше нуждался не в физической мести, а в нравственном преодолении противника («Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!»). Ко времени второй дуэли с него вполне достаточно этого нравственного торжества, унижения противника. Да и сам он, в сущности, не хочет стрелять в графа. Победа освободила его душу от маниакальной идеи о мести. Но на что употребил он свою свободу? Мы не видим больше Сильвио, но знаем, что душевные перемены направили его к более высокой цели (это тоже поддерживает счет событий – 1805 – 1811 – 1816 – 1821 гг.).

В других повестях («Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка») (как и в «Дубровском») мы видим время уже после Отечественной войны. Здесь происходит столкновение передовой дворянской молодежи с старым миром, с духом и воззрениями старшего поколения.

Давно уже исследователи указывали, что в беде, постигшей станционного смотрителя, существенное значение имеет его отношение к этой беде. Для него несомненна нравственная гибель дочери. Он рассматривает все с нею случившееся как непоправимое несчастье. Недаром на стене у него висят картинки с изображением притчи о блудном сыне: так он и рассматривает судьбу дочери, так он и старается вернуть ее («Авось приведу я домой заблудшую овечку мою»). Он пропускает мимо ушей уверенья Минского («Не думай, чтобы я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово»); для него нет никакого сомнения в ее неизбежном несчастье («Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил...»). Он не допускает мысли, что ситуация может быть иной. А Минский – не просто «проезжий повеса». Тут встает вопрос – женился ли Минский на Дуне? Пушкин не нашел нужным сказать об этом прямо. Так или иначе – произошло это не сразу. Несколько месяцев спустя после бегства дочери станционного смотрителя, когда Вырин приехал в Петербург с намерением

найти и вернуть Дуню, она проживала там еще в качестве содержанки Минского. Быть может, виною этому были неизвестные нам обстоятельства жизни Минского, быть может, сам Минский не сразу преодолел в себе старые «аристократические» взгляды. Приезд Дуни впоследствии к отцу «в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами, и с кормилицей, и с черной моською» свидетельствует, во всяком случае, об устойчивом социальном положении Дуни. Что же это – законный брак? Может быть, хотя и не обязательно. Что же? судьба Дуни – это «случайное отклонение от нормы» (как считали некоторые пушкинисты)? Исторически, в среде просвещенного столичного дворянства той поры подобные вещи не были таким уж «случайным отклонением». Вспомним крепостную Парашу Жемчугову, ставшую женой графа Шереметева; Е. С. Семенову, великую артистку, которая, несмотря на свое плебейское происхождение, вышла замуж за князя Гагарина (уже имея от него двух детей); артистку Ежову – правда, не жену, но постоянную сожительницу и подругу литератора и театрального деятеля князя Шаховского. Конечно, все это были незаурядные женщины; но такой была и пушкинская Дуня.

Да и просто ли «сманил» Минский Дуню? Ведь она – девушка, «видевшая свет», встречавшая у себя на станции самых различных людей, из которых многие обращали на нее внимание, и наверное, не один сманивал ее за собой. Несмотря на свою молодость, далеко не с каждым согласилась бы она уехать. А ведь на свое бегство она решилась вполне сознательно (она плакала, но «ехала по своей охоте»). Когда проезжий гусар «весело разговаривал с Дуней», вряд ли это было тривиальное «обошщение». За два дня пребывания гусара на станции между ним и Дуней могла возникнуть душевная близость. Не зря автор описывает (устаами Вырина) Минского как приятного, веселого, простого человека (он «был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дуней, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем»). Его вспышки грубости

(«возвысил голос и нагайку») – не более чем дурные привычки той эпохи, а его грубое обращение с Выриным при встрече в Петербурге – результат замешательства и стыда, от невозможности разрешить их конфликт... Дуня и сама не хочет возвращаться к отцу (при его появлении у нее в Петербурге, она не бросилась к нему навстречу, а «с криком упала на ковер»).

Столкновение в «Станционном смотрителе» – не тривиальная обида, нанесенная легкомысленным аристократом бедному человеку. Здесь возникает непреодолимое противоречие двух отношений к жизни. Смотрителю противостоит совсем не тот человек, которого он себе представляет (как Сильвио стреляется не с тем человеком, с которым у него когда-то произошло столкновение). В этом конфликте несчастный отец меньше всего отвечает за опыт и воззрения старого общества, которым он сам подвластен. Автор жалеет Вырина, но сам он на стороне Минского и Дуни.

А что происходит в «Барышне-крестьянке»? Тут столкновение молодежи с старым духом отцов гораздо более легкое, даже (как мы уже видели) кажущееся, но тем не менее очень чувствительное для молодого героя – Алексея Берестова. Здесь происходит не только принципиальная ссора Алексея с непреклонным отцом, который грозит лишить его наследства. Преодолевая собственное привычное отношение – барина к крепостной девушке (он привык «не церемониться с хорошенькими поселянками» и «все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою») – он приходит к романтической мысли: не уступать отцу, «жениться на крестьянке и жить своими трудами». Пушкин не подвергает своего «доброего малого» такому испытанию всерьез, но все же не каждому молодому дворянину и не каждому даже передовому офицеру того времени пришла бы в голову такая мысль. Но и не так уж она удивительна. Она характеризует определенные умонастроения дворянской молодежи тех лет. Обратим внимание на то, как происходит сближение Берестова и молодой крестьянки («возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры»); на обучение «Акулины» грамоте «быст-

рее, чем по ланкастерской системе» – это замечание Алексея показывает на знакомый ему круг мыслей.

(Наконец, в «Дубровском» мы встречаемся с коллизией того же рода, что и в «Повестях Белкина», только гораздо более острой и трагической. Здесь просвещенный и благородный офицер, которого возмущает несправедливость, царящая в крепостнической среде, произвол властей и пр., вступает на путь резкого отрицания и противодействия этой несправедливости; но судьба толкает его не на участие, скажем, в тайных обществах декабристов, а на путь непосредственного индивидуального возмущения – он становится во главе шайки разбойников, грабящей богатых помещиков. Несмотря на романтическую тему о благородном разбойнике, Пушкин в своем романе не уклоняется от исторической действительности тех лет: за основу романа, как известно, взяты реальные события⁹.)

В «Повестях Белкина» мы везде видим столкновение старых, установившихся в обществе понятий и представлений – и новых идей и понятий, в сущности – тривиального и нетривиального, прогрессивного отношения к вещам (самая «занимательность» «Повестей» основана на ломке наших тривиальных представлений!). Это обуславливает драматические сюжетные коллизии повестей, объясняет духовное перерождение их носителей. Их высокий, благородный дух берет верх, а взгляды и правила «отцов» терпят крушение.

Вспомним о том общественном брожении, которое происходило в России после Отечественной войны 1812 года. Вспомним, что к 1816 году относится возникновение первого тайного общества – «Союза Спасения», а в 1818 году ему на смену приходит «Союз Благоденствия», имеющий «сокровенную цель приуготовить Россию к конституционному правлению»¹⁰. В Союз вошли будущие декабристы и среди них многие из ближайших друзей и сверстников Пушкина, большей частью молодых столичных офицеров. В «Повестях Белкина» нет политических проблем, но есть люди, поставившие эти проблемы. Мы видим становление их личностей. Мы видим, как вчерашние кутилы, игроки, дуэлянты – приобретают свойства

высокого благородства*. Вчерашний повеса, шутя разрушивший чужую жизнь, сегодня согласен лучше разрушить свою, чем решиться на обман, поступить бесчестно и безжалостно со своей вчерашней жертвой. Проезжий офицер, сманивающий бедную девушку, единственную дочь старого отца, не может покинуть ее, и их отношения становятся настоящим семейным союзом. Молодой барин, привыкший легкомысленно относиться к молодым поселанкам, готов в конце концов преодолеть «расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою» и серьезно собирается «жениться на крестьянке и жить своими трудами», все более находя в этом благоразумия. Можно думать, что в героях своих «Повестей» Пушкин изобразил друзей своей молодости, их душевное благородство, их лучшие нравственные качества и убеждения. А если допустить, что героям «Повестей» могли быть приданы какие-то реальные черты личности или биографии друзей Пушкина – черты, для нас уже утраченные, но известные в то время не только близким Пушкину людям, но и Булгарину, и самому императору Николаю (возглавлявшему следствие по делам декабристов), то становится понятным: было за что Булгарину «заругать» автора «Повестей», – от которых «ржет и бьется» Баратынский.

Надо полагать, что, по возвращении Пушкина из Болдина, Баратынский был первым или одним из первых, прочитавших «Повести». Почему же он так бурно реагировал на прочитанное? не потому ли, что он был в восторге от находчивости автора, сумевшего вслух сказать о самых запретных темах и лицах? В свое время Баратынский был близок с теми же кругами декабристской молодежи, что и Пушкин. Он (Баратынский) должен был прекрасно понимать, о чем, а главное – о ком идет речь в «Повестях».

К этим мыслям приводит детальное рассмотрение создания и опубликования «Повестей Белкина».

*Надо отметить, что Сильвио, с его стремлением к превосходству над товарищами, с его резким индивидуализмом, и не мог бы войти, скажем, в какое-нибудь тайное общество. Его подвиг индивидуален – как и вся его жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. М. А. Ц я в л о в с к и й. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I, Москва, 1951, стр. 30.

2. Л. Гроссман датирует события «Выстрела» с 1806 – 1808 гг. по 1822 г. См.: Л. Г р о с с м а н. Исторический фон «Выстрела». – «Новый мир», 1929, № 5. стр. 208.

3. О датировке «Барышни-крестьянки» более подробно см.: В. Д а н и л о в. Классовая обусловленность «Повестей Белкина» А. С. Пушкина. – В сб.: А. С. П у ш к и н, изд. «Никитинские субботники», 1931, стр. 306-309.

4. М. А. Ц я в л о в с к и й. Летопись..., стр. 221.

5. «... В бурную и героическую эпоху», – говорит Л. Гроссман и называет «Выстрел» романом «Война и мир» на четырех страницах. Цит. ст., стр. 223.

6. Что касается офицера в отставке Сильвио, то Л. Гроссман вполне убедительно доказал, что офицер Сильвио имеет самый реальный прототип – это все тот же приятель Пушкина подполковник И. П. Липранди, арестованный в свое время по делу декабристов. См. цит. ст. Л. Г р о с с м а н а. Липранди служил в тайной полиции, но это выяснилось много позже, и для Пушкина в 30-е годы Липранди оставался передовым офицером, связанным с декабристами.

7. М. В. Н е ч к и н а. Грибоедов и декабристы. Москва, 1951, стр. 80, 87 и далее.

8. И. Д. Я к у ш к и н. Записки. Москва, 1925, стр. 13.

9. Описывая состояние русского общества после войны 1812 года, А. М. Горький говорит: «... из провинции идут одна за другой вести о крестьянских бунтах, об усилении разбоев. Крестьяне еще недавно вели партизанскую войну против французов, и теперь разбойничьи шайки превосходно дерутся с военными командами». См.: М. Г о р ь к и й. История русской литературы. Москва, 1939, стр. 81.

10. М. А. Ц я в л о в с к и й. Летопись..., стр. 92, 148.



Искусство приспособления

«... если вопрос стоит так – или героическое сопротивление фашизму, или ты сливаешься с ним, –... это морально обезоруживает человека. Были и такие... которые сначала проклинали наше примиренчество, а потом махнули рукой и стали делать карьеру. Нет, порядочность – великая вещь.

– Но ведь она, порядочность, не могла победить режим?... Тогда где же выход?

– В данном случае в Красной Армии оказался выход... Но... то, что я называю порядочностью, –... средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента».

Фазиль Искандер, «Летним днем»

Передо мной лежит обертка от печенья «Октябрь, Oktobris» производства рижской ф-ки «17 июня», купленного лет двадцать назад за тридцать копеек. Печенье («Состав: мука в/с, сахар, жир, яйца, молоко») не оставило по себе особых воспоминаний, а в обертке я сразу почувствовал что-то примечательное, сохранил ее, вывез и имею возможность анализировать. На светло-желтом фоне ко-
сой полет разноцветных листьев – красных кленовых, зеленых дубовых, белых березовых и осиновых; темно-коричневым цветом – крупная надпись «Октябрь» на двух языках и мельче – данные о фабрике, цене, весе, составе и т. п.; на одном из кленовых листьев – желтыми буквами слово «печенье», на другом – его латышский перевод «serimī».

В статье, написанной специально для «Граней», использован материал книги: А. К. Ж о л к о в с к и й, Ю. К. Щ е г л о в. «Мир автора и структура текста. Статьи о русской литературе», выходящей в издательстве «Эрмитаж».

В западной аудитории демонстрация этой красочной обертки неизменно вызывает радостное удивление, что, оказывается, в СССР так высока культура коммерческого дизайна, который, к тому же, практически независим от рекламируемого продукта. Орнамент из листьев, взятых в цветовой гамме четырех сезонов, и озаглавленный именем осеннего месяца, наивно прочитывается в духе Брейгеля, Вивальди и Чайковского – как очередная вариация на тему времен года. Приходится объяснять, что в советском контексте дело обстоит сложнее. Рекламируются там не торговые изделия, а советская политическая система, октябрь – месяц большевистской революции, а ее символ – красный флаг, вот зачем здесь кленовые листья (алые, какими они не бывают даже осенью) и зачем они всячески выделены.

Значит ли это, что мотив времен года вообще не важен? Нет, конечно, но под него искусно подсунут другой – «Слава Великому Октябрю!». Искусность этой подмены не только в общей живописности дизайна и в удачно найденном образе кленового листа, красный цвет которого совмещает пышное природы увядание с революционной символикой. На более глубоком уровне подстановка «естественного, универсального» на место «узкопартийного, советского» возводится здесь как раз к универсальной проблеме «природа» / «культура», одним из классических решений которой и является жанр «времена года».

Интерпретироваться подмена красного флага кленовым листом может по-разному – от кукиша в кармане, показанного властям утонченным латышом, до заказанной властями циничной выдачи большевистского за общечеловеческое. Но в любом случае главное – самый факт подмены, создания двойственного объекта, игры с официальной догмой. Причем дело здесь не просто в тотальной политизации советской жизни и засилии цензуры – это очевидно; но и в том, как ведет себя в этих условиях особая материя, называемая искусством и буквально плодящая гибриды.

Что такое искусство? Философы, искусствоведы и сами художники предложили множество определений,

отражающих разнообразие их эстетических позиций, но не исключających друг друга. Искусство – способ бегства от жизни (романтизм), приготовления к смерти (Пастернак о Шопене) и ее преодоления (Гораций – Державин – Пушкин: ... и тленья убежит»). Но оно и способ познания действительности – «зеркало, с которым идешь по большой дороге» (Стендаль), «увеличительное стекло» (Маяковский), воплощение абстрактного в конкретном (Гегель), мышление в образах (Белинский) и орудие типизации (Энгельс – кн. Д. Н. Святополк-Мирский – Г. М. Маленков). Кроме того, это эффективный психологический инструмент – способ очищения страстей (Аристотель), освежения мировосприятия (Шкловский), усиления эмоций (Эйзенштейн) и изживания неврозов (Фрейд); и разумеется, орудие социальное, – способ критики общества и смягчения нравов («улыбательная» сатира, критический реализм) и «часть общепартийного дела» (Ленин).

Как же искусство решает эти задачи – будь то экзистенциальные, познавательные, психотерапевтические или социальные? В природе искусства – установка на «сопряжение далековатых идей» (Ломоносов), на «примирение противоположностей» (Кольридж), на медиацию (mediation, букв. «посредничество») между занимающими человечество альтернативами. Понятие медиации вошло в искусствоведение из структурной теории мифа, в частности, работ Кл. Леви-Стросса, классический труд которого *Сырое и вареное* посвящен центральной роли в первобытных мифологиях этих двух идеологических полюсов (противопоставленных там не менее остро, чем «коммунизм» и «капитализм» сегодня). Проблема, питаться ли сырой пищей или обработанной, т. е. остаться ли в природе или перейти к культуре, «решается» в мифах путем посреднической операции приготовления пищи на огне.

Подход к искусству как преемнику мифа в деле идеологического «посредничества» оказался плодотворным и во многом созвучным традиционной эстетике. Поиски художественного примирения между крайностями – предопределением и свободой воли («Эдип»), страстью и долгом (Корнель, Расин), нормой и чудачеством (Мольер),

разумом и чувством (сентиментализм), страстью и бесстрастием (Пушкин), величием и пустотой (Гоголь) и т. п. – давно стали объектом литературоведческого внимания. К нашей скромной помеси листа с флагом из древности тянется длинная цепь вполне престижных гибридов. Кентавр (человек + лошадь, вспомним также гуингнмов Свифта), Пегас (лошадь + крылья вдохновения), андрогин (мужчина + женщина), двуликий Янус, чудовище Франкенштейна (искусственное + живое), царевна-лягушка, гадкий утенок, Квазимодо (прекрасные уроды), шут Лира и Дон-Кихот (мудрые и благородные идиоты), лишний человек от Онегина до Обломова и даже Кавалерова (ненужная ценная личность), Шариков (человек + собака) Воланд (дьявол – носитель справедливости), Чонкин (дурак-герой, т. е. современный Иванушка-дурачок)... В одних случаях гибридизация носит зримо физический характер, в других более или менее невидимые швы проходят в душах персонажей. Но так или иначе, вся эта разнообразная техника скрещивания вызвана к жизни постоянно предъявляемым искусству «заказом» на медиацию.

Традиционным представлениям об искусстве вторят новейшие, в частности учение М. М. Бахтина о диалогизме литературы и психоаналитическая теория искусства. Согласно Бахтину, мир романа, вершиной которого является поэтика Достоевского, есть полифоническое созвучие множества идеологически непримиримых голосов рассказчика и героев. По Фрейду, искусство – одна из форм одновременного проявления и сокрытия мучительных комплексов. В искусстве (как и в сновидениях) этот жизненно важный душевный материал, подавляемый внутренней цензурой, представляющей в психике индивида общественное сознание, находит себе сложным образом трансформированное выражение. Агрессивные, сексуальные и другие «социально опасные» устремления выражаются в сублимированной, облагороженной форме, т. е. одновременно искажаются и реализуются, чем и достигается компромисс между подсознанием и цензурой.

Метафорическая цензура Фрейда естественно возвращает нас на советскую почву, где проблема медиации

встает с особой остротой. Цензура, уже буквальная, жестко задает официальную идеологическую координату, почти не оставляя простора для медиационных игр. Тем поразительнее живучесть, демонстрируемая в этих условиях советским искусством.

Определенная доза «примиренчества» налицо даже в каноне соцреалистического романа. Как показала Катерина Кларк¹, этот канон представляет собой не просто продиктованную литературе волю властей, а продукт сложного взаимодействия ряда составляющих. Соцреализм – гибридный плод ленинско-сталинской партийной линии плюс марксистской идеологии в ее оригинальном преломлении в русском контексте (с его конфликтом между западничеством и славянофильством, интеллигенцией и «почвой») плюс газетно-документального освещения гражданской войны и социалистического строительства плюс революционно-демократической и народной литературной традиции (во главе с *Что делать* Чернышевского) и даже древнерусской житийной образности.

Равнодействующей этих сил, при решающем влиянии партийной указки, оказался литературный ритуал своего рода инициации, т. е. посвящения, приобщения несознательного «человека вообще» к таинствам сознательной партийности. Таков смысл пути, проходимого Павлом Власовым (а затем и его матерью), Глебом Чумаловым, Чапаевым, народной массой в *«Железном потоке»* и другими героями социализма. Кларк выявляет строительные блоки типового сюжета советского романа: прибытие героя на впавший в несознательность завод – постановка задачи ускорения темпов – мобилизация масс – бюрократические препятствия – встреча с партийным руководителем и т. д. И каждый из блоков – арена борьбы, взаимодействия и примирения «стихийности» и «сознательности».

Неоднородным оказывается соцреализм и исторически. Его канон задается в 30-е годы, объединяя задним числом такие разные произведения как житийная *Мать*, военно-коммунистический *Цемент*, индивидуалистический *Тихий Дон*. А далее, в 40-е годы, этот канон меня-

ется вместе с новыми задачами медиации: его положительные герои стареют, солиднее, у них (и у авторов) обнаруживается привязанность к комфорту, смягчается их моральный пуританизм, терпимыми оказываются незаконные любовные связи. Тем самым уже в недрах сталинского догматизма назревает атмосфера оттепели. То есть, как пишет Вера Данэм, литература соцреализма в эти годы пытается, в очень скромном масштабе, выполнять типичную для нее в нормальных условиях роль общественного барометра – ищет форм компромисса между официальной догмой и интересами нового советского «среднего класса»².

Во всех этих случаях, однако, разброс между ценностями, приводимыми к общему знаменателю, очень мал, ибо с самого начала искусственно заужен. Центральный конфликт соцреализма – между стихийно хорошим советским человеком и сознательно отличным – способен лишь чисто символически, ритуально представлять разногласия, имеющиеся у «человека вообще» с советской властью. А потому в эстетическом отношении не особенно интересны и возникающие здесь гибриды (хотя антропологически – для изучения советских ритуалов – материал это ценнейший).

На другом конце подсоветского идейного спектра располагается искусство конспиративного обхода цензуры. Так, Искандер в рассказе «Летним днем» переносит столкновение своего свободомыслящего интеллигента с тайной полицией на почву нацистского рейха. Солженицын (в подцензурном «Случае на станции Кречетовка»), желая связать арест невинного интеллигента (Тверитинова) типичным соцреалистическим героем (Зотовым) с именем Сталина, строит развязку на том, что Тверитинов не знает (в 1941 году), какой город переименован в Сталинград. В этих и множестве подобных случаев гибридизация затрагивает не столько идеологию (идеология и у Искандера, и у Солженицына явно антисталинская), сколько эзоповскую технику внешней маскировки³. Техника эта не является привилегией искусства: она характерна для подцензурной публицистики и мало изменилась от Добролюбова (60-е годы XIX в.) до Лакшина (60-е годы XX в.).

Если нас интересует проблема посредничества, то и обратиться нам следует не к крайностям (соцреализм, эзоповский язык), а к золотой середине – к «попутчикам». Именно от них, с их поиском собственных, стилистически оригинальных путей к социализму, можно ожидать интересного скрещивания общечеловеческих ценностей с советскими. Материал для подобных наблюдений имеется в изобилии, ибо история советской литературы в значительной мере и есть история попыток приспособления писателей к режиму. Вспомним социальный заказ на «красного Льва Толстого», «красный футуризм» ЛЕФа или «Зависть» Олеши – своего рода красные «Записки из подполья»⁴. Не оставались полностью над схваткой даже такие фигуры, как Пастернак – автор «Второго рождения», в частности «пушкинских» «Стансов» («Столетье с лишним не вчера...»), и Мандельштам – автор «сталинской оды» и поклонник *шинели красноармейской складки*⁵. Новый тур отталкивания/притягивания разыгрался в послесталинский период с участием самых разных величин и направлений – Евушенко и Вознесенского, новмировских критических соцреалистов, Солженицына и Трифонова, молодежной прозы, деревенщиков, «националов» типа Айтматова, соцмодернистов типа Катаева и мн. др. Из всего этого богатства примеров я остановлюсь на четырех мастерах медиации – двух классиках и двух наших современниках.

Зощенко, самый популярный беллетрист 20-х годов, заставлявший хохотать даже утомленных литературой наборщиков, а ныне по праву занявший место в учебниках и антологиях, оказался крепким орешком для литературно-критического осмысления. Забавный сочинитель – да, но серьезная ли это литература? Не уйдут ли его фельетоны в прошлое вместе с их основной сценой действия – коммунальной квартирой? Не слишком ли мелка вся эта благонамеренная борьба за лучшее обслуживание в советской бане, больнице, фотографии? И потом, у него «плохой язык»? Да нет, плохой язык это нарочно, это сатира на бескультурье, на мурло мещанина, это язык его отрицательных персонажей. Но где же его положительные герои и его собственный, «правильный» язык? Нет,

он сам мещанин, скрытый враг, и ему не место в советской литературе! Ждановская ругань, разумеется, повышает идеологические акции Зощенко (и Ахматовой) в наших глазах, и все же вряд ли нам следует довериться ей одной.

Итак, выражаясь по-зощенковски, чего же автор хочет сказать своими художественными произведениями? Ответ затруднен тем, что Зощенко – вслед за Гоголем и Лесковым – пишет сказом, т. е. прячет свое авторское «я» за подставным лицом, или, если угодно, мурлом, рассказчика. Чем же он это мотивирует? «Фраза у меня короткая. Доступная бедным». Ага, это он значит для читателей старается! А сам он какую фразу любит? Вот он строит издевку над традиционными вкусами, приписывая читателю опасения, что чего доброго, автор сейчас начнет нам за наши деньги про цветки поэмы наворачивать. Кто же издевается – герой, рассказчик или сам Зощенко?

В 20-е годы целая плеяда будущих классиков – Булгаков, Зощенко, Ильф и Петров, Олеша – кормилась в «Гудке» и подобных изданиях фельетонной обработкой рабкоровских писем. Подходили они к этому, как показала М. Чудакова⁶, по-разному. Если Булгаков сознательно халтурил, четко отделяя «Гудок» от звуков сладких и молитв, то Зощенко отдавался «Красной газете» всерьез, угадывая бесценные возможности переплавки полуграмотного материала в нащупываемую им сказовую маску. Но только ли маску? Зощенко не любил «вышешенной» литературы от Тургенева до символистов. Он считал, что старая идеалистическая культура исчерпала себя, кончилась, хотя и пытается делать вид, что в 1917 году «ничего не случилось»; поэтому сам он старался писать по-иному – «проще». Разумеется, в этом он был частью широкого художественного движения, объединявшего, на самых разных основаниях, футуристов, примитивистов, пролетарских писателей и некоторые другие направления. Нас это, однако, интересует в более узком плане – понимания того, что такое медиация по-зощенковски.

В этом смысле большинство поставленных выше вопросов – риторические. Поскольку мы задались поисками

ми медиации, двуликости, двусмысленности, то противоречия, обнаруживаемые у писателя и в читательских реакциях на него, это и есть то, что нам нужно. Поэтому неудивительно, что и герои, и рассказчики, и сам, как выражаются современные литературоведы, «подразумеваемый автор», оказываются гибридными образованиями. Вопрос в том – что это за гибрид, что и с чем в нем скрещено и каковы его медиаторские функции.

Ответ в осторожной форме подсказал сам Зощенко, признавшийся, что он как бы пародийно исполняет обязанности некоего воображаемого пролетарского писателя⁷. Иными словами, его стиль – это голос типичного советского человека, но не такого, каким он предстает в благих намерениях партии и своих собственных, а такого, каков он есть в действительности. Вернее – голос гибрида, искренне сочувствующего центральным убеждениям и всему хорошему, но постоянно сволочащегося на кухне и призывающего ударить по врачам из бывших барончиков, которые моют руки, прежде чем прикоснуться к пациенту-пролетарию.

Гибрид этот – органично сросшийся, нерасторжимый. Если бы Зощенко представил своего героя/рассказчика лицемерным краснобаем, цинично проповедующим разумное, доброе, советское, а на деле предающимся хищениям социалистической собственности, то мы бы получили тот или иной оттенок советской, а то и антисоветской сатиры (в диапазоне от Маяковского и Катаева до Булгакова и далее Аверченко), но не курьезную зощенковскую повесть⁸.

С одной стороны, он эгоистичен, грязен, некультурен, приземленно материалистичен, у него «плохой язык», он не верит ни во что возвышенное, идеальное, утонченное, всех и вся подозревает в жульничестве, которое в глубине души считает нормой, он склочник, драчун, вор. Однако этим отрицательным чертам находятя извинения. Эгоизм свойствен человеку, которому приходится жить в реальном, а не идеальном мире; окружающая жизнь тоже не радует; возвышенные слова обманчивы (вспомним претензии Зощенко к старой литературе). К тому же его герой не аристократ, а человек про-

стой, бедный, необразованный, одним словом, пролетарий, и как водится в советской литературе, он еще исправится.

Конечно, он исправится, ибо, с другой стороны, он – рупор всех самых ураганных идей, советских и общечеловеческих. Он считает, что дети нам наша смена, что на транспорте должно быть идеальное взаимодействие всех колесьев, что любовь должна быть бескорыстной, а с пьянством следует бороться, что надпись «Выдача трупов с 3-х до 4-х» унижает достоинство больных, что нужно развивать физкультуру, литературу, театр, электрификацию, телефон, авиацию и прочее, о чем и твердит в постоянно перебивающих повествование «философских» отступлениях. Однако агитирует он за все это малокультурным языком, все походы в театр заканчиваются склокой, а пропаганда крестьянам идеи аэроплана кончается коронным аргументом, что от коровы он оставил бы мокрое место. Да и благородство всех этих начинаний очень специфическое: у неверующего в цветки и поэмы все прожекты носят глубоко примитивный характер: в театре он оказывается по тем или иным бытовым причинам, электричество зажигает, чтобы блоху убить, а верх его представлений о красивой жизни миллионеров – портянки, небось, белее снега.

Таким образом, как пошлый материализм, так и благородный идеализм зощенковского героя внутренне двойственны, амбивалентны, т. е. позитивны и негативны одновременно. А главное, две стороны этой личности, – «бескультурная» и «культуртрегерская» – образуют единый сплав, чему способствует внутренняя двойственность каждой из них. Кроме того, цементирующую роль играет наивная глупость и темнота героя, не замечającego противоречий, в которые он то и дело впадает. При этом глупость и темнота идут от его «бескультурия», а наивность – основная тональность его «культуртрегерских» устремлений.

Поскольку сказанное относится к литературной личности Зощенко в целом, то возникает непроницаемая маска, понятная и загадочная, близкая и отталкивающая, советская сатира на мурло и само советское мурло одно-

временно – уникальный вклад Зощенко в галерею литературных образов. Перед нами гибрид грязного, но симпатичного животного с идеальным, но простоватым коммунистом, скрепленный зощенковским недоверием к возвышенным абстракциям. В его составе скотское начало предстает смешным, но и привлекательным, а идеально-коммунистическое и провозглашается, и компрометируется, гибрид же в целом играет всеми этими красками. Общее впечатление такое, как если бы за перо взялся булгаковский Шариков (*Собачье сердце*), уполномоченный по истреблению котов и одновременно критик переписки Энгельса с Каутским, – и нравился бы нам!

Ильф и Петров, неизменно поминаемые вслед за Зощенко, – еще одна идеологическая загадка, к разрешению которой имеет смысл привлечь понятие медиации. Споры об идейном смысле их произведений не утихают. Правоверная партийная критика не может простить им блистательной сатиры на все советское и привлекательности Остапа Бендера. Оппозиционная интеллигенция, напротив, обвиняет их в энтузиазме по поводу стандартных советских ценностей, картин стройки и т. п. и в оплевывании подавляемых советской властью религии (отец Федор), интеллигенции (Васисуалий Лоханкин) и политической оппозиции («Союз меча и орала»). При этом обе стороны интересным образом сходятся в общей нравственно-эстетической оценке «Саги об Остапе Бендере» (как озаглавлено английское издание двух романов). Критика ждановских времен находила у них «безыдейный... пустой юмор ради юмора», а Н. Я. Мандельштам назвала Ильфа и Петрова «молодыми дикарями», циничный смех которых, знаменовал «добровольный отказ от гуманизма»⁹. Иными словами, и те и другие чувствуют некий холодок «неприсоединения», исходящий от ильфопетровского и остапбендеровского юмора, только одни объясняют его аморализмом не желающих строить социализм попутчиков, а другие – беспринципностью едящих из рук режима приспособленцев.

Обсуждение вопроса о том, «что в действительности думали» Ильф и Петров, может идти по линии биографических разысканий. Распространенное среди критиков

мнение, что они были «насквозь советскими» людьми 30-х годов, получило детальное опровержение в недавно опубликованной (под не обманувшим проницательных коллег псевдонимом) книге видного советского ученого¹⁰, со страниц которой встает образ двух порядочных людей, скептических свидетелей своей эпохи. И все-таки, как же в их романах обстоит дело с приспособлением к режиму?

Прежде всего (как показано в ряде работ Ю. К. Щеглова)¹¹, именно оргией социальной мимикрии и определяется мир этих двух романов, населенных бывшим князем, а ныне трудящимся Востока, бывшим городовым, который теперь музыкальный критик, псевдодетями лейтенанта Шмидта, общественником Скумбриевичем из фирмы «Скумбриевич и сын», подпольным миллионером – серым советским мышонком, эффектно смешивающимся с толпой людей в противогазах, поэтом, адаптирующим своего «Гаврилу» к профилю всех мыслимых социальных заказчиков и т. д. и т. п. Из этого фона выступает фигура супер-хамелеона, мгновенно приспосабливающегося к любой ситуации, чтобы снять с нее сливки и тому подобную сметану, будь то автопробег, выезд писателей на открытие магистрали, шахматные амбиции или оппозиционные настроения провинциалов, шумиха вокруг имени Шмидта или мечта отставного чиновника о монархическом сне. Чтобы в единоборстве с Корейко слиться с бодрой массой советских служащих, он даже открывает собственную контору – пародию на настоящее советское учреждение, получающую высшую апробацию, когда она присваивается государством.

Остап именно пародирует окружающее – он не ограничивается тупо каким-то одним способом адаптации, а с артистизмом, иронично, свободно примеряет все возможные маски, сталкивает, использует и высмеивает все возможные клише, как дореволюционные, так и советские¹², объединяясь в этом со своими авторами, ставящими себе те же цели. Налицо, таким образом, отмежевание Ильфа и Петрова и их героя от ангажированности в советское и попытка занять некую независимую позицию. И хотя независимость эта очень своеобразна –

проявляется она в искусстве супермимикрии, игнорировать ее не следует.

Кого представляет Остап? Он сторонник частной инициативы – «миллионер-одиночка»; западник – хрустальной мечтой детства которого является Рио-де-Жанейро; интеллигент и художественная натура – недаром он образованнее, умнее и артистичнее всех остальных персонажей; и в то же время рядовой потребитель, замученный советским сервисом (пиво только для членов профсоюза, штанов нет и т. д.). Одним словом, Остап – это попавший под пресс советского конформизма яркий экземпляр нормального, т. е. «буржуазного» индивидуализма в лучшем смысле слова.

Лучшем? Лучшем и худшем одновременно, ибо приспособляться приходится не только Остапу, но и его создателям. Поэтому он представлен современным Чичиковым, жуликом, выброшен из «настоящей жизни» (настоящего автопробега, литерного поезда, дружбы с комсомольцами), общается с недоразвитыми отщепенцами, теряет любимую девушку, надежду на бегство за границу, да и самый миллион. В то же время он честен (читит уголовный кодекс), добр и отечески заботлив со своими компаньонами, в сущности безразличен к материальному богатству (он бескорыстно любит деньги и является идейным борцом за денежные знаки, своего рода искателем св. Грааля) и романтически устремлен в прекрасную даль. Всем этим, а также первоклассным чувством юмора, которым с ним щедро поделились авторы, как и естественной привлекательностью его индивидуалистической программы, и объясняется его превращение в кумира нескольких поколений советских читателей.

Что же и с чем скрещено в этой фигуре? Советский взгляд на права личности (коллектив – все, а индивид – ничто, морально подозрителен и скорее всего преступен) неразрывно сплетен с западным, причем оба и воспеты и высмеяны, пожалуй, с некоторым духовным перевесом в пользу Запада. Остап проходит по советскому миру как некий рыцарь буржуазного образа, черпающий, подобно Дон Кихоту, свои идеалы из вымышленного исторического прошлого, но оказывающийся на голову выше сво-

его окружения. Дело не в том, что, как иногда пишут, Остап это обаятельный жулик, а в том, что он обаятельный индивидуалист, в пределе – обаятельный антисоветчик, но это обаяние подано под сильным просоветским соусом.

У Остапа почтенная родословная. Чтобы придать своему гибриду живучесть, авторы скрестили пикаро плутовского романа, остроумных жуликов О'Генри и одесского «короля» Беню Крика с благородным графом Монте-Кристо, сыщиком-интеллектуалом Шерлоком Холмсом и демоническим философом-provокатором Хулио Хуренито. Так был выведен двойник будущего Воланда¹³ и сводный брат лукаво противостоящего государству Швейка.

Кстати, о демонологии – не будем делать из Остапа ангела. В одном с его оппонентами справа и слева можно согласиться: и от его поведения, и от его жизненных планов, и от его философии действительно веет циничным холодком («Я вас последний раз спрашиваю – служить будете?» – «Рио-де-Жанейро – хрустальная мечта моего детства, не касайтесь ее своими грязными лапами» – «Мне вы больше не нужны. А вот государство, наверное, вами скоро заинтересуется»). Холодок этот не случаен; он естественное проявление индивидуализма и артистизма; он необходим для успешного приспособления; наконец, он является оборотной стороной того амбивалентного, обоюдоострого смеха, который одновременно притягивает и отталкивает читателей разных вкусов и убеждений.

Художественная реабилитация западного индивидуализма, начатая Ильфом и Петровым, была подхвачена и развита молодежной прозой, и, в первую очередь, Аксеновым, в нео-нэповской атмосфере оттепели. В духе внезапно оживших надежд на классовый мир и социализм с человеческим лицом Аксенов заселил свои произведения гибридами советского с западным – модерновыми мальчиками, вырастающими в отличных коллег и вообще полезных членов общества; Ваней-золотишником, чуть обедневшим, но необходимым в качестве мечты; привлекательными капиталистами, вроде скотопромышленни-

ка Сиракузерса, завалившего маленькую беззащитную Халигалию бифштексами и жульенами из дичи; и симпатичными совсолдафонами (военный моряк Шустиков Глеб), и доносчиками (старик Моченкин), а то и влюбленными в Запад или просто ищущими гебистами (Марлен Михайлович в *Острове Крыме*, Вовка Сканцин в *Скажи: «Изум»*). Разыгрывая «эстонский вариант» социализма, Аксенов создал своего рода литературный эквивалент конвергенции двух систем¹⁴ – его проза это бесконечный карнавал, в котором, на почве «американской мечты» о сочетании российского благородства с западным консумеризмом безмятежно перепутываются и превращаются друг в друга агенты ЦРУ и КГБ, западные и советские интеллектуалы, капиталисты и советские начальники, аристократы, проститутки, комсомолки, диссиденты и приспособленцы. И даже когда в фокусе – конфликт, как в рассказе «Победа» (1965 г.), его оптимистическое разрешение наступает само, логично, как баховская кода, а точнее, по мановению волшебной модернистской палочки¹⁵.

Поскольку содержательная суть аксеновской медиации более или менее ясна, присмотримся к ее эстетической стороне и сделаем это на материале той же «Победы». Шахматный поединок в вагоне поезда между молчаливым и интеллигентным гроссмейстером и настырным любителем – советским хамом Г. О., символизирующий их противостояние в жизни и культуре, заканчивается «победой» обоих: гроссмейстер ставит мат Г. О., но когда тот, не заметив этого, сам объявляет мат, гроссмейстер признает себя побежденным, что и удостоверяет выдачей Г. О. фантастического золотого жетона из заготовленных на подобные случаи запасов.

Намеренно или ненамеренно со стороны автора, напрашивается переключка между «Победой» и *Защитой Лужина*. Сходств множество, начиная с заглавия и кончая такими деталями, как сцены дачного детства, образы пруда и лодки, игра черно-белых тонов, мотив матового стекла/яйца, и, конечно, настойчивое метафорическое сближение шахмат и жизни. Подобно тому, как набоковский гроссмейстер все ситуации своей жизни восприни-

мает в шахматных терминах, гроссмейстеру Аксенова за каждой ситуацией на доске видятся картины войны, эвакуации, дачной террасы, стрекоз над полем, морского берега и т. д. Отметим как общность ассоциативного хода, так и противоположность его направлений (от жизни – к шахматам; от шахмат – к жизни).

«Победа» приводит на память и еще один роман Набокова – *Приглашение на казнь*, причем не только самим мотивом казни (воображаемой гроссмейстером, когда Г. О. объявляет ему мат), но и сходством Г. О. с м-сье Пьером, у которого тоже мощные татуированные руки, который навязывает молчаливому Цинциннату партию в шахматы, все время хвастается, но, как выясняется, проигрывает. А главное – развязкой, где жизненное поражение героя внезапно отменяется, благодаря переключению повествования в модернистски-фантастический план. Обратим внимание опять-таки не только на сходство, но и на различие. У Набокова этот финал окончательно отделяет героя от окружающей его абсурдной реальности: «реальный» мир разваливается, как старая декорация, а Цинциннат воссоединяется с существами, подобными ему (то ли ангелами, то ли живыми людьми). Еще решительнее это разделение в *Защите* – герой гибнет, а враждебный ему мир остается. У Аксенова, напротив, финал примиряет, в рамках некой единой условной реальности, героя и его оппонента, остающихся каждый при своей «победе».

Оба отличия Аксенова от классика русского модернизма знаменательным образом имеют нечто общее друг с другом – жизнеутверждающий характер, ориентацию на полноту реальности, веру в – пусть условное, но гармоничное – сопряжение далековатых начал. В содержательном плане это и есть тот гибрид советского и западного, о котором мы уже говорили. Как оказывается, в формальном плане ему вторит гибрид полнокровного, советско-ковбойского оптимизма с модернизмом, т. е. с литературной техникой, соответствующей скорее разорванному, экзистенциалистскому, пессимистическому жизнеощущению. Мир раннего, «голубого» и «розового», Аксенова – это «оптимистическая модерния», где стоит вечная оттепель.

Духом идеологической разрядки пронизаны и стихи Окуджавы; однако их аромат явно отличается от аксеновского. Чтобы определить специфический рецепт медиации *à la* Окуджава, начнем, как и в предыдущих случаях, с бросающихся в глаза противоречий.

С одной стороны, несомненно присутствие советской, так наз. революционной и военно-патриотической темы. Окуджава бард той единственной, гражданской, он снова присягает комиссарам, его герои – комсомолочки и советские солдаты (Леньки Королевы), а враги – «Мессершмиты»; он молится на знакомый школьный иконостас из Пушкина-Лермонтова-Грибоедова; а в его лексиконе – дежурные надежда на будущее, мозолистые плечи, промасленные спецовочки, возьмемся за руки, переделывать мир, барабан, труба, кобура, выхватывание сабли, бессребрничество, презрение к мелочным подсчетам, к прибыли и убыли и т. д.

С другой стороны – мотивы прямо противоположные: пацифизм («Песенка американского солдата»; изображение войны в духе плача по жертвам; *О, когда б только эти войска*, т. е. армия влюбленных); ностальгия по дореволюционному прошлому (юнкерам, князьям, прекрасным дамам, конным экипажам, последнему трамваю, старым названиям улиц...); обогащение привычного пантеона Моцартом, Бахом, Вийоном, а там и зеленоглазым Богом; печальные ноты тяжести жизни, неуют, боли, бедности, тихости, слабости, отчаяния, жертвенности и смерти – набор, далекий от браваурной официальщины.

В чем же суть основного конфликта и компромисса, какой тайный нерв обеспечивает единство поэтического облика Окуджавы? Поэт и надеется, и отчаивается, но знает, что надо верить, не оставлять надежды, особенно, когда надежды нет. Он призывает взглянуться и увидеть, и в то же время не обращать внимания, ибо не в этом дело – дело в чем-то высшем. Он хватается за саблю, но уверен, что падет – падет, но воскреснет. Он уповает на любовь, дружбу и взаимопомощь, но главное, на покровительство всемогущих Пушкина, судьбы, Бога, и потому его любимые слова и жесты – это прощение, просьба, мольба, молитва, в ноженьки валиться, Боже, дай всем

понемногу и не забудь про меня. Сквозь все эти молитвы явственно проступает общий элемент – христианский. К нему же восходит и весь минорно-жертвенно-пацифистский комплекс, противостоящий у Окуджавы советскому.

Противостоящий и тесно с ним сплетенный. Благоприятной почвой для скрещивания на этот раз служат в значительной мере общие идеологические основы христианства и коммунизма, этих двух религий обездоленных. Отсюда возможность апелляции к таким советским штампам, как война, геройская смерть, товарищеская помощь, бедность, натруженность, простой человек, вера в светлое будущее т. п. Фокус в том, что в эти клише Окуджава вкладывает новый, – вернее, возвращает им старый, как мир, неофициальный, человеческий, христианский смысл.

Возникает странный сплав советского с христианским; вот каким видится Окуджаве подлинный поэт:

...как прекрасно – упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!

И, срывая очки, как винтовку – с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча,
прямо в рожу орущей толпе!..

(«Грибоедов в Цинандали»)

Тут и ненавистная рожа противника, которая, так сказать, просит кирпича, т. е. винтовки, и ведет к героической гибели в бою; и очки либерального интеллигента, беспомощного перед толпой и насилием; и христианская готовность возлюбить своих распинателей, и уверенность в воскресении; и цементирующая эти разнородные установки самоотверженность героя; и его характерный «начинательный» жест (срывания очков/винтовки) – оптимистический и безнадежный одновременно.

Окуджава как бы перекидывает мост от коммунистических идеалов ранней советской поэзии через пацифистские настроения послесталинской эпохи к нарождающейся в недрах советского общества христианской этике

и новой религиозности. Тем самым он предстает как пророк того «исторического компромисса» между коммунизмом и церковью, надежды на который периодически оживают то в Италии, то в Польше, то в Латинской Америке. Окуджава – это, так сказать, наша «Солидарность», разыгрываемая театром одного актера перед сочувствующим, хотя и молчаливым, большинством.

Мы бегло осмотрели четыре любопытных гибрида: коммунистического идеала – с его полуживотным носителем; яркого творческого индивида – с партийным взглядом на него как на изгоя; западничества и модернизма – со здоровым советским оптимизмом; и, наконец, революционной героики – с христианской жертвенностью. Каждый из авторов нашел свой угол зрения на официальную догму и сумел привить к ней нечто идеологически отличное, создав причудливо переливающийся сплав советского с нес советским. В результате, как герои, так и сами авторы предстали обаятельными хамелеонами, не поддающимися однозначному идеологическому «разъяснению», как выражались в 20-е годы. Обаятельными не только потому, что «хорошо написано», но и потому, что сотворенные ими гибриды в буквальном смысле примиряют читателя с жизнью – советской жизнью. Хорошо ли это? Где кончается Беня и где начинается полиция, где кончается медиация и начинается приспособленчество? Этот вопрос возвращает нас к эпиграфу.

С максималистской точки зрения, всякий компромисс плох. Тогда допустима лишь литература трагических крайностей – и уж, конечно, неподцензурная. Поднятие забрала двусмысленности превратило бы Зощенко в Платонова – автора *Котлована*, Ильфа и Петрова – в Булгакова неопубликованных при жизни вещей, Окуджаву – в христианского поэта-мученика, а Аксенова *Юности* (уже без «бы») – в Аксенова-эмигранта. С другой стороны, недаром официальная критика раньше или позже добиралась до наших «медиаторов», чтобы обвинить их в том, что они поют с чужого голоса. Как мы видели, они действительно подмешивают к советскому голосу какие-то иные нотки, внося тем самым в монотонное звучание советской идеологии элемент полифонии. Они действи-

тельно играют роль троянских коней, расшатывают советскую догму, способствуют идейно-художественному перевоспитанию читателей. Собственно, первым, кто в далеком детстве повернул многих из нас на путь будущего диссидентства и эмиграции, был Остап Бендер.

Наряду с чисто идейной апологией медиации возможна и эстетическая. При любом строе искусство создает свою особую, вторую реальность, обогащая таким образом жизнь, помогая ее осмыслению и примирению с ней. Писатели, которым выпало жить в небывалых советских условиях, одарили нас интереснейшими гибридами и этим внесли свою лепту в во всех отношениях рискованное дело – упражнение нравственных и эстетических мускулов нашей непутевой нации.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Katerina Clark. «The Soviet Novel. History as Ritual». – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981, pp. 3-24.

² См.: Clark, цит. соч., стр. 189 – 209, и Vera Dunham. «In Stalin's Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction». – Cambridge, Eng., At the University Press, 1976.

³ Проблема эзоповского языка посвящена только что вышедшая книга: Lev Loseff. «On the Beneficiense of Censorship (Aesopian Language in Modern Russian Literature)», 1985.

⁴ О синтезе футуризма с большевизмом у Маяковского см. блестящую статью Ю. Карачиевского «Воскресение Маяковского», – «Страна и мир», 1985, № 3, стр. 81; о компромиссах Олеси см.: А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». – Мадрид, 1976.

⁵ О Пастернаке см. мою статью «Механизмы второго рождения», – «Синтаксис», № 14; о «сталинской оде» см.: Н. Я. Мандельштам. «Воспоминания». – Нью-Йорк, 1971, стр. 216 – 220, и Gregory Friedin. «Mandel'shtam's *Ode to Stalin*: History and Myth». – The Russian Review, 41, 4 (October 1982), pp. 400 – 426; о «заигрывании» с уродством и злом см.: Ю. И. Левин. «Заметки о поэзии О. Мандельштама 30-х годов. I». – Slavica Hierosolymitana, 3 (1977), и А. К. Жолковск и й. «Инварианты и структура текста. II. Мандельштам: „Я пью за военные астры...“». – Slavica Hierosolymitana, 4 (1979), стр. 168.

⁶ М. О. Чудакова. «Поэтика Михаила Зощенко». – М.: «Найка», 1979, стр. 104 сл.

⁷ Мих. Зощенко. «О себе, о критиках и о своей работе», в кн.: Михаил Зощенко. «Статьи и материалы». – Л.: «Academia», 1928, стр. 10.

⁸ В последующей характеристике зощенковского героя использована статья Ю. К. Щеглова «Мир Михаила Зощенко». – Wiener Slawistischer Almanach, 7 (1981), стр. 109 – 154.

⁹ См.: А. А. Курдюмов. «В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове». – Paris: La Presse Libre, 1983, стр. 14-26. Автор демонстрирует также гротескное слияние обеих точек зрения в книге официального критика О. Михайлова («Верность», М., 1974; см.: Курдюмов, цит. соч., стр. 20-25), инкриминирующего Ильфу и Петрову «моральный релятивизм».

¹⁰ А. А. Курдюмов, цит. соч. (см. Прим. 9).

¹¹ См., в частности, «Семиотический анализ одного типа юмора», – «Семиотика и информатика» (М.: ВИНТИ), 6 (1975), стр. 185 – 198.

¹² Об игре Ильфа и Петрова с клише и культурной традицией см.: Ю. К. Щеглов, цит. соч., и М. Каганская и З. Бар-Селла. «Мастер Гамбс и Маргарита». – Тель-Авив, 1984.

¹³ Сближение Остапа с Воландом намечено в книге Каганской и Бар-Селлы (см. Прим. 12).

¹⁴ По мнению проф. Дебрецени (доклад «Vasily Aksenov and Soviet Literature of the Elite» на конференции AATSEEL, дек. 1984, Вашингтон), функция аксеновского стиля – ритуальное утверждение принадлежности автора и читателей к элите послесталинского периода.

¹⁵ См. мою статью «„Победа“ Василия Аксенова». – «Двадцать два», № 36, 1984, стр. 194 – 208.



Новояз - 1985

Нелингвистические заметки

МИФЫ «ПРАВДЫ» И ПРАВДА МИФА

Преподаю американским студентам предмет под названием «Современная советская пресса» – учу их читать советские газеты. Занятие не из легких – как объяснить этим мальчикам и девочкам хитросплетения советского газетного языка, как придать хотя бы подобие смысла полностью десемантизированным, засушенным словосочетаниям, типа «страда спросит строго» или «труд на благо родины»? Как могут они понять, почему первое сообщение в «Правде» о захвате американского самолета называлось «Злобная кампания» и начиналось загадочным оборотом: «воспользовавшись инцидентом с самолетом...», а дальше шла речь об антигреческой кампании, развернутой администрацией Рейгана. С точки зрения методологической, впрочем, есть некое достоинство у всех этих мертворожденных языковых уродцев и дебилов – они с легкостью и готовностью дружно выстраиваются в две разные колонны: с одной стороны – бело-розовые паиньки, трудяги и скромняги «новая мирная инициатива», «свет надежды», «горячий стан», «вести с полей», с другой – мрачные, насупленные, с ножом в кулаке и пистолетом в кармане «фальшивка за фальшивкой», «террор, порожденный террором», «угроза миру»...

«Это не урок политики, это урок языка», – предупредила меня более опытная коллега. Но – какого языка? Неужели же – русского, того самого «великого, могучего, правдивого и свободного»? Ни в коей мере. Тогда –

советского? Да, разумеется. Но он ведь и есть – политика, ее порождение, следствие и одновременно исток. А его полная идеологизация делает, в общем, совершенно излишней и ненужной привязку к какому бы то ни было «базовому» языку. Мы находим приметы этого языка и в документах, захваченных на Гренаде, – стенограммах заседания тамошнего ЦК, и в орвелловском описании «новояза», датированном 1948 годом.

Главную же функцию «новояза» – преобразование реальности – еще до Орвелла заметили, почувствовали на собственной шкуре западные интеллектуалы, в тридцатые годы увлекшиеся коммунизмом. О травматическом опыте столкновения с коммунистической терминологией очень выразительно рассказал Артур Кестлер. В конце тридцатых, во время эмиграции в Париже, Кестлер входил в кружок немецких писателей в изгнании, связанный тесными узами со старшим братом – Союзом советских писателей. Однажды в кружок была передана очередная директива из Союза – писать правду. «Мы знали правду, – вспоминает Кестлер. – Мы знали, что каждый день в России расстреливают руководителей революции и наших собственных товарищей или они исчезают бесследно. И вот мы сидели, Киш, Анна Зегерс, Реглер, Канторович и Узе, в отдельной комнате кафе «Мефисто» (так, очень подходяще, называлось место наших встреч) и на полном серьезе обсуждали, как писать правду – и при этом не писать правды. С нашей натренированностью в диалектической акробатике нам было даже не очень трудно доказать, что всякая правда – понятие классовое, что так называемая объективная истина есть буржуазный миф и что «писать правду» означает выбирать и подчеркивать те моменты и аспекты, которые служат пролетарской революции и, следовательно, „исторически правдивы“». Это, конечно, чистый Орвелл: свобода есть рабство = ложь есть правда. Сам Кестлер, впрочем, довольно быстро выкарабкался из сеток фразеолого-диалектической акробатики. Его книга «Тьма в полдень», изданная в 1940 году, принадлежит к числу наиболее ранних и правдивых рассказов о коммунистической идеологии, ее теории и практике.

Миф отвоевывал свои позиции и утверждался на них оружием фразеологии, стремительно окукливавшейся в советский язык. Но тогда – на каком языке развивался антими́ф? Продолжая чисто словесные аналогии, так и тянет сказать, что на антисоветском. Вряд ли это будет справедливо – скорее это была попытка как-то втиснуть в слова то, что отказывалось втискиваться в сознание.

Одно из первых исследований в этой отрасли лингвистики принадлежало Максимилиану Волошину и было замаскировано под стихотворение с выразительным названием «Терминология»:

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» –
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» –
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.

В этих восьми строчках, написанных 29 апреля 1921 года в Крыму, – восемь синонимов к глаголу «убить».

Лингвистические изыскания Волошина продолжил Сергей Мельгунов. Сколько синонимов к слову «убить» в его книге «Красный террор в России», я, честно говоря, не подсчитывала, но думаю, что она вполне может претендовать на рекорд: ведь это – обзор всех имеющихся, официальных и неофициальных источников, прессы того времени о терроре дней гражданской войны. «Смерть стала слишком привычна, – замечает автор. – Упрощенно-циничной становится вообще вся терминология смерти: „пустить в расход“, „разменять“ (Одесса), „идите искать отца в Могилевскую губернию“, „отправить в штаб Духонина“, Вуль „сыграл на гитаре“ (Москва), „больше 38 я не мог запечатать“, т.е. собственноручно расстрелять (Екатеринослав), или еще грубее: „нацокал“ (Одесса), „отправить на Машук – фиалки нюхать“ (Пятигорск), комендант петроградской Чека громко говорит жене по телефону: „Сегодня я везу рябчиков в Кронштадт“».

Так изменялись оттенки речи.

Удивительно близоруки оказываются порой самые проникательные и умные филологи в предсказании судьбы слов. Немецкий еврей Виктор Клемперер, специалист по французской литературе XVIII века, в годы нацизма, естественно, потерял работу в университете. Он выжил чудом, сумев изменить фамилию и подделав документы, скрываясь в немецких деревушках, работая на заводе простым рабочим. Все эти годы он вел дневник, записывая свои наблюдения над словом, звучащим на улицах и по радио, фиксируя процесс «коричневизации» немецкого языка. Из дневниковых записей сложилась потом книга «Непобежденный язык», ставшая классическим исследованием языка третьего рейха и тоталитаризма вообще.

29 октября 1933 года, через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, Клемперер размышляет над тем, включать ли слова «эмигрант» и «концентрационный лагерь» в лексикон гитлеровского языка. В первом слове филолог обнаруживает международные истоки: Великая французская революция, русские эмигранты. «Так что к этому слову в дальнейшем не обязательно будет примешиваться мерзкий запах третьего рейха». С «концлагерями», по мнению исследователя, дело обстоит иначе. «Я слышал это слово мальчишкой, — вспоминает Клемперер, — в годы бурской войны оно означало места, где англичане содержали захваченных буров. Затем это слово совершенно исчезло из немецкого языка. И вот сейчас оно появилось вновь, означая уже немецкое учреждение, учреждение мирного времени, возникшее на европейской земле и направленное против немцев, постоянное учреждение, не какое-то там временное мероприятие военных лет, направленное против врагов». И приходит к выводу: «Я думаю, что в будущем слово „концлагерь“ будет ассоциироваться с гитлеровской Германией, и только с ней». Клемперер ошибался — впрочем, его ошибка не столько филологического, сколько политического свойства.

В 1952 году, почти через двадцать лет после этой записи и через семь лет после падения гитлеровского рей-

ха, в Нью-Йорке вышла книга «Путешествие в страну зэка». Ее автор, Юлий Марголин, гражданин Палестины, имел несчастье незадолго до начала второй мировой войны приехать в Польшу навестить своих родителей. Назад в Палестину его, разумеется, никто не выпустил, — он получил свои пять лет и провел их в Котласлаге, от звонка до звонка. В послесловии к книге Марголин опровергает предположение Клемперера, обращаясь к своему читателю: «Не сделай ошибки и не путай советских лагерей с гитлеровскими. Не оправдывай советских лагерей тем, что Освенцим, Майданек и Треблинка были много хуже. Помни, что гитлеровских лагерей смерти уже нет, они прошли, как злой сон, и на их местах стоят музеи и памятники над гробами погибших — а „48-ой квадрат“, Круглица и Котлас функционируют по-прежнему...»

Это было написано в 1947 году, а еще двадцать лет спустя прозвучали строки зэка следующего поколения — Юлия Даниэля.

Что такое концлагерь? На лике столетья горит, Словно след пятерни, этот странный словесный гибрид. Лагерь — это известно... Лагерь — это знакомо... Что же значит приставка, нарост неестественный «конц»... Может быть, нерадивый напортил наборщик-юнец, Поспешил, пропустил? И читать надо это «конец»?

И дальше в поэме «А в это время», опубликованной в «Гранях» в 1970 году, с полной определенностью доказывается недалёковидность немецкого филолога: «этот ублюдочный слог в каждом доме живет, он обыденным сделаться смог».

Тюрьма, застенки всегда были имманентными чертами русской жизни. Как гласит пословица, «от тюрьмы да от сумы...». Но никогда застенки не оказывался так тесно, так обыденно-просто связан с жизнью среднестатистического гражданина, как в нашем столетии. Надежда Мандельштам называет это «диффузией, взаимопроникновением тюрьмы и внешнего мира». Многие годы этот процесс диффузии, видимый и создаваемый миллио-

нами, шел тем не менее в полном молчании (здесь не протест имеется в виду, а просто название довольно очевидных вещей по имени). Замечательно писала об этом удивительном явлении Лидия Чуковская: «Окруженный немотой, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз, он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызвало его из всемогущего небытия, он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было, в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: „пришли“, „взяли“...» Обратим внимание на это поразительно точное определение – «всемогущее небытие»: вся абсурдная противоречивость и алогичность советской жизни сконцентрирована в этих двух несочетаемых словах. Но зато когда застенок вышел из небытия и завеса молчания вокруг него была прорвана, он отомстил за годы немоты, ворвавшись в нашу речь сотней слов «оттуда», из тех лет, когда, «улыбался только мертвый, спокойствию рад». Из годов сплошного «облагеряживания» населения достались нам «доходяги», «придурки» и «Большая зона», сильно расширившаяся в сфере употребления и означающая теперь всю шестую часть суши. А выражения из сферы трудовых подвигов советского народа! Вот даже уже и «Литературка» – устами писателя Владимира Крупина – признает, что «у нас на многих работах не работают, а „мантулят“, „горбатятся“, „упираются рогом“...» А ведь все эти слова пришли из лагерного языка. Поражает и функциональная неизменность – или неизменная функциональность – понятий в этой области: в 10-е годы нашего века возник «столыпинский вагон» или попросту «столыпин». В 1947 году Юлий Марголин информирует своего читателя, проживающего на Западе: «столыпинский вагон – это тюрьма на колесах». А в 1983 страшным приветом с родины доходят до нас стихи Ирины Ратушинской: «О нем толковали по всем лагерям, / Галдели в столыпинских потных вагонах, / И письма писали о нем матерям, / И бредили в карцере хрипнувшим голосом».

Доктор философии Марголин в лагере писал философское исследование – листки уже почти завершенной

книги отобрали при очередном шмоне. Но лагерное начальство не смогло лишить его наблюдательности и интереса к происходящему вокруг. На грани голодной смерти он записывал слова и выражения лагерного языка: «Это был язык, не похожий на русскую литературную речь. Я не знал прежде таких слов, как „баланда“ (лагерный жидкий суп), „туфта“ (скверная работа для отвода глаз), „блат“ для обозначения тайной протекции, „птюшка“ – лагерная пайка хлеба... Лагерь обогатил русский язык словом „шизо“ (штрафной изолятор)». Марголин занимается даже этимологическими изысканиями: «„По блату“ было, очевидно, еврейского происхождения. „В'laat“ на языке Библии и Бялика значит „в тишине, потихоньку“. Сложной и долгой дорогой докатилось это слово с берегов Иордана на крайний север России, в лагеря Сов. Союза». Из слов, отмеченных Марголиным, кое-какие давно утратили лагерную окраску, выйдя за стены лагерей и тюрем. Слово «блат», как и само понятие, стало одним из самых употребительных в русском языке и означает уже не тайную, а вполне явную протекцию. Завоевало все права и слово «туфта» – оно больше не связывается с работой, употребляясь для обозначения всего фальшивого, ненастоящего, не стоящего. И никого уже не удивляет, когда в романе современного советского писателя оно встречается в сочетании «светская туфта» и означает пустой и бессодержательный разговор в псевдоинтеллигентской гостинной.

У Василия Гроссмана в повести «Все течет» есть замечательная сцена – когда Машенька, «тихая Машенька», сидящая «за мужа», оказывается со своими товарами за зоной и видит занавески в окнах дома «вольняшек» и слышит музыку. В этот день, при звуках музыки, умерла надежда Машеньки когда-нибудь дожидаться мужа, увидеть дочь, умерло ожидание нормальной человеческой жизни. Аналогичная сцена есть и у Марголина: возвращающиеся с работы ээки видят санки и сидящего в санях человека, тепло и по-европейски одетого. У Гроссмана женщины при звуках музыки плачут. У Марголина мужчины при виде неправдоподобно нормальной картины – человек в санях, запряженных лошадьё, – смеют-

ся, но суть эффекта та же: люди отвыкают от вида нормальных вещей, от привычных звуков. Деформация человека сопровождается деформацией слуха и зрения. И речи: «те же самые слова русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то другое. В лагере говорят: человек – культура – дом – работа – радио – обед – котлета – но ни одно из этих слов не значит того, что на воле нормально обозначается этими словами».

Воспитанный в другой культуре, отделенный даже от обычной, нормальной советской жизни сотней световых лет, Марголин старался понять, как идет «расчеловечение» – не только через голод и непосильно-унизительный труд, но и через слова. «„Рабгужсила“ – гениальное лагерное слово, – замечает он. – Личный состав на лагпункте складывается из людей – это „рабсила“ – и лошадей – это „гужевая сила“, транспорт. В слове „рабгужсила“ соединяются люди и животные, смешиваются в одно и уравниваются в достоинстве, ценности и судьбе: выполнять возложенное рабочее задание». В одной этой фразе заключена целая тема, которую можно развернуть в многостраничную диссертацию на звание доктора каких-нибудь советологических наук.

И не менее благодатный материал для исследователя советской действительности дает словосочетание «общедоступная статья» – так называли статьи 58-10 – антисоветская агитация и пропаганда – и 58-12 – недонесение. Особенно поучительна – для западных апологетов советской системы образования и воспитания – вторая статья. Цель определена замечательно четко – сплошная павлико-морозовизация...

В ДЕБРЯХ ЭЗОПОВЩИНЫ

Московский вечер конца семидесятых. У меня зазвонил телефон. Слышу голос подруги: «Тыуже съела пирог, который я вчера испекла?» Мгновенное ошарашивание – какой пирог, что она несет? и вдруг – озарением: да это же о «Континенте», данном вчера на сутки. И дальше какой-то бред, что пирог, конечно же, съеден, но вот есть заме-

чательная кофточка, которую обязательно надо помять, притом срочно, и потому пусть немедленно приезжает...

Трудно представить себе, чтобы какому-нибудь мало-мальски внимательному наблюдателю либо слушателю, работающему в условиях «повышенной акустики», было бы сложно разгадать этот нехитрый код. Тем не менее его использует «вся Москва», с чисто детским азартом предаваясь игре в слова. «Архипелаг ГУЛаг» преобразуется в Архипа, «Воспоминания» Хрущева – в «Детство Никиты», советская власть становится злобной и вздорной старушечкой Софьей Владимировной, а КГБ превращается в Галину Борисовну.

Вся это эзоповщина, все эти вынужденные словесные игры становятся – вместе с анекдотом – формой, быть может, неосознанного фразеологического протеста. Язык городского населения – так называемое городское просторечье – по сути своей язык-пересмешник, обладающий замечательной способностью подсмеиваться даже над весьма мрачными делами и явлениями. Советский язык, к примеру, обожает аббревиатуры – это же явление подмечает Клемперер в языке третьего рейка, а Орвелл и объясняет его: «Было установлено, что сокращая название, вы сужаете и тонко изменяете его смысл, отсекая от слова большинство ассоциаций, которые иначе липли бы к нему». Просторечье занимается иронической расшифровкой аббревиатур, восстанавливая закономерные ассоциации и устанавливая новые, – и вот ГПУ расшифровывается как Господи, Помогите Убежать, СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения) превращается в воинственное Смерть Лягавым, Они Не Спасутся, а СССР, по свидетельству Малумяна, после смерти Сталина расшифровывался в лагерях как Смерть Сталина Спасет Россию. По образцу официальных аббревиатур просторечье создает свои собственные: так возникают КВД – Куда Ветер Дует – о беспринципном нерешительном человеке, ЦУ – Ценные Указания, и еще более язвительное ЕБЦУ – Еще Более Ценные Указания – и замечательное ИБД – Имитация Бурной Деятельности, из которого получается – по типу «гепеушник» – произ-

водное «ибедешник», что означает «бездельник». Просторечье точно подмечает и запечатляет в слове характерные особенности вождей и руководителей, как здравствующих, так и почивших. Ленин идет под наименованием Лукич, Лысый, Фомич; Сталин – Ус, Гуталинщик, Хозяин, Величайший друг пионеров и ассенизаторов; Хрущев – Кукурузник, Наум Соломонович; Брежнев – Бровеносец в Потемках, Ильич второй, Люлек. Информационные волны с родины порой доносят до нашего эмигрантского далека отголоски словотворчества в этой области, однако быстротечность только что промелькнувших лидеров автоматически делает эти отголоски устаревшими. Остается лишь ждать новых волн, в надежде, что они не замедлят.

Дэвид Шиплер, американский журналист, четыре года проводивший в Москве и написавший одну из лучших книг о Советском Союзе «Россия. Торжественные мечты, поверженные идола», пишет о синтетическом мире, создаваемом словами, «бесконечно плывущими из газетных колонок и радио, с лозунгов и плакатов, украшающих улицы и заводы». Этот жанр Шиплер называет коммунистическим сюрреализмом. Советская языковая действительность, как и любая другая, и в самом деле вполне сюрреалистична: ведь мы с малолетства привыкаем жить в двух языковых системах – официальной и неофициальной, точно разграничивая сферы их употребления.

Надежда Мандельштам рассказывает, что драматург Николай Эрдман, автор «Мандата» и «Самоубийцы», мечтал написать пьесу, в которой был бы показан переход нормального человека с одного языка на другой. Запуганный властями после «Самоубийцы», Эрдман этого замысла не выполнил. Это сделал Александр Яшин – в знаменитом своем, битом-перебитом рассказе «Рычаги». Его герои, колхозники, собравшиеся в сельсовете, обсуждают свои колхозные проблемы на совершенно нормальном языке – пока не начинается собрание. С переходом в другую языковую систему – советского языка – люди на глазах у читателя превращаются в рычаги.

С течением времени долго не замечаемая дихотомия между двумя системами стала настолько очевидной, что

«Литературная газета» в проведенной в 1981-82 гг. дискуссии о языке была вынуждена признать существование второго языка – языка улицы, очередей, трамваев. Почему-то «Литературка» отнесла его возникновение к концу шестидесятых годов – как будто раньше все изъяснялись на один лад. Но все участники дискуссии сошлись на том, что его развитие было реакцией и ответом на серый, тусклый, омерзительный канцелярит, заполонивший все сферы советской жизни. Конечно, было бы странно ожидать от «Литературки» напрашивающегося признания, что канцелярит в сущности и есть советский язык. Но вот как определяет канцелярит изобретатель этого меткого словца Корней Чуковский: «Это бесчестный жульнический жаргон, потому что вся его лексика, весь его синтаксический строй представляли собой, так сказать, дымовую завесу, отлично приспособленную для сокрытия истины. Как и все, что связано с бюрократическим образом жизни, он был призван служить беззаконию». Почти полное совпадение – если не дословно, то по смыслу – с тем, что пишет Надежда Мандельштам о советском языке: «условный и лживый язык, который только прятал наши мысли».

Участники дискуссии в «ЛГ» дружно пришли к выводу о необходимости создания словаря разговорного языка. Правда, за отсутствием опыта так и не была решена проблема практического свойства: как же именно это сделать. Один доктор филологических наук советует вспомнить рассказ известного лингвиста-скандинависта Стеблина-Каменского о том, как создавался аналогичный словарь в Исландии: обратились с призывом к народу и все жители страны присылали составителям известные им слова и выражения. Способ, разумеется, хорош, да только страшно себе представить, что из этого может произрасти. Словарь, составленный таким образом, скорее всего пустили бы под нож, а составителя, по незабвенному рецепту Иванушки Бездомного, – на три года да в Соловки. Но всего вероятнее, до таких ужасов бы не дошло: такое важное идеологическое мероприятие, как словарь разговорного языка, нельзя пустить на самотек, превратить в самодеятельность населения.

Впрочем, чтобы представить себе, что вышло бы, когда бы вдруг такой словарь стал явью, даже и фантазировать не надо – потому что он уже почти существует. Его составитель, ленинградский писатель и бывший зэк Кирилл Владимирович Успенский, больше двадцати лет собирал материал для словаря ненормативной лексики и понемногу переправлял его на Запад – убедившись в абсолютной неосуществимости своей затеи на родине. С 1978 года, оказавшись в эмиграции, Кирилл Владимирович работал над подготовкой словаря к печати в Русском научном центре при Гарвардском университете. Он не успел увидеть свое детище: в декабре 1984 года его не стало. Листая отпечатанный материал, объем которого уже сейчас, в районе буквы «т», достигает почти 4 тысяч страниц, отчетливо понимаешь взрывоопасность подобного словаря, беспощадно обнажающего тайные и срамные места советской жизни.

Прежде всего выясняется, что хотя в советском обществе все граждане равны, некоторые все же равнее. Обладатели «хлебной карточки», живущие по «заветам Ильича», уютно обосновались в «спецпоселках», лечатся в «кремлевке» или «свердловке», получают спецпайки с «обкомовскими сосисками» и «негородской колбасой», читают «желтый ТАСС».

В последнем, посмертно опубликованном романе Юрия Трифонова «Время и место» есть такой эпизод: врач объясняет герою причины странного психического заболевания его дочери. Девятнадцатилетняя девочка больна нежеланием жить. Несколько раз она пыталась поступить в университет – безуспешно. Молодой врач говорит отцу пациентки: «Вы действительно так наивны или притворяетесь? Катя сказала, что вы никого не просили, ничего не готовили. А вы знаете, что существуют так называемые списочники и позвоночники, то есть кто проходит „по спискам“ и „по звонкам“?» Молодой человек открывает наивному, отставшему от жизни доктору наук законы современного советского существования, называя ему ключевые слова преуспения. И в самом деле, как далеко забрело древнееврейское слово «B'laat»,

какие прочные корни пустило, сколькими производными обзавелось...

Весьма убедительно выглядит в словаре и множество синонимов для спиртных напитков. Чего только не пьют советские граждане: и «замазку», и «бормотуху» (по определению крупнейшего знатока городского фольклора Василия Аксенова, «любимый напиток зрелого социализма»), и «Веру Михайловну», а пуще всего, конечно, «коленвал», и продукт со сложным названием «Эх, Как Стало Трудно Русским Алкоголикам» (а попросту – Экстру), и «колос Америки», и «ликер с рогами». А уж если нет ничего более подходящего, то в ход идут «авиаконьяк», «ликер шасси», «Борис Федорович» и «Полина Ивановна», она же – «Поленька», и даже «младенцевка». А где только не пьют! Как только наступает «час волка» (в Москве) или снимается «блокада» (в Ленинграде) или – как там называют этот вожделенный час начала продажи спиртного в других городах и весях? – короче, вот тогда «столом и домом» становится, как известно, каждый куст. Пьют в «кафе Сквознячок и Проходняк», в «автопоилках» и «гадюшниках», в «ленинских местах». Даже «Литгазета» не смогла пройти мимо щедрых россыпей русского языка в этой области. Правда, не обошлось без нравоучительного одергивания: перечисляя названия мест для выпивки – забегаловки, стоячки, рыгаловки, поилки, стекляшки, шайбы, гайки – писатель Крупин делает неожиданный и не слишком убедительный вывод: «Где тут уважение к выпивке, тут прямо отрицательное к ней отношение». Отношение, может, и отрицательное, но на практике это почему-то не проявляется.

Словарь называет своими именами явления, с которыми якобы давно покончено в советском обществе. Если действительно советская проститутка – «профессия, которой нет», то кто же тогда все эти «валютные девочки», «герлы», «центровые», «ласточки», «зондеркоманда»?

Не лучше обстоит дело и с хваленым советским интернационализмом: совсем некстати вылезают «чучмек», «черножопый», «голенище», «чугунок», «скрытый еврей». И уж коль мы коснулись еврейской темы – трудно

представить себе в словаре, вышедшем в издательстве «Русский язык», слова «подавант», «ожидант», «рефьюзник».

* *
*

У западногерманского писателя Дитера Кюна есть пьеса «Регулирование языка». В ней всего два героя – Учитель и Функционер, представитель государственной власти. Функционер то и дело является к Учителю с запретом на очередное слово: «комиссия по очищению языка» приказным порядком изымает из обращения сперва слово «спонтанность» и все его производные, потом слово «мнение», затем – «объективность», затем – словосочетание «свобода печати». Наконец запрещению подлежат трехсложные слова как «языковой балласт». В результате перед властью – бессловесная личность, лишенная средств и возможностей самовыражения и потому послушная и разрешающая любые манипуляции над собой, идеал любой тоталитарной языковой политики в чистом виде. Идеал пока что не достигнутый, а может, и вовсе недостижимый.

В приложении к «1984», излагая основы новояза, Орвелл замечает, что в 1984 году новояз «еще ни для кого не был единственным средством общения при письме или в разговоре», и предполагает, что эпоха полного и безраздельного господства новояза наступит лишь к 2050 году. Для Орвелла, писавшего эти строки в 1948 году, расстояние в столетие должно было казаться вечностью. Для нас, читающих его роман в 1985 году, предложенная им дистанция уже вполне сопоставима с пройденной – в нынешнем году новоязу исполняется 68 лет. Вряд ли кому придет в голову оспаривать его достижения на этом славном пути, но совершенно очевидно, что задумывались и планировались свершения куда более грандиозных масштабов. Так что, пожалуй, и намеченная Орвеллом цифра – 2050 год – хотя и не выглядит столь уж отдаленно, не становится от этого убедительней. Наступление ново-

языка не провалилось, но, приостановленное и задержанное живым языком, во многом потеряло напор и силу. Может, и в предсказанном 2050-м уделом нового языка останутся газетные столбцы и выцветшие лозунги. Во всяком случае, надежда на это есть.



Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Без гнева и пристрастия

Хаос – главное ощущение, которое оставляет современный литературный процесс России. И по ту, и по эту сторону границы наша словесность как-то распалась на отдельные произведения отдельных авторов. Нет больше групп, школ, направлений, хотя есть, конечно, эпигоны и старательные последователи.

Уже ясно, что из литературы ушел пафос. Четкая гражданская позиция вызывает подозрение. Писатели, будь это в свободном или подцензурном обществе, всячески откращиваются от политики. Но и ирония, которая еще недавно отвечала на все вопросы, потеряла свой универсальный характер.

Безвременье, как всегда это бывает, приносит с собой бесстрастность. И это качество, как нам кажется, превалирует в том лучшем, что производит на свет сегодняшняя литература. Авторы наблюдают жизнь. Строят модели. Ищут аналогии. Но, занимаясь своим ремеслом, сами писатели стараются раствориться в собственном тексте. Их не привлекает традиционная роль учителя жизни. Они не хотят видеть в книгах рычаг социальных сдвигов. Писатель отказывается судить даже своих героев – потому что он тоже не знает, как надо.

Нравственное начало сегодня уходит в такой глубокий подтекст, что его публичное обнажение кажется неприличным. В этой без-нравственной литературе существенными становятся неодушевленные категории: природа – как у Маканина, время – у Бродского, отвлеченные от реальности социальные структуры – у Паперного, абстрактная внеэмоциональная эстетика – у Милослав-

ского. Вероятно, чтобы хаос превратился в порядок, он должен обрести форму – прежде всего, а не содержание. Новый виток нашей словесности начинается, как всегда, с философских категорий.

ВИД СВЕРХУ

Владимир Маканин. Где сходилась небо с холмами. Москва: «Современник», 1984

Владимир Маканин – писатель сравнительно новый. И хотя он уже стоит за плечами таких общепризнанных мэтров советской литературы, как Распутин и Айтматов, его репутация еще не успела застыть в русле определенной школы. Маканин перепробовал всё – его повести населяют фарцовщики, народные целители, книжные спекулянты, крестьяне, ученые; действие происходит на фоне и городского, и деревенского пейзажа. Дело не только в тематическом разнообразии. По самой прозе Маканина видно, как мучительно он боролся с банальностью художественной ткани. Как он вырывался из колеи, наезженность которой вызвала глубокий литературный кризис последнего десятилетия. И видно, как и почему он из этой колеи все-таки вырывался.

В последнем сборнике повестей Маканина «Где сходилась небо с холмами» заметны эволюционные ходы писательского поиска.

Чтобы изжить стандартный литературный набор, надо прожить его. Это необходимые маневры на чужой территории, своеобразные гаммы, которые нужно освоить, чтобы иметь право от них отказаться. Так будущий абстракционист по клеточкам рисует лошадь, а потом уже малюет, что и как хочет. Но лошадь все же существует на дне его трезвого подсознания.

«Голоса» – повесть, открывающая сборник, – рассказывает об авторе больше, чем могла бы рассказать отсутствующая в книге биография. Как эмбрион повторяет ходы эволюции, так Маканин иллюстрирует примерами свое писательское развитие. «Голоса» – это литературная

исповедь автора. Маканин занимается анализом собственного творчества. Иногда – еще только будущего творчества. Тут же он демонстрирует, как он мог бы писать, если бы хотел так писать.

Собственно, это не повесть, а набор этюдов, написанных в разной, но одинаково чуждой автору манере. Это как бы не опускающаяся до пародии хрестоматия отрывков из самой современной нашей словесности.

Тут есть все, что составляет сегодняшнюю прозу. История жизни и смерти мальчика-инвалида, полная щемяще точных и жестоких деталей. Рассказ о семейных неудачах скромного служащего, написанный в психологической «городской» манере. Фантастическая легенда о происхождении барабанов, придуманных для того, чтобы заглушить страх смерти. Притча о Страшном Суде, откровенно эксплуатирующая кафкианскую традицию. Прекрасно выполненная историческая новелла об уральском разбойнике Севке Сером. Фрагмент ненаписанной молодежной повести. Элегантное эссе о гоголевской «Шинели». Наконец, авторские догадки об истоках творчества как сгустках сверхчувственной информации, обрушивающихся на пишущего из другой, обычно детской, реальности. (Эти истоки и есть «голоса».)

Во всем этом литературном калейдоскопе Маканин обнаруживает высокое мастерство. Но он пишет этюды только для того, чтобы доказать свое право ими не заниматься – поскольку это уже сделали другие.

Только покончив с анализом собственного авторского происхождения, Маканин приступает к своей теме. Опус, завершающий «Голоса», изображает сугубо символическую сцену – семь дряхлых стариков моются в бане. В этой мирной картине взволнованный автор увидел перспективу своего творчества.

Впрочем, он уже и раньше догадывался о ней. Добротно и умело описывая жизнь, Маканин гораздо больше интересовался смертью. Смерть, обычно весьма экстравагантная, встречается то и дело на страницах его повести.

Но тут, взглядываясь в голые тела стариков, автор находит обобщающий образ своего специфического вос-

приятия жизни. «Один за одним они входили в парилку... я видел, что это уходят люди вообще, вышедшие когда-то из воды, поползшие, затем поднявшиеся на четвереньки, затем превратившиеся в млекопитающих, затем вставшие на ноги: люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие, – и опять уходили в воду, в пар».

Отдав положенную дань литературной игре, Маканин увидел свой путь в таком вот глобальном обобщении. Психологизм, исторические реалии, бытовые детали, ученость – все это отступает перед биологической природой человека. От аналитической прозы, с ее претенциозным реестром стилей и манер, Маканин поднимается до синтеза, с высот которого кажется совершенно несущественным суетливый хаос обыденности.

Голые старики существуют за границей сегодняшнего дня с его неумным разнообразием. Собственно, за этой границей и начинается новая проза Маканина.

О том, какие плоды дает панорамная точка зрения, рассказывает следующая повесть сборника – «Где сходилось небо с холмами». И сюжет, и конфликт ее происходит из «деревенской прозы». В глухом уральском поселке вырос музыкант-самородок Георгий Башилов. Переехав в Москву и став всемирно знаменитым композитором, Башилов обнаруживает, что его творчество питается исключительно песенным наследием поселка. Преобразовывая творческое богатство своих земляков, он пишет прекрасную музыку. Но как только она выходит в свет, в поселке перестают петь песню, положенную Башиловым в основу своего рафинированного сочинения. Композитор мучается сознанием вины. Ведь он, как говорит в повести сумасшедшая старуха, «души наши высосал... Песни вытянул». Он пытается вернуть поселку музыку, устроив там, скажем, школу или детский хор. Но поселку, естественно, ни старания Башилова, ни его раскаяние совершенно не интересны.

Стандартная повесть о мудрой деревне, у которой городская культура отбирает духовные основы, написана Маканиным отнюдь не стандартно.

Очень важно, что сущностью народа, экстрактом его жизни – у автора является песня. То есть, такой вид ис-

кусства, который изначально присущ человеку, который не нуждается в посредничестве инструмента, в приспособлении, в специальном знании. Голос – функция гортани, ее биологическое свойство. Композитор Башилов похищает не просто фольклорную традицию, он отбирает у людей одно из их видовых качеств – голос. Немой, безъязыкий поселок – трагическая метафора истощенного, обворованного и разобщенного народа. Но Маканин не останавливается на публицистической аллегории. Его не интересуют инвективы.

Главное – это конфликт поэта и толпы. И здесь Маканин последовательно предпочитает общее частному. Естественное, нерасчлененное на личности, сознание поселка рождает песни. Хищная индивидуальность их крадет. Хору не нужны солисты – он силен именно своим однообразием. Песня – объединенная душа многих, духовная деятельность обобщенных гортаней.

Художник, конденсируя в себе общее достояние, становится солистом. Теперь он поет от лица народа. Но у народа нет лица, есть только голос. Композитор Башилов, как любой поэт, эгоистически высовывается из толпы. Но толпа – это хор, который Башилов заменил собою, узурпируя только свое право на творчество.

Мысль Маканина ведет к тому, что ценность человеческой жизни заключается в подчинении ее естественному биологическому ритму. Маканину не нравится, что люди разные. Он стремится уничтожить эти различия, дойти до самых первичных основ – цветы растут, дождь идет, люди поют. Поэт Башилов может только испортить эту гармонию.

Поразительный – биологический, что ли, – подход Маканина к людям и составляет самую интересную черту его творчества. Писателя совсем не интересует общество с его ненужно сложными социальными отношениями. Его не занимает психология, которая никак не может изменить элементарную последовательность жизни – рождение и смерть. Он постоянно обобщает, отбрасывая все больше деталей, которые кажутся ему несущественными.

В самом деле, ну какая разница, где человек живет, где работает, на ком женился. Все это чепуха, если впереди его ждет смерть, которая «считалась событием ответственным, смерти придавалось значение и придавался смысл, и было, например, необыкновенно важно, кто и как умер».

Абсолютная неизбежность кончины влияет на иерархию ценностей всей предшествующей жизни. Смерть вставляет человека в иные, метафизические рамки, сопоставляет его с более глобальными явлениями. Поэтому главное для Маканина – найти подходящий масштаб. И он его находит в своем лучшем произведении – «Гражданин убегающий».

Маленькая повесть, завершающая сборник, поражает своей ненасильственной символичностью. Здесь преодолено любование самой повествовательной тканью. Это уже несомненно новая проза – резкая, обрубленная, законченная.

Герой повести – гражданин, убегающий от алиментов на новостройки Сибири. Автор бегло, с брезгливым равнодушием, набрасывает его биографию, портрет, характер. Все это – пустяки. Поэтому, когда вертолетчик спрашивает, под каким именем занести героя в ведомость, тот отвечает: «Запиши: восемьдесят килограммов мяса». Это уже предел анонимности. Гораздо важнее причины, заставляющие гражданина убегать. Алименты только внешняя, самая неважная из них.

Герой повести выше всего в жизни ценит наслаждение от созерцания природы. «Он увидел, угадал обширное место, где нога не ступала. Нетронутость разливалась как запах. Он алчно глянул в мелколесье, в естественное проредье стволов, но ничто там не шелохнулось, словно бы он, Павел Алексеевич Костюков, и его взгляд были ноль, ничто». Любование природой не просто потребность – это тот масштаб, говорит Маканин, в котором человеческая жизнь приобретает свое подлинное значение.

Герой повести, по профессии строитель, занимается тем, что преобразовывает дикую природу в цивилизованную. То есть губит ее. «Он был именно и только перво-

проходцем». То есть, он был первым из тех, «кто просто-напросто убегает от предыдущих своих же разрушений».

Руины девственной природы гонят Костюкова все дальше и дальше в нетронутую тайгу. А за ним движутся его дети, нажитые от разных женщин. Уже выросшие, наглые и грубые люди, они преследуют отца, чтобы поживиться его деньгами. Костюков, наконец, забирается в такую глухомань, куда даже вертолеты прилетают раз в полгода. Здесь он заболевает, отравившись болотной водой. Но и перед смертью его находят трое сыновей. Отобрав у отца последние рубли, они улетают, оставив его умирать в одиночестве.

Дети Костюкова – это следы его связей. Связей не только с женщинами, но и вообще с миром, с городом, с цивилизацией. Прозаические алименты – это одновременно и мифические нити судьбы, привязывающие человека к обществу.

Костюков хочет жить один на один с природой. Он стремится выявить свое биологическое единство с дикой, девственной тайгой. В этом союзе для него смысл, цель жизни. «Он смотрел на стволы деревьев, как будто пробуждал в себе некое вожделение». Маканинский герой исповедует, так сказать, антиантропоморфизм. Он не очеловечивает природу, а наоборот, себя стремится растворить в ее неодушевленной, бессознательной стихии.

Гражданин убегает от цивилизации, которая шлет ему вдогонку Эриний, детей-мстителей. («Они преследуют тебя, как в греческой трагедии».) Он обрывает все связи с обществом, чтобы полностью воплотить свою биологическую сущность. Он отказывается от своего личного «я», чтобы слиться с обезличенной средой. Но общество заставляет его уничтожать именно тот мир, в котором он мечтает раствориться.

Чем ближе трагическая развязка этого конфликта, тем большую символичность приобретает маканинское повествование. В предсмертном видении герой попадает туда, куда стремился всю жизнь. Ему привиделось, что «он белая бабочка и что он летит на ту сторону плато, а дети неутомимо преследуют его с сачками. Их было десятки и сотни, его детей... они размахивали гибкими

сачками и гнались за белянкой, со свистом рассекая сачками вокруг нее воздух».

Наверное, можно трактовать этот символ как аллерию взаимоотношений современного человека с природой. Можно считать, что повесть Маканина написана об экологических проблемах.

Но есть еще и проблема рока, который, как в греческой трагедии, слепо и бессмысленно управляет жизнью. Фатализм, задающий тон повести с первой строки – «Люди жили своей жизнью, они же, трое, были обречены» – объясняется раздвоенностью человека. Противоречивое сосуществование его двух ипостасей – социальной и биологической – основа вечного, вневременного конфликта. Маканин видит в этой непрерывной войне трагедию рока, но трагедию, лишенную очищающего катарсиса. В отличие от Эдипа, убегающий гражданин знает, что творит.

Судьба строителя Костюкова не вызывает сочувствия у Маканина. В этой повести вообще нет авторской эмоции. Автор безмятежен, как та природа, в которую влюблен его герой. Маканин изображает естественное течение жизни. Он не придает конфликту характер уникального события. Не выделяет своего героя. Не драматизирует его судьбу.

Этот нулевой градус письма позволяет ненавязчиво сместить акценты в сугубо реалистическом повествовании. Каждая деталь, каждый фабульный мотив становится кирпичиком общего смысла. На своем пути к глобальному обобщению Маканин достиг той ступени, на которой часть всегда представляет целое. Герой, оставаясь конкретным Костюковым, превращается в анонимного гражданина, убегающего от своих преступлений. То есть просто человеком, любим и каждым.

На пороге новой стилевой манеры писатель всегда начинает с начала, не с социальных, а с биологических основ жизни. Разрушение литературных канонов требует в герои человека вообще. Этим когда-то занимался Платонов, и не случайно его точка зрения – «сверху» – заметна в повестях Маканина.

После многих аналитических экспериментов, после бессюжетной, эссеизированной прозы последних лет, сейчас особенно заметна потребность в литературе, начинающей с начала.

МИФ КАК ФАКТ

Владимир Паперный. Культура «Два». Анн Арбор (США): «Ардис», 1985

Собственно, Владимир Паперный написал два произведения – хотя они изданы под одной обложкой, под одним названием, и вообще с виду это один большой том альбомного формата. Но концептуально перед нами: с одной стороны – очерк важнейшего периода советской истории, с другой – методическое пособие, инструмент исследования. При этом автор вводит множество занимательных фактов и тем выполняет одну из самых трудных обязанностей любого литератора – книгу интересно читать.

Паперный вычленяет в истории СССР два периода, которым соответствуют два разных типа культуры. Автор назвал их без затей: Культура «Один» и Культура «Два». Он строит полтора десятка параллельных пар – типологически противоположные категории, характеризующие эти два типа культуры (понятие – имя, целесообразное – художественное, импровизация – ноты и т. д.).

В целом, как считает Паперный, Культура «Один» – период от революции до 1932 года – ориентирована на то, что принято называть коммунистическими идеалами. В искусстве это время зафиксировано конструкциями Татлина, стихами Маяковского, постановками Мейерхольда. Для этой культуры характерна общая центробежная тенденция: «растекание» – распространение вширь, всемирность, коллективизм, пристальный интерес к машине как философской модели совершенного человека, идея самоценности движения.

Культура «Два» охватывала период с 1932 до 1954 года. Она принесла с собой центростремительную тен-

денцию: идею «затвердевания». Тут все выстроено иерархически, сама жизнь и все виды искусства устремлены к некой заданной цели, некому центру – Вождю (вспомним, например, «Ивана Грозного» Эйзенштейна), архитектурные формы устремляются вверх и становятся монументальными, живопись и театр утрачивают свой автономный язык и подчиняются описательному принципу (раскрашенные фотографии), воцаряется соцреализм.

22-летний период Культуры «Два» и интересует, в основном, автора. Фактологическая канва его изложения – архитектура, на ее явления и накладываются глобальные концепции Паперного, который их иллюстрирует с умением и точностью. Например, нелепость разностороннего фасада столичной гостиницы «Москва» объясняется анекдотическим случаем. Архитектора Щусева, принесшего проект двух вариантов фасада на выбор Сталину – для удобства на одном листе – к вождю не пустили, и Сталин, не разобравшись, подписал весь лист в целом. Пришлось строить оба варианта в одном здании.

Эта история, возможно, и не обладает исторической достоверностью. Но Паперный и не собирается убеждать читателя в безусловной подлинности анекдота, он убежден: «Для исследователя культуры достоверность легенд не очень важна – примерно так же, как для психоаналитика неважно, имеют ли данные переживания основания в реальности. К культуре по существу не применимо понятие достоверности, как к области бессознательного – понятие реальности».

В самом деле, какая разница, ходил Щусев к Сталину или нет. Важно, что такое событие могло произойти и полностью соответствовало стилистике эпохи. Скажем, в журналистике слухи являются такой же новостью, как и происшедшие события – поскольку слухи возникают только вокруг общественно значимых явлений. Точно так же возникновение мифов больше скажет о времени, чем перечень знаменательных дат. Событие еще может быть случайным, миф – никогда.

Послевоенное поколение помнит знаменитые истории про футболиста Боброва. Рассказывали, к примеру, такое: «У него красная повязка на правой ноге – значит,

удар смертельный, бить нельзя. Тут американцы приехали, у них на воротах обезьяна, все мячи берет. Наши продают, Бобров плачет, дайте, говорит, хоть разок правой ударить. Тренер звонит в Кремль, и лично Сталин говорит: „Разрешаю Всеволоду Боброву бить правой ногой“. Бобер как дал – обезьяна насмерть».

Чудовищная мешанина из веры в батюшку-царя, русской богатырской удали, ксенофобии и преклонения перед Западом, неистребимой жажды чуда – трудно представить себя более яркую характеристику тоталитарной советской России, чем эта невероятная ахинея про мертвую обезьяну. И что из того, что это ахинея? Подобный миф – такое же явление культуры, как ВДНХ, причем именно и только Культуры «Два», в терминах Паперного.

В его книге таких историй все же нет, она вообще академична и опирается на богатейший документированный материал, подчеркивающий компетентность автора. Но в Культуру «Два», воссозданную Паперным, архитектор Щусев и форвард Бобров вписываются на равных.

Тут мы подходим ко второй ипостаси книги – инструменту исследования. Главное достоинство работы Паперного – метод, система, возможность применить его историко-культурологическую схему ко множеству явлений и фактов.

Если отвлечься от суеты политических перестановок настоящего и прошлого, можно заметить, что история существует только одна – история смены стилей. В исторической перспективе совершенно неважно, кто был генеральным секретарем ЦК в тот или иной год, и гораздо существеннее, например, что партийные функционеры стали учить английский язык. Точно так же смена барочных завитушек ровными плоскостями ампира скажет больше о европейской смуте начала XIX века, чем перечень монархов и войн.

Именно так трактует изменение стиля Владимир Паперный. Он вычленяет существенное и характерное, находя взаимосвязь между изменениями архитектурного этикета и всем стилем жизни огромной страны. Автор предполагает, что два описанных им типа культуры свойственны всей русской истории. То есть история России –

суть циклическое чередование Культуры «Один» и Культуры «Два».

Звучит смело и резко, но спокойно и убедительно Паперный рассматривает сталинский период так же непредвзято, как петровское барокко. И коль скоро речь идет о чередовании двух типов культуры, то позволительно увидеть отчетливые черты постреволюционной Культуры «Один» в бурные 60-е годы, а признаки возврата сталинской Культуры «Два» – в современном Советском Союзе.

Так же применим инструмент Паперного, с которым он подошел к архитектуре, и в других искусствах: литературе, музыке, кино. (Кстати, то, что объектом книги оказалась именно архитектура, можно считать удачей, потому что ее образцы воспроизводятся в книге на многочисленных фотографиях. С музыкой, в смысле наглядности, было бы тяжелее.)

Система Паперного условна – как любая схема: в нее попадает характерное, типичное, рядовое. Схема по определению не включает высочайшие взлеты, выходящие за рамки приземленных закономерностей. Как разрешить проблему: *вопреки* или *благодаря* культурному контексту возникли такие шедевры, как московское метро (перевоплощение преисподней в рай) и школа балета (апофеоз высокой поэзии казармы)? Как быть, если в жесткий контур Культуры «Два» не вписываются симфонии Шостаковича и стихи Пастернака?

Метод Паперного дает возможность рассмотреть такие абсолютные достижения – это дело новых исследователей. Теперь можно попытаться дать ответ на интереснейший важный вопрос – как соотносятся вершины культуры с современным им культурным типом?

Период Культуры «Два» – 1932–1954 гг. – страшное и тяжелое время русской истории. Но оставляя эмоции художникам, аналитик Паперный изучает свой предмет последовательно и трезво – будто перед ним викторианская Англия или Франция Людовиков: не дьявольский заговор черных сил, а реальный исторический факт, полноценная культура огромного народа на протяжении многих лет.

Юрий Милославский. От шума всадников и стрелков. Анн Арбор (США): «Ардис», 1984

Мало кому так повезло в современной русской литературе, как блатным. Класс люмпенов пристально изучается писателями, социологами, мемуаристами и лексикографами. Быт и нравы уголовной России постоянно находятся в центре внимания читателей, которые не устают следить за жизнью отверженных.

В этом спектре прозу Юрия Милославского отличает свой оттенок. Его короткие рассказы, постоянно появлявшиеся в эмигрантских журналах, а теперь собранные в книжку, составляют законченную, интересную и, конечно, ужасающую картину харьковского рабочего предместья.

Милославский предпочитает иметь дело только с героями экстремальными. «Вуляра старшего я никогда не видел: его расстреляли за год до нашего переезда на проспект Свердлова за людоедство», – вот типичное начало рассказа. Проститутки, садисты, старые зэки, озверевшие малолетки, насильники из народной дружины, просто шпана – все эти персонажи перетекают из одного рассказа в другой. Автор густо населяет ими город своего отрочества. Он любит их чудовищными пороками, смакует их преступления, наслаждается точностью своих воспоминаний.

В общем, его можно понять. Герои Милославского – благодарный материал для литературы. Они чужие, как пришельцы. Их этика настолько загадочна, что ее нельзя соотнести с любой нормой. Их мир незауряден и фантастичен – он существует вне наших критериев. Вот на этом смещении житейской логики Милославский и строит свою прозу. Он справедливо полагает, что такая фактура не требует участия автора. Чтобы проявиться, ей не нужен сюжет. Милославский и не пытается его строить. Он не стремится ввести абсурдную жизнь своих героев в категории причины и следствия. Почему малолетка Игорек «пристрелил Виталу-Керю и ранил в коленку Толика

Богуша»? («Оружие»). Почему повесился алкоголик и убийца Манон? («Смерть Манона»). Зачем «под гроб Шамилю закатали бутылку водки и пачку сигарет „Джебел“»? (из того же «Смерть Манона»).

Во всех этих диких поступках нет никакой повествовательной логики, как нет ее в той жизни, которую описывает Милославский. Он полностью доверяет своему материалу. Роль автора сводится здесь к добросовестному копированию действительности. Чтобы восстановить мир своего детства, нужна величайшая точность – деталей, описаний, языка.

Милославский достигает этого эффекта за счет абсолютной бесстрастности стиля. Он исключает оценивающий момент из своего творчества. Хорошо или плохо, что группа подростков изнасиловала семиклассницу? («Сын Людмилы Ивановны»). Не важно. Важно, что участник преступления написал в объяснительной записке: «Я только за бутон подержался». Вот ради этого выражения Милославский и пишет про своих монстров.

Автор всего лишь бесчувственный объектив, фонограф. Он не воссоздает мир в своем творчестве, а записывает его. Его рассказы – цепь зарисовок, объединенных даже не темой, не героями, а дотошностью автора. «Фома Одноногий... выходил по вечерам в черном модном костюме с аккуратно подвернутой на огрызке ноги брючиной, в белой капроновой сорочке с галстуком, где узелок – в копеечку, в кепке типа «белое букле» с резиновым изогнутым козырьком, что надвинут был на спокойные глаза без какого-нибудь цвета – мозг видать...»

И так – без конца. Подробность нанизывается на подробность. Автор смертельно боится что-нибудь упустить – все ему кажется существенным. «Людмила Ивановна... заходила на переменах в мужской туалет, хотя ей однажды и написали на синее платье». Именно и обязательно – на «синее» платье. «Подобные предметики лежали в шкатулке фабрично резного дерева с копией картины Яблонской „Хлеб“». Никакого отношения к дальнейшему шкатулка не имеет. Висящее на стенке ружье у Милославского никогда не стреляет. Просто все эти мелочи, микродетальки и есть главные герои. Они

равноправны в повествовании с говорящими персонажами, потому что в поэтике Милославского прейскурант играет такую же роль, как люди.

Как ни странно, в этой описательной горячке почти никогда не бывает ничего лишнего. Напротив, скупердйское накапливание подробностей приводит к тому, что мир Милославского обставлен *типичными* вещами. Он становится очевидным осколком конкретной реальности.

С речью Милославский обращается, как с предметами. Он заботливо воспроизводит реплики и диалоги со всей бессмысленностью живого языка. «— Ну, йолоп... — сказал заместитель председателя городского совета». Читатель напрасно будет ждать, что ему объяснят значение загадочной реплики заместителя. В прозе Милославского, как и в жизни, есть много такого, что объяснить нельзя. И именно из этой невнятности проистекает болезненное ощущение абсолютной подлинности. Иногда даже кажется — фи, ну зачем он так: «Томка, а чего у тебя трусы на жопе грязные, аж противно. — Как собака вредная. То я еще утром в заводе на ящик села, а он в цементе».

Впрочем, Милославский и не предполагает, что мир, им описанный, может кому-то понравиться. Он занят другим. Автор вводит безобразное в сферу эстетики, пытается открыть поэзию в тех местах, где ее не искали. Пошлое городское просторечие, малопонятный язык блатных, туманные формулировки милицейской справки, газетные словечки (сосиски — всегда «мясопродукты») — из всей этой лексической окраины Милославский вяжет точную стилистическую картину, в которой какая-нибудь запятая куда важнее нравственной позиции.

Сам процесс пристального взглядывания в деталь или слово эстетизирует фактуру. Читатель, вслед за автором, начинает смаковать подробности. Пассивное созерцание открывает в уродливом мире Милославского если не красоту, то своеобразную пластичность. Как умелый фотограф, автор гармонизирует натюрморт, из чего бы тот ни состоял. Мог же Бодлер описывать пададь.

До тех пор, пока Милославский не вмешивается в повествование, его проза блещет отточенностью. Но

стоит в ней появиться рассуждающему автору, как нарушается чистота жанра. «Что есть любовь? Такой вопрос задает интересующийся покойный профессор Зигмунд Фрейд». Герои рассказа не знают про Фрейда, им он не нужен. И для рассказа он лишний. Беря на себя функции комментатора, автор разрушает иллюзию фактографичности. И это несоответствие сразу мстит за себя фальшью, каким-то ерничающим тоном.

К концу сборника («Скажите, девушки, подружке вашей») Милославский, устав от своей невидимости, появляется все чаще. И все чаще появляются несвойственные его прозе элементы кокетливой исповеди. «За соседним столиком ужинает фармацевт Ясный, его жена – и любовник ее Юра Милославский. Белокурый, светлоглазый с дымком, Юра – пьяный и закокаиненный. Он – пьяница, наркоман, развратник». Понятно, что автору хочется себя вставить в мир собственной прозы. Понятно, что Милославский старается отойти от материала, принесшего ему творческую удачу. Но активный авторский персонаж совершенно чужд стилистике Милославского. Хроникер не должен вмешиваться ни в жизнь, ни в текст.

Наверное, Милославский и сам это чувствует. Последний рассказ сборника – «От шума всадников и стрелков» – написан в старой манере, но на новом, не биографическом, материале. Автор описывает жизнь оккупированного немцами южного города. Причем делает это все с той же поразительной точностью и все с той же холодной бесстрастностью. Похоже, что разработанная Милославским система приемов плодотворна не только тогда, когда имеет дело с авторскими воспоминаниями.

Проза Милославского открыла не столько новых героев, сколько новое к ним отношение. Он сумел показать художественную значимость целого пласта российской жизни. Расширил эстетическое поле писательского зрения за счет еще одной окраины.

Иосиф Бродский. Мрамор. Анн Арбор (США): «Ардис», 1984

Что с поэтами интересно – после них разговаривать не хочется. То есть, невозможно.

Публий – Туллию

В 1970 году Иосиф Бродский написал стихотворный цикл «*Post aetatem nostram*» («После нашей эры»), в котором изображалась аллегорическая утопия – общество будущего. Империя с подозрительно знакомыми персонажами:

Известный местный кифаред, кипя
негодованьем, смело выступает
с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Слегка напрягшись, можно было вспомнить знаменитый стих: «Уберите Ленина с денег!» Мелькали столь же узнаваемые другие эпизоды и детали.

Под номером VII в цикле «*Post aetatem nostram*» шло небольшое стихотворение «Башня». Главное сооружение Империи имело комплексное назначение:

Теряющийся где-то в облаках
железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же – размещается тюрьма.

Через 15 лет Бродский развернул это стихотворение до трехактной пьесы «Мрамор».

Теперь в камере Башни поселились узники – Публий и Туллий. Никаких преступлений они не совершали. Просто по гениальной реформе прежнего правителя Тиберия три процента населения Империи сидят всегда. И когда кто-то умирает в заключении, его место занимает другой. «Своего рода налог», – комментирует Туллий.

Если уж во все времена, при всех режимах, кто-нибудь обязательно сидит в тюрьме, то разумно осуществлять это установленным порядком, по плану, без всякой анархии и произвола.

Текст пьесы есть диалог между сокамерниками Публием и Туллием – единственными героями «Мрамора».

По сравнению с эмбрионным стихотворением, где на первом плане были элементы философской сатиры, пьеса глубже, тоньше, сложнее. И неизмеримо интереснее. Темы бесед Публия и Туллия – неисчерпаемы. Личность и государство, долг и чувство, история и география, свобода и необходимость, жизнь и смерть, демократия и автократия, прошлое и будущее, республика и монархия, искусство и реальность, победа и поражение, пространство и время. Семья, дети, карьера, еда, секс, поэзия...

Идейная насыщенность и разнообразие вызывают к сравнению сократические диалоги Платона. Текст Бродского сгущен необычайно – так, что на 60 страницах пьесы мощно и объемно разворачивается образ грядущего мира. Образ этот тем полнее, что выражен в сочетании философской глубины, метафорического блеска, едкого остроумия.

Собеседники у Бродского нетрадиционны: это не платоновские вопрошающий ученик и вещающий мудрец. Публий и Туллий самостоятельны и равны, при этом – резко и ярко различны.

Публий – живой, буруеваемый страстями, полнокровный мужчина. Он малообразован и прост. Он солдат. Публий не может примириться с положением узника, бунтует, и над его неутоленными желаниями подсмеивается товарищ по Башне.

Туллий – воплощенная римская идея. Он стоик, он уважает и любит свою судьбу, отвергая суетность страстей. Он знает, что высшая мораль – это долг, и его раздражают метания варварской натуры Публия. Туллий умен и язвительно ироничен.

О чем бы ни шла речь у Публия и Туллия, каждый раз неизбежно происходит столкновение не только темпераментов, не только культур, но и мировоззрений: совре-

менного и античного. Прежде всего, это касается взаимоотношений личности и государства.

С точки зрения нового времени, конфликт стремящейся к абсолютной свободе личности и стремящейся к абсолютному порядку власти – есть основа развития человеческого общества. Это противоречие обслуживает мировое искусство, начиная с мифов. В этой борьбе рождаются великие ценности цивилизации – демократия, право, гласность, свобода мнений и творчества.

Для античного мировоззрения такого конфликта просто нет. Личность и государство существуют в гармоничном единстве. Сама вселенная – и есть мировое государство, а люди его граждане. Надо только соблюдать сложившиеся, а потому естественные, правила. Не нарушать порядок. А внешние испытания для человека – только повод для упражнения в добродетели, которая заключается в том, чтобы максимально соответствовать окружающему миру. В случае Империи – соответствовать Империи.

Бродский сталкивает современное, «варварское», мышление Публия с античным сознанием Туллия – поместив их в Империю будущего. Как бы проверяет: как будут проявляться разные точки зрения в фантастических обстоятельствах грядущей тоталитарной утопии.

Диалог «варвара» и «антика» не ограничивается словами. Они заключают пари на снотворное (определенная доза которого положена каждому) – можно ли сбежать из Башни. Умный Туллий совершает побег и тут же сам возвращается назад, за выигрышем. Побег бессмыслен, и не только потому, что вокруг Башни – такая же Империя, где действуют те же законы. Просто не надо суетиться, «пыль поднимать, мослами шевелить», нарушать порядок. Если положено сидеть в Башне – надо сидеть, потому что в этом соответствии государственной гармонии и есть подлинное назначение человека, его долг, его счастье.

Получив лишнее снотворное, Туллий погружается в долгий сон, оставляя Публия наедине со своими неумными нелепыми желаниями.

Пространная и подробная ремарка к I-му акту – экспозиция пьесы. В ней, как в чертеже здания, намечены практически все идейные и стилистические тенденции, которые будут развиты на протяжении трех актов «Мрамора».

В первом же предложении ремарки звучит ироническая неопределенность, сразу обозначающая позицию автора-наблюдателя – взгляд извне: «Второй век после нашей эры».

Ко времени добавляется место: «Камера Публия и Туллия – идеальное помещение на двоих: нечто среднее между однокомнатной квартирой и кабиной космического корабля». Обозначение места сразу вводит идею симметрии – главенствующую идею пьесы: пара античных римлян – Публий и Туллий – сидят в Башне из хромированной стали, водруженной посреди будущей Римской империи. (Это что-то вроде Останкинской башни, во всяком случае, венчает ее ресторан и телеантенна.)

Двойной анахронизм: прошлое и будущее симметрично размещено по сторонам пребывающего в настоящем автора-комментатора.

«Декор: более Палладио, чем Пиранези». Это важное указание: сразу же отбрасывается гротескная мрачность полубарочных «Фантазий на темы темниц» и воцаряется светлый размах мраморной гармонии. Подобно тому, как Палладио трактовал и прикладывал к современности архитектурные идеи древности, Бродский испытывает античное мировоззрение на прочность двойного анахронизма: как оно проявляется в настоящем и будущем.

Утопический мир Бродского кажется очень знакомым, что-то настойчиво напоминает. Но все же Башню трудно назвать традиционной тюрьмой. В камере – чистота и комфорт, книги, мраморные бюсты классиков. По оси Башни – дорическая колонна, она же мусоропровод, она же лифт: доставляются яства – «фламинговые яйца, икрой начиненные», «паштет из страусовой печени с изюмом». Звучит музыка. Уют этого «среднего между однокомнатной квартирой и кабиной космического корабля» – налицо. И налицо неизбежность уюта.

Бежать из Башни невозможно, но и непонятно зачем – Башня неотъемлемая часть Рима. Только еще комфортабельнее, еще спокойнее, еще лучше. Передовой форпост совершенного общества.

А главное: поскольку между обществом и личностью нет конфликта – узник Башни с таким же почетом и достоинством выполняет свой долг, как какой-нибудь сенатор. В чем же еще смысл жизни подданного Империи, как не в выполнении долга?

До всего этого не дорос сангвиник и жизнелюб Публий. Хотя даже канарейка – птенчик, запорхнувший сюда из стихов Катулла и представляющий собой идею клетки в клетке, – не улетает, когда ее хотят выпустить. Публий за это не любит канарейку, вызывая опасения мудрого Туллия: «Сначала киску уморил, потом рыбок. Потом зайчика. Теперь, значит, за канарейку принялся». Публий вовсе не зол. Просто, находясь в замкнутом пространстве, он понял, что эту свою ситуацию изменить не в силах. И он инстинктивно борется с другой системой координат – с потоком времени. Хотя бы в пресечении жизни мелких тварей Публий хочет увидеть реалии причинно-следственных связей. Если существуют начало и конец, то еще есть надежда, еще теплится жизнь. Но все напрасно: в Башне не нарушается монотонность бытия, и даже роскошные блюда не повторяются и теоретически повториться не могут. Отсчета времени нет.

Иное дело Туллий. Он стоик, он презирает суетливость Публия, именуя его варваром. Туллий понимает, что «цель Рима – слиться со временем», и с этой точки зрения обитатели Башни – не узники, а элита Империи. Они – на переднем крае, они ведут на себе эксперимент победы над временем.

Дело в том, что пространство уже побеждено. Империя простирается по всей планете, и космические корабли Рима высаживаются на Канопусе и Сириусе. Теперь дело за временем. Уже отменены летоисчисление и дни недели, и скоро Империя сольется с вечностью, и тогда не останется вообще ничего, что бы не было Империей.

Великие мыслители античности отождествляли абсолютную вечность с вечностью Рима. Даже христиане

первых веков принимали этот постулат, полагая, что только Град Божий сможет сменить Вечный Город. В утопии Бродского возрождается этот идеал, осовремененный присутствием неожиданных атрибутов: космических кораблей, транквилизаторов, электронной техники, памяти о Тиберии, который так мучительно напоминает Сталина. Есть в «Мраморе» и точно обозначенный прогноз катастрофы современной цивилизации: «Этот, как его, в Скифии который? ну, последний век христианства, верней, постхристианства – он же так и утверждал: у нас незаменимых нет». XX век – будет последним нашей эры.

А что потом? Потом – вечный Рим. Империя, прозванная Башней небо, чтобы постичь и покорить абсолютное и независимое, универсальное и однородное, непрерывное и бесконечное Время. Сначала оно будет приручено в Башне, потом – во всей Империи.

Туллий, истинный римлянин, не только глубоко понимает эту имперскую задачу, он даже опережает эпоху, как подлинный экспериментатор: он уже сейчас хочет раствориться в вечности. Бродский, как всегда, играет на снижении жанра, и великая цель узника Башни достигается парадоксально просто: Туллий собирается как можно дольше спать. Но это не сон лежебоки, это попытка сократить энтропию мира – долг каждого сознательного гражданина Империи. Потому так и бесится Публий, ненавидящий спокойное достоинство Туллия: «Вот они, римские доблести! Стойкость патрициев! Муции Сцеволы! Руки жареные!»

Публий резок и прост, но отнюдь не глуп. Напротив, он здраво умен и остроумен, и самые блестящие афоризмы в пьесе принадлежат как раз ему, вроде: «Тюрьма есть недостаток пространства, возмещенный избытком времени». И если в искусстве Туллия восхищает соразмерность, то Публий сам являет собой творческое тревожное начало. Туллий наслаждается симметричной гармонией образа: «И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника». А Публий на вопрос «По-твоему жизнь – это что такое?» отвечает: «Это когда свет рубишь – и на бабу», так, что даже невоз-

мутимый Туллий ошарашен мощным импульсом смелой энергии, исходящей от этого варвара.

Стилистика Публия – это скабрёзность Катулла, грубость Плавта, непристойность Петрония: та здоровая веселая сила, которая восходит к рыночному мату Аристофана и которую с таким удовольствием воспроизводит сочный язык пьесы. Публий – чужой в лабораторной стерильности Башни, в размеренном порядке Империи. Его индивидуализм претит этике, основанной на служении государству.

Публий явился в великолепный Рим из прежнего мира (то есть, из нашего, варварского) – несовершенно, живого, суетного. Ему стилистически противоположен мудрый резонер Туллий, и речевые характеристики героев блестяще показывают, как в новом обществе благоденствия и порядка из жизни уходит живительный ток. Нетворческое иссушающее равновесие – вот идеальная модель будущего. Воплощенная мечта стойка – апатия.

Пара Публий-Туллий симметрична, как и все в пьесе (вверх-вниз лифта-мусоропровода, бытие-небытие со сном в качестве оси, лебедь и отражение, мир-Рим). Автор – посередине, пристально вглядывающийся в того и в другого, разбрасывающий приметы времени, чтобы понять – насколько они вписываются в идейную концепцию. «Это вроде где-то в Галлии. Тюильри, что ли. Или нет. Это в Скифии Северной... Ну, в этой, в Европе Восточной. То есть в Западной Азии». Что это? – наверное, Ленинград.

Такие приметы рассыпаны по всей пьесе, чтобы не забыться, не увлечься чистой идеей, чтобы помнить о ее реальном историческом воплощении. От Англии и до Африки, от Испании и до Евфрата простирался Рим во времена столь близких Туллию и Бродскому стоиков. А сейчас? Третий Рим?.. И сейчас пространство уверенно преодолевается и покоряется, и кто знает – не наступит ли в самом деле черед победы над временем, чтобы не осталось вообще ничего, кроме Империи.

В этой экспансии единственным спасением и противостоянием может быть только искусство. Например –

пьеса «Мрамор», виртуозный диалог Бродского, вариации на темы платоновских диалогов.

В пьесе всего два героя. Не считая кратких телефонных перебранок с претором (частая реплика «от претора зависит» – насмешливое напоминание о несовершенстве настоящего: там, где правит Время, ни от какого претора ничего зависеть не может), беседуют они только друг с другом. Зато активно участвуют в действии детали обстановки – бюсты классиков.

Иронически развивая тезис об искусстве как средстве побега от действительности, Туллий умудряется покинуть тщательно охраняемую Башню с помощью античных поэтов. Мраморные глыбы Марциала, Ювенала, Вергилия сваливаются в шахту мусоропровода, чтобы сломать ножи смертноносной сечки и раздавить крокодилов – прожорливую охрану Башни. А вслед за бюстами по безопасному стволу шахты спускается Туллий.

Классики, таким образом, всемогущи. Они способны даровать свободу, потому что не знают преград и общественных устоев. Эта тема – одна из самых важных в пьесе. Ее начинает Публий, передвигая на полке тяжелые бюсты: «Из мрамора потому что классики? Уф! Или классики – потому что из мрамора?» Эта острая сентенция сама классически симметрична, как асклепиадов стих, даже цензура обозначена выдохом: «Уф!» Так возникает вопрос, что есть классическая литература.

Современная мысль склонна видеть ценность классики в ее функционировании, а стало быть, и само понятие это – условно и изменчиво. С античной же точки зрения, вся заслуга классического произведения – не в том, кто и как его читает, а в абсолютных достоинствах. Классики – единственный реальный критерий и в пьесе Бродского, поскольку они сами являются создателями Времени. В этом классики противостоят Империи, стремящейся к монополии на Время.

Классики восстанавливают равновесие мира, вычленив из хаоса – ритм. Собственно, сама этимология слова говорит об этом: *classis* – это «флот», позднее – вообще «порядок». Упорядочивание хаоса, а не любование им (как у романтиков), не фиксация (как у натуралистов), не

имитация его (как у сюрреалистов) – такова цель классиков. Они-то и есть подлинные творцы того неизменяемого Времени, растворение в котором – смысл и совершенство. При этом, по Бродскому, истинные классики – только поэты. Их «главное – с императорами не путать. Ни с ораторами, ни с императорами. Ни с драматургами».

Поэт имеет дело со временем в чистом виде. Все прочие вынужденно оперируют пространственными категориями: для императора это страна, для оратора – площадь, для драматурга – сцена. Поэт же воздвигает памятник, заметим, нерукотворный – то есть находящийся нигде и везде. Неуязвимый.

Пространство – всегда тупик, особенно в Империи, которая равна планете, и теперь все – Рим, и «нужник от Персии только размером и отличается». Перспективу оставляет только время. А время творят поэты.

С этой точки зрения ясна реплика улигнувшего из пространства во время Туллия, последняя реплика пьесы: «Человек одинок, как мысль, которая забывается». Мысль уходит бесследно, если это не мысль классика, и на античном жаргоне Бродского это означает, что человеку не дано воплотиться, если он не поэт.

Противопоставление поэтов и драматургов имеет еще и дополнительный оттенок. Драматурги не создают времени-вечности, потому что пользуются чужими головами. (А поэты – одним-единственным, своим.) В этом смысле «Мрамор» – поэма, в которой авторский голос разделен надвое, подобно тому, как это было в «Горбунове и Горчакове» («Когда повыше – это Горбунов, а где пониже – голос Горчакова»)*.

В двухголосной поэме «Мрамор» драматическая форма нужна была автору для симметрии – чтобы сохра-

* Ранняя поэма Бродского «Горбунов и Горчаков» (1965-68) так же, как и «Мрамор», разрабатывала возможности развернутого диалога как организующего начала в искусстве и в жизни. В поэме рассматриваются идеи, позже получившие развитие в «Мраморе»: «Проблему одиночества вполне решить за счет раздвоенности можно»; «Отныне, как обычно после жизни, начнется вечность. – Просто тишина»; «А что есть сон? – Основа всех основ. – И мы в него впадаем, словно реки». Схожи и финалы обоих произведений: надолго засыпают и Горбунов, и Туллий.

нять своим сторонним присутствием устойчивость баланса Публия и Туллия. В их компанию Бродский вошел третьим – для прочности: «Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два». Автор – ось симметрии – не дает распадаться двойственной структуре всей пьесы. И вынесенные за скобки симметричного повествования ремарки (эти самые «гвозди») – крайне существенны, особенно экспозиция в I-м акте. Так, мастерски использовано сценическое пространство. При стоическом лаконизме декораций – все детали активно участвуют в ходе пьесы. Исполняют роль авторского начала.

Более всего это относится к бюстам классиков. Итак, они помогают Туллию выбраться на свободу, и тот выигрывает у Публия пари: он совершил побег и за это получает порцию снотворного своего товарища. Снотворное ему нужно для того, чтобы слиться со временем в максимальной степени – дальше уже смерть, а смерть по своей воле есть нарушение порядка, хаос. Переросший этику стоицизма Туллий и не ищет смерти, презирая самоубийство («Самоубийство, Публий, не выход, а слово «выход», на стенке написанное»). Он осуществляет цель государства, все более приближая себя к неподвижности – гармоническому устойчивому равновесию. Если идеал государства – Башня, то идеальный человек – статуя, а идеальная мысль – мраморная голова классика.

(Кстати, исходя из того, что Башня – статуя государства, она должна быть, конечно же, из мрамора, как воплощенный образ совершенства. И только неполным совершенством правителей объясняется то, что Башня сделана «по старинке», из стали – как оружие. Сталь – преходяща, как войны, а мрамор вечен, как победоносная конечная Империя.)

Круг замыкается. Бюсты классиков пробивают путь из Башни, и вышедший на волю Туллий возвращается в Башню, чтобы слиться со временем в долгом сне. («Снотворное – и есть свобода. И наоборот тоже».) То есть Туллий временем (поэзией) побеждает пространство, чтобы выигранное пространство поменять на время (свое).

При этом происходит странная, на первый взгляд, вещь. Находясь вне Башни, Туллий мог бы купить сколько угодно снотворного. Но это означало бы нарушение равновесия: избыток свободы (времени) может быть получен только за счет недостатка ее в другом месте (у другого). Баланс. Симметрия.

За такую идеальную уравновешенность и окружен особым почетом Гораций. Его бьют щадит Туллий. За проповедь золотой середины, за «жуткую вещественность» (слова Гёте) – которой привержен и сам автор «Мрамора». За панорамную гармонию композиции, где в первой строке – суть и смысл оды, а за начальным конкретным образом – цепь абстрактных рассуждений (так следует пьеса за мощным объемным аккордом экспозиции).

Второй избежавший шахтного ствола классик – Овидий. Он слишком похож. «Большая личная привязанность», – роняет Туллий. И это голос автора, для которого Овидий бесконечно привлекателен своей изумительной судьбой идеального поэта, существующего не в обычных измерениях, а там, «где изгнанник живет вместе с изгнаньем своим».

«В варварской дальней земле» Овидий как-то прижился, даже пробовал писать стихи на местном языке: «Я – стыдно сказать! – написал посланье по-гетски...» – и все-таки никогда, ни на минуту, не переставал ощущать себя частью Рима. Так существуют частью Империи обитатели Башни («он на горизонтальном краю был, а мы – на вертикальном»). Так живет во внешнем мире русский поэт-изгнанник.

Самая судьба автора есть не более чем комментарий к его произведению. Именно так соотносили литературу и жизнь античные поэты: не подтверждали себя окружающим миром, как писатели нового времени, а собой давали сноску к картине мироздания. Погрузившись в пространственно-временные проблемы, Бродский проиллюстрировал теоретические положения собственным побегом из пространства во время.

Действительно, прежде было существование на одной шестой суши, жестко ограниченное крайними

точками родного Ленинграда, геологического Магадана, курортной Ялты, ссыльной архангельской деревни. Теперь – космополитическое бытие, в котором пространство не имеет значения, и болезненной тяге к постижению сути времени равно подходят Новая Англия, Стамбул-Византия, Манхэттен, Мексика, Темза в Челси.

Есть только одно место на земле, куда снова и снова тянет скитальца по времени – Рим. В нем сходятся не дороги, а эпохи. И не километры, а годы отделяют Рим от Третьего Рима – а в слиянии их, по Бродскому, возможно, и есть будущее человечества. Потому поэт не просто возвращается в Рим, а попадает туда с неизбежностью маятника – это опять-таки перемещение не в пространстве, а во времени. Перемещение, необходимое для того, чтобы еще и еще раз с мазохистским наслаждением прочесть отражение-предсказание в магическом зеркале вечного города – пророческую симметрию: МИР – РИМ.



Борис ПАРАМОНОВ

Канал Грибоедова

Аренды, аренды хотят эти патриоты!

Гоголь, «Записки сумасшедшего»

I. Введение, отчасти методологическое

Всякий пытающийся разобраться в неясных вопросах отечественной истории обращается, естественно, к наличной исторической литературе – не за решениями, коли заранее предполагается нерешенность тех или иных проблем, а хотя бы за некоторой более или менее авторитетной ориентацией. Не ответов ищешь в первую очередь, а правильно поставленных вопросов – минимум, которому должна соответствовать любая профессиональная наука. Но трудности, ожидающие добросовестного исследователя, и так немалые, возрастают неимоверно, когда он до конца осознает один банальный факт: именно, что в массе отечественной историографии уже едва ли не преобладающую часть составляет написанное советскими историками. «Студент» (слово, по-английски означающее не только учащегося, но и исследователя) рано или поздно приходит к пониманию того, что прежде чем научиться чему-либо у советских авторов, он должен *разучиться* – увидеть, что он имеет дело с сознательно организованной фальсификацией. Это ни в коем случае не означает, что в советской исторической науке нет ничего ценного. Более того, весь этот фальсифицированный материал сам может стать путем к истине, если найти к нему правильный ключ. Советские историки отнюдь не невежи, это скорее авгуры, говорящие на условном языке

ке, который нельзя понимать буквально. Очень часто они говорят как раз правду – но зашифрованную неким кодом. Ключ к этому коду следует искать в самой методологии советской науки – марксизме, нужно все время держать в уме ходы и пути марксизма в нашем прошлом и настоящем.

Необходимо понять сам марксизм как учение, совместившее в себе некоторые вполне приемлемые в науке методологические предпосылки (не забывая в то же время о принципиальном редукционизме всякой науки, о ее частичном, а не целостном характере), – с элементами практического, «прагматического» действия. Уже первые критики марксизма в России сумели разглядеть в нем наряду с элементами научными – утопические, мифотворческие. Марксизм – не только научная методология (экономический детерминизм), но и методология практической политики, «методология исторического активизма» (Роже Гароди), «волюнтаристический прагматизм» (Георг Лукач). Эта его вторая сторона на русской почве не только практически реализовалась («перманентная революция» Ленина – Троцкого), но даже и теоретически осознавалась самими марксистами: Луначарским в «Религии и социализме». Луначарский, противопоставляя марксизм Маркса «космизму» Энгельса, писал, что в подлинном, так сказать, «авторском» марксизме не детерминированность истории экономическими процессами нужно выдвигать на первый план, а волевою, активистскую установку, стимулирующую человеческую энергию, волю творцов бытия, а не рабов его. Поэтому он считал возможным связать Маркса с Ницше (примерно в то же время такую же связь устанавливал еще один тогдашний социалист – Муссолини¹).

Построения Луначарского были дезавуированы Лениным, но это не значит, что они принципиально чужды самому (русскому) марксизму, с его активистской, и тем самым уже отнюдь не «ортодоксальной», установкой, – имея в виду, что базовый элемент ортодоксии – это экономический материализм. В то же время и этот последний отвергается в качестве единственной марксистской истины, – выдвигается так называемый «субъек-

тивный фактор» как интегральная часть революционного, большевистского марксизма (в противоположность марксизму меньшевистскому, «хвостистскому»). Другими словами, русский марксизм – фактически, если и не вербально – воспринял обе стороны марксизма классического – и научный, и прагматический. Конечно, о «прагматизме» большевистской политики можно говорить только в весьма условном, исключительно терминологическом смысле. Эта политика ориентирована на утопию и ничего, кроме утопии, «реализовать» не может. Но нереальный мир, созданный большевиками, не исключает того, что сами они весьма реальны, – с этим придется считаться всем когда-либо имевшим дело с созданной ими системой.

С этой же «дурной реальностью» приходится считаться и советской исторической науке. Ей позволено выражать находимые ею истины о русском прошлом в терминах сиюминутной политической ориентации. В этом смысле руководящим принципом советских историков была и остается формула Покровского: история – это политика, обращенная в прошлое, – независимо от того, как на том или ином этапе складывается отношение к творцу этой формулы.

Вообще же этой теме – судьбе исторической школы Покровского – следует уделить особое внимание. Исчерпывающее разъяснение ей дал П. Н. Милюков². Он показал, как политические установки компартии корректировали марксистскую теорию – выдвигали, в зависимости от обстоятельств, то один, то другой из ее моментов (т. е., как мы уже выделили, или детерминистскую, или волюнтаристическую ее сторону). Сам Покровский, несмотря на вполне «большевистский» характер вышеприведенной его формулы, тяготел скорее к «меньшевистскому» прочтению марксизма, делал упор на экономический детерминизм. При этом он сам принадлежал к большевистскому крылу русской социал-демократии. Примирить свою политическую позицию с теоретической стороной своего мировоззрения он мог только единственным образом: утверждая готовность России к социализму в ортодоксально-марксистском смысле; поэтому он и говорил о

существовании в России капитализма уже с начала 18 века. Большевистский – в идее социалистический – переворот был у Покровского оправдан не в плане волевого действия, как это следовало согласно теории перманентной революции, а в плане объективного экономического развития страны. Интересно, что Покровского первым начал критиковать не Сталин, а Троцкий, еще в начале двадцатых годов указавший на излишний «академизм» Покровского, на недооценку им того, что позднее стали называть субъективным фактором. Но Троцкий сам вскоре пал, и школа Покровского какое-то время еще держалась на плаву. Когда в тридцатых годах ее начал громить Сталин, это означало (мы продолжаем излагать трактовку событий Милюковым), что ему потребовалось обосновать свою политику уже даже не догмой активистского марксизма, а из более глубоких пластов *русского* исторического прошлого. И Сталин, можно сказать, нечаянно сделал одно дело: восстановил некоторые представления об отечественной истории, добытые работой государственной школы русской историографии, с главной ее мыслью об определяющем влиянии на русский исторический процесс институтов государственной власти. Большевистский «прагматизм» и волюнтаризм оказался лежащим как бы в одной линии с деятельностью русских царей, строителей Московского государства и Петербургской империи, – оказался чем-то в высшей степени традиционным. Конечно, в *содержательном* плане это было иллюзией (жертвой которой, кстати сказать, стал сам Милюков), но нас сейчас интересует не содержательный, а методологический аспект этой ситуации. У советских историков появилась возможность, опираясь на этот изгиб партийной политики, отыскивать и истолковывать в русской истории такие сюжеты, которые действительно имели в ней место. И речь шла не только о восстановлении самих имен русских царей.

Приведем сравнительно недавний пример. В 1970 году в СССР вышел сборник статей под редакцией Л. В. Черепнина «Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма». Это крайне любопытная книга. Как явствует из даты ее издания, она вышла в юбилейном

ленинском году, поэтому все без исключения статьи сборника посвящены «ленинскому вкладу» в изучение русской истории соответствующего периода (мы не решаемся назвать этот период «феодальным») и значению его высказываний для правильной концептуальной ориентации советской исторической науки. Эту книгу можно назвать шедевром подцензурного иезуитизма: прикрываясь Лениным, участники сборника сумели произвести едва ли не полную ревизию ортодоксально-марксистских представлений в обсуждаемой ими сфере.

Надо сказать, что у Ленина есть одно действительно ценное высказывание о главном феномене русской истории – самодержавии. Ценность этого высказывания определяется, конечно, не тем, что оно «ленинское», а тем, что в нем вождь революционного марксизма набрался здравого смысла и сумел увидеть в самодержавии то, чем, собственно, оно и являлось: структуру, сложившуюся отнюдь не по марксистским правилам экономической детерминации, а выступавшую как главенствующая в русском историческом прошлом политическая сила. Острый политический инстинкт Ленина, присущий ему и без всякого марксизма, обогащался к тому же тем отмеченным нами выше прагматическим волюнтаризмом, который столь заметен и в самом марксизме, когда он выступает не как «догма», а как «руководство к действию». Ленин прекрасно понимал автономность власти как политического института, это понимание усиливалось к тому же немалым влиянием на него Ткачева. Поэтому он и сумел написать то, что с такой пользой для дела цитируют – когда к этому представляется возможность – советские историки:

«„Самодержавие представляет исключительно интересы господствующих классов“. Это неточно или неверно. Самодержавие удовлетворяет *известные* интересы господствующих классов, держась отчасти и неподвижностью массы крестьянства и мелких производителей вообще, отчасти балансированием между противоположными интересами, представляя собой, до известной степени, и самостоятельную организованную политическую силу»³.

Возьмем два примера из упомянутого сборника. Первый – статья А. А. Зимина «В. И. Ленин о „московском царстве“ и черты феодальной раздробленности в политическом строе России XVI века». Маститый историк называет здесь феодальной раздробленностью то, что следовало бы лучше назвать аристократическим правлением. Статья Зимина сводится к тому, что нельзя говорить о самодержавии в России 16 века, что оно сложилось гораздо позднее. Раньше советские историки говорили о самодержавии чуть ли не с Ивана III, а уж Иван IV считался его апогеем. Дадим вывод Зимина его собственными словами:

«Если... давать общую характеристику политической структуры Русского государства, то, на наш взгляд, Русское государство конца XV – первой половины XVI вв. можно назвать сословной монархией, которая в середине XVI в. приняла сословно-представительную форму»⁴.

Зимин склонен повысить роль в управлении Россией того времени не только земских соборов, но и местной администрации (земских и губных органов), которая, как известно, отнюдь не была «боярской» (но и не правительственной). Поэтому термин «сословно-представительный» в контексте статьи очень ненавязчиво, но в то же время вполне категорически ревизует старое (марксистское) понимание царской власти как органа диктатуры землевладельческих классов – коли выясняется, что не только последние были представлены в управлении страной, но что, собственно говоря, и не было еще самого самодержавия как «органа» – т. е. функционального аппарата властвующего класса, что этот класс по существу правил сам – в центре власти. И ведь речь здесь идет о чем-то большем, чем тривиальное представление о самодержавии как исторически развивавшемся институте: этот трюизм незаметно подменяется совершенно правильным наведением о складывании самодержавия в борьбе с аристократией, о *вытеснении* одной формы правления другой. Там, где, согласно марксистским схемам, существует однозначное отношение «экономически господствующий класс – правительство как его орган», там появляется картина живого процесса, кон-

фликта политической власти с экономически автономной олигархией. Конечно, марксисты – со времен, допустим, сталинской реабилитации Ивана Грозного – и не отрицали самого факта такой борьбы; но ведь дело в том, что марксистскими схемами экономической детерминации, классового господства и пр. вообще нельзя объяснить появление абсолютных монархий, русского самодержавия в том числе, – эти схемы имплицитно отвергают политическую борьбу власти и так называемого правящего класса как «иллюзию». Когда этот класс правил – показывает Зимин, – он правил и политически; когда сложилось самодержавие – он перестал быть правящим.

Все эти рассуждения могут показаться вполне банальными, но ведь высказать их в советской подцензурной печати – по крайней мере намекнуть на то, что в действительности имело место, – советские историки смогли, только играя на тех зазорах, что существуют между ортодоксальным марксизмом и ленинским его вариантом. «Ленинский вклад» – это и есть понимание автономности политических процессов в истории.

Возьмем другую статью из того же сборника: «В. И. Ленин об абсолютной монархии в России» С. М. Троицкого. Здесь ревизия марксистских стандартов зашла еще дальше: автор говорит ни более ни менее о том, что социальной базой самодержавия было – русское крестьянство⁵. Опять же, сказано это в привычных, не задирающих марксистское ухо терминах: «классовая борьба трудящихся влияла на переход к абсолютизму». Если же говорить на обычном языке, то это значит только одно: царская власть использовала крестьянскую борьбу с дворянством как орудие давления на последнее, как инструмент политического покорения дворянства. Можно ли после этого говорить о самодержавии (как раз и развивавшемся в этом процессе) как об орудии дворянской диктатуры? То есть – царская власть боролась не только с «феодальным» боярством, но и с дворянством. Мы будем дальше говорить о том, что само закрепощение крестьян, усиление крепостного права в 18 веке были средствами этой антидворянской политики русских царей, что экономическое усиление дворянства было также методом

его политического подавления. Вот такие сюжеты стоят за «ленинской формулой» о самодержавии как самостоятельной политической структуре.

Конечно, даже и опираясь на эту формулу, советские историки не высказывают полную истину о самодержавии, *не артикулируют* ее, они не столько говорят, сколько проговариваются. Всегда оставляется лазейка для отступления, как у того же Троицкого, не обошедшего без канонического утверждения об «абсолютной монархии как органе диктатуры дворян-крепостников». Но ведь это противоречит всему содержанию и смыслу его статьи, в которой он к тому же поставил совершенно правильный вопрос о роли бюрократии в становлении самодержавия, то есть легализовал еще один из важнейших конфликтов русской истории – аппарата власти и земледельческой аристократии.

Ниже мы постараемся показать, как эти конфликты, замалчиваемые марксистской наукой, с трудом в ней осознаваемые, лишь маргинально в нее вводимые – прежде всего конфликт аристократии и самодержавия, а затем конфликт землевладельческого нобилитета и служилой бюрократии, – как они определяли буквально всю русскую историю до известного времени и как они обуславливали те события этой истории, в которых давно уже перестали видеть соответствующий смысл. Главной иллюстрацией, служащей доказательству данного тезиса, возьмем один из популярнейших сюжетов русской истории и литературы – тему «Грибоедов и декабристы». Применение к ней нашего тезиса позволит увидеть в «заинтерпретированном», чуть ли не банальном сюжете совершенно неожиданное содержание. В то же время здесь мы найдем как бы модель тех конфликтов русской истории, о которых уже упомянули.

Парадоксальные открытия, которые нас ожидают, мне несколько не хочется относить на счет собственной прозорливости. Собственно говоря, я не сделал никакого открытия и даже не проводил самостоятельного исследования темы: просто по возможности внимательно прочитал имеющуюся литературу и ознакомился с результатами уже выполненных исследований. В значительной

своей части это советская литература, штудии советских (или, если угодно, подсоветских) ученых. Я просто выговариваю, «артикулирую» за них то, что они молча подразумевают, то, в чем простой здравый смысл вправе усмотреть объективный смысл их работы. Моя работа – переводчика, толмача, перевод речи авгугов на нормальный человеческий язык. Но это – почетная задача и необходимая работа, – ибо на что же дана нам свобода, если не для членораздельной человеческой речи?

II. Грибоедов и декабристы

Сказать о «заинтерпретированности» темы, вынесенной в заголовок этого раздела, – не значит еще представить четкую интерпретацию данного сюжета. По поводу «Грибоедова» и «декабристов» уже сложились и успели окаменеть штампы и клише, – но касательно каждой из тем в отдельности: как раз связь их, соединительный союз «и» трактуется отнюдь не однозначно. Это продемонстрировали еще их современники. Д. А. Смирнов оставил нам «Рассказы об А. С. Грибоедове, записанные со слов его друзей»: друзья расходились во мнениях относительно связей Грибоедова с декабристами. Так, А. А. Жандр говорил, что участие Грибоедова в деле было «полное»; Смирнов удивлен, ибо ему уже известны слова поэта: «100 человек прапорщиков хочет изменить весь правительственный быт России». Были и другие слова: «Я говорил им, что они – дураки». Достоверность слов Жандра опровергается хотя бы тем, что он ссылаясь на Бестужева-Рюмина, якобы сразу же начавшего указывать на Грибоедова; между тем в ставшем известным позднее следственном деле Бестужева-Рюмина таких показаний нет. Возьмем еще одно свидетельство современника – актера Петра Каратыгина, говорившего, что о Репетилове как карикатуре декабристов знали решительно все; именно это указание особенно задело приверженцев мнения о Грибоедове-декабристе⁶.

Обсуждали на этот же предмет не только Грибоедова, но и его героя. Первым мнение о Чацком как декабри-

сте высказал Аполлон Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А вот как трактовал Чацкого другой, еще более знаменитый почвенник – Достоевский:

«Чацкий – декабрист. Вся идея его – в отрицании прежнего, недавнего, наивного поклонничества (в смысле сервизма. – Б. П.). Европы все нюхнули и новые манеры понравились. Именно *только* манеры, потому что сущность поклонничества и раболепия и в Европе та же»⁷.

Достоевский говорит еще, что «свет», где будет «искать» Чацкий, – означает Европу: «За границу хочет бежать». Это грубейшая ошибка, удивительная у Достоевского, который не мог, конечно, в то время знать подробностей биографии Грибоедова, но не мог не читать «Горе от ума». Текст самой пьесы насыщен настроениями, которые иначе как националистическими не назовешь. Грибоедов даже на следствии по делу декабристов признавался в своей любви к русскому платью (на этот сюжет в эпоху «борьбы с космополитизмом» особенно напирала академик Нечкина). В статье Грибоедова «Загородная поездка» есть слова о «поврежденном классе полу-Европейцев, к которому я принадлежу»⁸. Грибоедов не любил Петра: «Один том Петровых акций у меня в бричке, и я зело на него и на его колбасников сержусь»⁹. Современникам было известно «знаменитое двустиишие Грибоедова на Петра» (оно не приведено даже в академическом издании Грибоедова под редакцией Пиксанова). Трудно считать западником человека, вышедшего из шишковской «Беседы» – той самой, относительно которой и было впервые пущено слово «славянофилы». Литературная генеалогия Грибоедова – Державин, Крылов, отнюдь не Мольер с его «Мизантропом», как пытался доказать присяжный западник нашего литературоведения Веселовский. Известно, что Грибоедов был очень религиозным человеком, он даже обратился к Богу Кюхельбекера: черта, мало отвечающая привычному образу передового западника, которым Достоевский хочет сделать если и не Грибоедова, то его героя Чацкого. Это не решает, конечно, вопроса о Грибоедове-

декабристе, но должно быть фиксировано для характеристики как Грибоедова, так и декабристов. Ведь самым декабристам в высокой степени был присущ тот же национализм, это была интегральная часть их мировоззрения (поскольку вообще можно говорить об «интегральном мировоззрении декабристов»): это то, что сближало таких разных людей, как северяне и Пестель.

Очень много интересного о «Горе от ума» и Грибоедове наговорил Розанов. Как всегда у него, чудовищные ошибки понимания соседствуют с блестящими прозрениями. Хочется, однако, привести чародейные розановские слова в возможной полноте. Розанов пишет, что комедию пронизывает «чувство счастья», отсюда ее «победный, побеждающий тон», это «критика счастливого, радующегося человека»:

«Грибоедов не пережил ни одной из тех глубоких трагических коллизий, которые пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Толстому, Достоевскому, Гоголю... Дальше «фасона» критика не простирается; дальше требования – сменить один вид «стиля» другим, новейшим, автор не задается. От него нельзя провести соединительной линии к Лаврецкому, но очень можно к Паншину... Комедия движется на паркете, и ее беспримерно изящный словесный сгиб есть именно словесная кадриль, с чудным волшебством проходимая по навощенному полу, и которая оборвется, не нужна, не возможна, как только вы убедите это условие паркета под нею»¹⁰.

Поэтому «Горе» – «не поэтично», «самое не поэтическое произведение в нашей литературе», в нем нет (любимой розановской) «физиологии», «некоторая глухота... к сути быти и жизни», «Горе от ума» – «бедно вниманием». Розанов противопоставляет Грибоедову Толстого, «Войну и мир»: там, где Грибоедов сатиричен, там Толстой видит красоту и величие, Скалозуб делается у него Николаем Ростовым, а старуха Хлестова, вместе с москками и арапками, уезжает из Москвы, чтобы не подчиняться Наполеону. Грибоедов ошибся и в других своих персонажах: Софья может вылиться в Лизу Калитину, она «выбирает, а не повинует», а Молчалин – это Сперанский¹¹.

Вот эти последние слова у Розанова – верные. Но Грибоедов не то чтобы «беден вниманием», – он намеренно снижает некоторые сюжеты и типы русской жизни, он «партиен». Сатира на Молчалина свидетельствует как раз о внимании – но недоброжелательном, злом. Грибоедов видит в нем врага: это опасный для автора «Горе от ума» жизненный, социальный тип. А ведь Молчалин – Сперанский (конечно, Сперанский как развитие и повышение типа Молчалина) – это будущий деятель крестьянской реформы, осуществленной людьми, выросшими в бюрократических канцеляриях Николая I.

Так, чуть-чуть внимательней приглядевшись к знакомым с детства картинам, мы начинаем видеть их уже по-другому: в Молчалине не моральное обличение выступает на первый план, а социальный конфликт русской жизни начала 19 века – конфликт родовитого барства и бюрократии из разночинцев. Некоторая социологизация так называемых «вечных типов» русской литературы совершенно необходима, социологический подход к литературе не должен как таковой априорно дискредитироваться в качестве «вульгарного».

О том, что социологическим методом можно обнаружить в литературе много интересного и не замеченного ранее, свидетельствуют работы лучшего, пожалуй, у нас знатока Грибоедова – Н. К. Пиксанова. Он начал работать еще до революции, – но сравните его тексты хотя бы в академическом издании Грибоедова 1911-17 гг. с тем, что собрано им в книге 34-го года, и вы увидите, что ославленный социологический метод в умелых руках много интереснее, острее и питательнее той либеральной жвачки, которой было отечественное литературоведение до известного времени.

Пиксанов известен как наиболее резкий противник мнения о Грибоедове-декабристе. Он исходит из представления о декабристах как о радикалах и революционерах, и на этом фоне Грибоедов, нарисованный Пиксановым, действительно бледнеет. На следствии по делу декабристов Грибоедов говорил о себе только как о стороннике свободы книгопечатания и гласного суда (да еще разве что «русского платья»); допустим, что это естест-

венная самозащита человека, не желающего идти на галеры. Но ведь всё, что нам известно о Грибоедове, свидетельствует чуждость его расхожему типу декабриста, ни творчество его, ни жизнь не дают оснований для причисления его к декабристам, считает Пиксанов.

Он разыскал интереснейшее архивное дело о бунте крестьян в костромской вотчине матери Грибоедова – и показал, какова была реакция на это событие будущего автора «Горе от ума»: эта реакция интересна тем, что ее вообще *не было*, происшествие никак не отразилось на Грибоедове. Отсюда Пиксанов заключает, что Грибоедов вообще не был противником крепостного права, в «Горе» он выступил только против злоупотребления им; позиция, по Пиксанову, крайне характерная как раз для представителя старинного родового барства. Злоупотребляли крепостными порядками не потомки старинных барских родов, а нувориши, «люди в случае»*.

Социологизируя – скорее на переверзианский лад – проблематику Грибоедова, Пиксанов приходит к заключению, что в его комедии нашел выражение конфликт «среднего дворянства» с «вельможами». При этом необходимо указать (и Пиксанов делает это), что «вельможество» и древность рода, аристократизм – совсем не одно и то же: во времена Грибоедова вельможами называли скорее царедворцев, людей приближенных к высшей власти; равным образом «среднее дворянство» отнюдь не значит «худородное»: это скорее просто *неслужилое* дворянство, не связанное с центрами политического влияния. Фамусов у Грибоедова как раз служилый вельможа, царский бюрократ. Преимущество родовитости, аристократической независимости, *барственности* – на стороне Чацкого. В статье «Писательская драма Грибоедова», вошедшей в упомянутый сборник 34-го года, Пиксанов показал, в чем заключался основной конфликт жизни Грибоедова: ненавидя бюрократию и службу, он вынужден был служить, – у него не было денег и он не мог их заработать литературным трудом, как, допустим, Пушкин, ибо он был, в отли-

* Ср. с тем, что нам известно о рабовладении на американском Юге хотя бы из романа М. Митчелл: полное совпадение обеих картин.

чие от Пушкина, человеком одной книги, творчество его после «Горя» иссякло. Резюме Пиксанова:

«Всё это приводит к тому заключению, что «Горе от ума» – барская пьеса. Это самая барственная из пьес русского репертуара... Лирика «Горя от ума» – лирика чести и личного достоинства»¹².

Интересно, что уже много позднее, в большой статье о Грибоедове, помещенной в новом академическом издании «Горя от ума» (М., «Наука», 1969, серия «Литературные памятники»), Пиксанов по существу повторил то, что писал в двадцатые годы и в начале тридцатых, в частности продолжал отрицать декабризм Грибоедова. То есть тут мы имеем дело с установившейся интерпретацией серьезного ученого, а никак не с насильственным подчинением навязанному извне методу, каковым, казалось бы, в свое время был социологический метод. Повторяем, при адекватном применении метод был весьма невреден: он помог избавиться от многих либеральных мифов, сложившихся вокруг Грибоедова и «Горя от ума», избежать «расплывчатой номенклатуры интеллигентски-идеалистической критики», как говорил Пиксанов¹³.

Нельзя не заметить, что автор, придерживавшийся прямо противоположной точки зрения о Грибоедове-декабристе, находился, в отличие от Пиксанова, не в ладу со своим прошлым. Мы имеем в виду академика М. В. Нечкину. Две ее работы – «Грибоедов и декабристы» и двухтомная «Движение декабристов» – написаны в порядке расчета с «грехами молодости» и должны свидетельствовать покаяние. Нечкиной необходимо было отмежеваться от школы Покровского, едва ли не активнейшим адептом которой она была. Ее книга о декабристах 1933 г. совершенно покровскианская. Так что последующие ее сочинения на интересующую нас тему цель имели вненаучную. Конечно, это не значит, что отстаиваемый Нечкиной тезис о декабризме Грибоедова тем самым автоматически доказывает свою ложность. Мы просто хотим сказать, что указанные работы Нечкиной 40-50-х годов для доказательства этого тезиса дают очень мало, если вообще что-либо дают. В эти годы в советской научной литературе доказательства и аргументация за-

менялись системой вербальных обозначений, то или иное положение не доказывалось, а провозглашалось. Приведу соответствующие примеры из Нечкиной. Ей надо было убедить читателей, что фигура Репетилова не исчерпывает отношения Грибоедова к декабристам, и доказывала она это так: декабристы меняли свою тактику, от широкой агитации переходили к конспиративной работе, и Репетиллов появился, так сказать, в порядке декабристской самокритики, в процессе смены одной тактики другой. Проследив по рукописям «Горя от ума», когда в них появляется Репетиллов, Нечкина сочла свою задачу выполненной, выяснив, что его появление хронологически совпадает с моментом изменения декабристской тактики. Художественное произведение она пыталась представить какой-то партийной газетой, вроде ленинской «Искры», дающей директивные установки, или ленинского же рецепта: сегодня рано, а послезавтра поздно¹⁴.

Другой пример аргументации Нечкиной. Близость Грибоедова к декабристам устанавливается арифметическим способом. Нечкина подсчитала, что Грибоедов мог быть знаком с 45 декабристами и близкими к ним лицами, из них 29 человек были несомненными его знакомыми, семеро учились вместе с ним в Московском университете, а с девятью знакомство остается весьма вероятным¹⁵. Устанавливая все эти связи, Нечкина проделала громадную и кропотливейшую работу, имеющую все достоинства сизифова труда. Собственно, что доказывает этот перечень? Только факт знакомства, отнюдь не участия Грибоедова в декабристских организациях. Вообще же этот прием напоминает рассказ Зощенко, в котором управдом, выступая на пушкинском юбилее, подсчитывает, кто из русских классиков мог бы нянчить его бабушку*.

* Следует напомнить, что в научной литературе первым о Грибоедове-декабристе заговорил П. Е. Щеголев. Это имя заставляет вспомнить легенду, пущенную в ход его обладателем, — о причастности царского двора к дуэли и гибели Пушкина. Кроме того, Щеголев запятнал свою репутацию историка участием в фабрикации фальшивого «дневника Вырубовой»; вторым участником этого подлога был писатель

Нечкина сказала в одном месте, что роман Тынянова о Грибоедове «Смерть Вазир-Мухтара» создавался под влиянием «ложных трактовок Пиксанова». Остановимся на этом сюжете, он заслуживает всяческого внимания. Ю. Н. Тынянов – не просто беллетрист, сработавший исторический роман, это первоклассный ученый-исследователь, глубокий знаток и тонкий интерпретатор русского культурного прошлого. Да и роман его о Грибоедове – не заурядное явление, а одна из лучших книг русской послереволюционной литературы. Понимание Грибоедова Тыняновым в любом случае не может быть неинтересным, он вполне способен дать русскому писателю свою собственную оценку. Как же отнестись к тому, что утверждает Нечкина, – несамостоятельности тыняновского подхода к Грибоедову?

Нечкина писала о Грибоедове и декабристах в ту пору, когда в Москве меняли памятник Гоголю: прежний, андреевский, казался недостаточно оптимистическим, и его заменили соцреалистической подделкой Томского. Русское культурное наследие всячески стилизовалось на тот же соцреалистический лад. Представлялось, что у деятелей русской культуры не было проблем: они боролись за «народность» и с надеждой смотрели в будущее, прозревая там что-то вроде социализма. Вот такой же стилизации подвергла Нечкина и Грибоедова; а у Тынянова он получился мрачным, так же, как старый гоголевский памятник.

Ничуть не усматривая криминала в том, что один ученый мог воспринять мнение другого, мы со своей стороны можем указать и на вполне заметные следы иного, чем пиксановское, влияние на Тынянова, – а именно, влияния тогдашней марксистской концепции декабризма, данной Покровским. Когда Тынянов говорит в романе, что в тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом, когда он заставляет своего Грибоедова, в беседе с Чаадае-

Алексей Н. Толстой (профессор С. Б. Окунь, частное сообщение). Уже под собственными именами эти двое сфабриковали еще одну фальшивку – пьесу «Заговор императрицы». Всё сказанное еще не может, однако, считаться аргументом против мнения П. Е. Щеголева об участии Грибоедова в декабристских организациях.

вым, говорить о корысти как общей мысли времени, – он следует за Покровским. Почему, однако, нельзя позицию Тынянова отождествлять с позицией Пиксанова?

Дело в том, что Пиксанов безоговорочно отрицал декабризм Грибоедова, а у Тынянова он все-таки декабрист – но декабрист, предавший декабризм. Роман Тынянова – о предательстве, об измене, эта тема двойится и троится, разрастается в романе (Самсон, Мальцов, прапорщик Скрыплев, Мирза-Якуб, Булгарин, даже Пушкин, написавший стансы нелюбимому императору). В компании николаевских генералов-парвеню Грибоедов играет роль Молчалина. Но Тынянов видит предательство Грибоедова не только, так сказать, в бытовом его измерении (пошел служить ненавистному режиму), но и трактует его как изменника идейного, ренегата: Грибоедов составил Проект.

Роман строится не вокруг «Горя от ума», а вокруг грибоедовского проекта – той самой «Записки об учреждении Российской Закавказской Компании», которая послужила причиной не только ожесточенных споров специалистов по Грибоедову, но и не частой в научном мире чуть ли не детективной истории, с ней связанной. Полный текст этого проекта, составленного Грибоедовым совместно с П. Д. Завилейским (или Завелейским), до нас не дошел, и об этом документе в его возможной полноте мы можем судить только по косвенным источникам. Один из них – запись в дневнике кавказца Н. Н. Муравьева-Карского; а другой источник как раз и послужил сюжетом упомянутой «детективной» истории: это так называемые «Примечания» на проект, резко критикующие его, приписывавшиеся долгое время полковнику И. Г. Бурцову, декабристу, сосланному на Кавказ и сражавшемуся в армии Паскевича, – пока в 1951 г. О. П. Маркова не установила, что эти «Примечания» были написаны не декабристом, а генералом С. М. Жуковским, служившим в кавказской администрации. Интерес этой истории в том, однако, что обнаружение подлинного автора «Примечаний» не облегчило, а, наоборот, невероятно затруднило советским историкам оценку грибоедовского проекта.

Компания была (внешне) задумана как торговое предприятие, ищущее монополии на добычу, разработку и сбыт кавказских колониальных товаров. Но была у проекта и вторая, тайная цель: сепаратистская, отделение, «отложение» от России – с благословения русского же правительства. Это была сложная, «иезуитская» игра, характеризующая эпоху декабристов и ее деятелей куда более полно, чем десятки самых разнообразных идеологических документов (в том числе и «Горе от ума»).

В дошедшем до нас тексте «Записки» эти сепаратистские мотивы отсутствуют. Но вот что писал о грибоедовском проекте Н. Н. Муравьев-Карский:

«Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии (т. е. Ост-Индской компании. – Б. П.). Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей монополии, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами»¹⁶. (В записи Муравьева не нашла отражения еще одна деталь грибоедовского проекта: передача Компании Батума на правах порто-франко.)

Как сказал Тынянов о своем герое: «Он хотел быть королем».

Советские историки ищут в русском прошлом феодализм, без этого никак нельзя, – исчезает целая «общественно-политическая формация». Мы не будем на этих страницах обсуждать вопрос о русском феодализме во всей его академической полноте; нам достаточно будет сказать, что отдельные элементы если не феодального социального порядка, то феодальной психологии, несомненно, наличествовали в русской жизни – в нравах русской знати. И закавказский проект Грибоедова – ярчайшее тому свидетельство.

Н. К. Пиксанову или акад. Н. М. Дружинину¹⁷, оспаривавшему книгу Нечкиной о Грибоедове, легко было назвать грибоедовский проект «плантаторским» – именно потому, что они отвергали концепцию Грибоедова-декабриста. Ведь в проекте, среди прочего, предусматривалось решить вопрос о рабочей силе покупкой крестьян у разоряющихся русских помещиков – с освобождением их от крепостной зависимости, но с обязательством отработать 50 лет на землях Компании (это была бы пожизненная каторга в малярийных местностях, вот уж поистине «теплая Сибирь»). Но советским ученым, утверждающим декабризм Грибоедова, этот документ портит всю игру, особенно когда выяснилось, что раскритиковал проект не декабрист Бурцов, а царский генерал Жуковский. В полной растерянности они начали – изобличать Жуковского. Вл. Орлов, под редакцией которого вышел в 1956 г. грибоедовский однотомник, содержащий сохранившийся текст Записки, говорит о Жуковском: «Последний безоговорочно осудил проект с позиций крепостника и политического реакционера»¹⁸. О. П. Маркова, атрибутировавшая авторство Жуковского, защищает Грибоедова таким способом: политика царского правительства рассматривала Грузию как колониальный придаток, а грибоедовский проект предусматривал ее автономное экономическое развитие. Потом советские историки нашли соломонино решение: проект Грибоедова прогрессивен – и, следовательно, соответствует декабристским условиям, – поскольку он «капиталистический», нацелен на развитие производительных сил.

История с «Примечаниями» на проект Грибоедова – Завелейского великолепно демонстрирует методологическое двоемыслие советской науки: когда они приписывались Бурцову, это свидетельствовало народолюбие и государственный смысл декабристов, когда же оказалось, что их написал царский генерал, – свалили на реакционность их в экономическом, узко марксистском смысле. Поэтому в данном случае мы не должны принимать во внимание оценки советских историков, нам достаточно воспользоваться их конкретными разработками. Ведь тот факт, что критику грибоедовского проекта дал царский

администратор – факт, обнаруженный советским историком, – гораздо ценнее сбивчивых марксистских комментариев для характеристики как Грибоедова с декабристами, с одной стороны, так и царской власти, с другой.

Посмотрим, в самом деле, что пишет реакционный крепостник Жуковский. Во-первых, он указывает на преувеличение грибоедовской Запиской бед и несчастий края, а далее говорит, что сама установка на «произведение роскоши», отличающая проект Закавказской Компании, будет способствовать разве что обогащению ее руководителей, а не благосостоянию краю, как они пытаются это представить. То есть Жуковский с самого же начала выделяет корыстный мотив в проекте, отрицает его как бы альтруистический замысел. Развивая эту тему, он критикует идею монополии, искомой авторами проекта: «гг. нововводители хотят вдруг разбогатеть без труда и бережливости в хозяйстве, чрез одно только стеснение промышленности других... Но чтобы сии малые тела не были поглощены большими, для того-то есть общие по состояниям права, законы и порядки, ибо государству все равно служат»¹⁹. Вот за эти слова и уцепились советские историки, в них они видят доказательство реакционности царского генерала; но в них как раз и подтверждается вполне капиталистический принцип свободы торговли. Всё, что отвергает Жуковский, – это монопольное владение, его «Примечания» – нечто вроде «антитрестовского закона».

Далее – Жуковский пронизательно усматривает политический уже подтекст проекта. Когда авторы «Записки» ссылаются на «поучительный образец Северо-Американских Соединенных Штатов», генерал делает к этому пункту следующее примечание:

«И подлинно поучительный! не по одной части хозяйственной, но и в политическом отношении к бывшему отечеству их Англии...»²⁰

Скрытый сепаратизм Проекта обнажен в этих словах Жуковского.

Возникает любопытный вопрос: если в СССР долгое время этот документ считался вышедшим из рук декабриста, как можно было его нахваливать? Ведь для Грибоедова подобная критика означала бы – останься он жив –

конец его служебной карьеры, поэтому в устах декабриста это принимало характер политического доноса. Или в СССР уже сочтено было нормой, что декабристы предавали друг друга, – и в вину не вменялось?

Наконец, последний интересующий нас пункт «Примечаний», касающийся возможной судьбы русских крестьян (и армянских репатриантов, возвращенных из турецкого плена) по проекту Грибоедова. Но здесь мы процитируем уже не Жуковского, а роман Тынянова:

«Бурцов захохотал гортанно, лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедову.

– Вот, – сказал он хрипло. – Договорились. Вот. А вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров. Где ваши растения колониальные произрастают. Кош-шениль ваша. В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратить хотите. Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами – в яму! С детьми! С женщинами! Это вы, который «Горе от ума» создали!»²¹

Цитата из Тынянова здесь тем более уместна, что она почти дословно повторяет соответствующее место из «Примечаний» Жуковского, которые, напомним, долгое время приписывались декабристу Бурцову.

Так как же понимать этот сюжет, в котором ссыльный декабрист и царский администратор так естественно поменялись местами?

Прежде чем ответить на этот вопрос самим, посмотрим, как отвечает на него (номинально) советский автор, но скрытый, а затем и открытый «диссидент». Речь пойдет об Аркадии Белинкове и его книге о Тынянове.

Белинков в трактовке этого сюжета исходил из того, что Бурцов был идейным противником Пестеля, что он был «либералист», в противоположность радикалу Пестелю. И в грибоедовском проекте у Тынянова, считает Белинков, Бурцов критикует не Грибоедова самого, а Пестеля, то есть революционный экстремизм, «большевизм». Грибоедов у Тынянова – по Белинкову – это оставшийся в живых Пестель, реализующий свои гулаговские

программы: Белинков, надо полагать, знал, что таковые у последнего действительно имелись, хотя бы план использования заключенных на тяжелых работах, или тотальная высылка евреев, или полная русификация государства. Тынянов у Белинкова понял внутреннюю логику русской революции: перерождение вольнодумцев в диктаторов, поэтому «оказалось, что, искажая, Тынянов (вероятно, случайно) был прав» («искажая» – т. е. приписывая «Примечания» Жуковского Бурцову). И в этой же линии Тынянов видит Грибоедова – вернее, Белинков приписывает ему такое видение: «Грибоедов был человеком, не боявшимся додумать, он знал: боги жаждут». Грибоедов выступает, таким образом, как персонификация этой революционной логики, как некий трансцендентальный большевик. Белинков далее: «Проект Грибоедова остается в романе единственным носителем идеи радикального декабризма (читай: «большевизма». – Б. П.). Поэтому его губит самодержавная монархия»²².

Все это, конечно, блестяще – и совершенно ложно в историческом смысле. Нельзя делать историю ареной и мотивировкой сегодняшней борьбы. Какой бы мастер ни брался за эзопов язык – а Белинков был великим его мастером, – на нем нельзя сказать простую правду.

У Белинкова самодержавная монархия губит «его» (кстати, неясно, кого: Грибоедова или его проект) за потенциальный «большевизм». Это нонсенс, возникший из сочетания исторических реалий с потребностями подцензурного выражения, с условностями Эзопа. Белинков так и не ответил на вопрос, почему самодержавие отвергло проект Грибоедова: он и не знал, за что. Знал ли это Тынянов?

Обдумывая последний вопрос, мы должны прежде всего вспомнить, что и тыняновский Грибоедов подвергнут некоторой стилизации: мотив предательства усилен Тыняновым в ущерб исторической правде. Это нужно было автору «Смерти Вазир-Мухтара» для собственных эзоповских целей: роман о Грибоедове задуман как притча о пореволюционной русской культурной элите, вынужденной служить большевикам. Конечно, такой замысел не исключал искренней веры Тынянова в рене-

гатство Грибоедова; доказательством такового он и взял грибоедовский проект. На самом деле, проект – типично декабристский документ, и не потому, что он антипицирует ГУЛаг (это уже белинковская стилизация), а потому, что в декабристских кругах циркулировали подобные, и в немалом количестве. Грибоедову не нужно было изменять декабризму, чтобы составить Записку о Закавказской Компании. В этом документе вполне выдержан декабристский стиль, – и не обязательно пестелевский. Кажется, Тынянов чувствовал этот стиль не во всех его оттенках; тому есть одно косвенное доказательство – занимаясь упорным поиском прототипа Чацкого, он не сумел правильно его установить. Между тем ответ лежит на поверхности: для этого достаточно прочитать книгу Семеvского о декабристах, которую Тынянов не мог не читать.

Известно, что многими литературоведами проблема прототипов вообще ставится под сомнение. Резким противником прототипических поисков был соратник Тынянова Шкловский. Тем не менее проблема эта существует, и иногда поиски в этой области дают небезыntересные результаты: достаточно вспомнить сравнительно недавнее открытие советскими литературоведами прототипа Базарова в Льве Толстом. Интуитивному ощущению правды такие наблюдения дают немало. Понятно, что не существует однозначных соотношений в системе «реальное историческое лицо – герой художественного произведения»: герой может быть сплавом многих лиц и обстоятельств, и вообще, как говорил только что помянутый Шкловский, судить о жизни по литературе все равно, что судить о садоводстве по варенью. Все-таки в работе «Сюжет „Горя от ума“» Тынянов занялся соответствующими разысканиями. В основу исследования он положил тему безумия – и наполнил свою статью обширными литературными реминисценциями, вспомнил даже о безумии неистового Роланда и Дон Кихота. Все же больше всего его интересовали соответствующие русские казусы, и не литературные, а жизненные. Тынянов писал:

«Странный и вряд ли случайно перекликающийся с „Горем от ума“ эпизод произошел только в 1836 г.: после

напечатания Чаадаевым „Философического письма“ он был *объявлен* сумасшедшим. Наказание было исключительное, но не беспрецедентное, а осуществление его было фактом не только моральным. В 1834 г. был *объявлен* сумасшедшим француз, казанский профессор Жобар. Вслед за этим он был приговорен к изгнанию. Дело вел с большим шумом Уваров, втянувший в него множество лиц»²³.

За Чаадаева как прототип Чацкого Тынянов держался упорно. В цитированной статье он подробно проанализировал историю свидания Чаадаева с Александром I в Троппау, после бунта Семеновского полка; Тынянов предположил, что последовавшая отставка Чаадаева была связана с конфликтом его с царем на этой встрече – из-за крепостного права, – и спроецировал этот предполагаемый конфликт на «Горе от ума». Конечно, декабристов – поскольку таковыми можно считать реального Чаадаева и выдуманного Чацкого – крепостниками не назовешь; но установление антикрепостнических настроений как главного мотива в декабризме уже отдает стилизацией. Мы будем подробно говорить об этом в дальнейшем. Сейчас же укажем на бросающуюся в глаза несообразность у Тынянова: он связывает Чацкого и Чаадаева мотивом «объявленного» безумия, но при этом получается, что Грибоедов, закончивший свою пьесу в 1824 г., предвидел события 1836 г. Оговорка Тынянова «вряд ли случайно» мало что объясняет, так же как ссылка на прецедент, имевший место тоже уже после гибели Грибоедова, – историю профессора Жобара. И в романе Тынянов прибег к мало корректному приему: придал черты «сумасшествия» Чаадаеву в сцене беседы его с Грибоедовым, – то есть сделал то, за что мы и по сию пору осуждаем правительство Николая I, – человека нормального объявил сумасшедшим для того, чтобы мотивировать прозорливость автора «Горя от ума», предвидевшего будущее своих моделей.

Между тем как раз в пору создания грибоедовской комедии разыгралась в Москве громкая история, которую не мог не заметить Грибоедов – хотя бы потому, что он был в это время в России и работал над «Горем» в под-

московном имении Бегичева. Это история графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова: он был объявлен сумасшедшим и в сентябре 1823 г. привезен под конвоем в Москву.

А. А. Ахматова обратила внимание на то, что еще в 1828-29 гг. мамоновская история была у всех на устах, что нашло отражение в одном тогдашнем литературном документе – записанной Титовым «демонской сказке» Пушкина «Уединенный домик на Васильевском»: Титов в своей записи финал текста – сумасшествие героя сказки Павла – наполнил деталями, в точности совпадающими с обстоятельствами Дмитриева-Мамонова²⁴.

Но все эти подробности не имели бы столь существенного значения в вопросах, связанных с Грибоедовым и «Горем от ума», если б не одно первостепенное обстоятельство: граф М. А. Дмитриев-Мамонов был основателем и руководителем так называемого Ордена Русских Рыцарей, тайной организации, долгое время считавшейся одной из предшественниц декабризма, сошедшей на нет с оформлением самого декабризма, но теперь, как установили новейшие исследования, долженствующей рассматриваться как интегральная часть декабристского движения на всех этапах его существования.

Под «новейшими исследованиями» мы имеем в виду, собственно, только одно, но обстоятельно развернутое, – большую статью Ю. М. Лотмана, опубликованную в 1959 г. Вообще же о Дмитриеве-Мамонове как декабристе известно давно и не раз писалось.

Вот резюме работы Лотмана, данное им самим:

«Документы показывают, таким образом, что утвердившийся в исследовательской литературе образ Мамонова – случайного человека в декабристском движении, уже в 1817 г. сошедшего с ума и заботливо отданного правительством на излечение, – мало соответствует действительности»²⁵.

Не менее, а может быть, и более важным, чем тщательно прослеженная судьба Мамонова, является в работе Лотмана установление действительной судьбы созданной им организации – Ордена Русских Рыцарей. Лотман сумел убедительно доказать, что Орден отнюдь

не сошел на нет с оформлением позднейших декабристских организаций: что на московском съезде Союза Благоденствия в мае 1821 г. генерал М. Ф. Орлов (наряду с Мамоновым – важнейший деятель Ордена) выступал от имени этой организации, предлагая *более радикальную* программу действий, чем те, которые склонны были принять будущие декабристы; что первый арест Дмитриева-Мамонова в 1823 г. был связан с *активизацией* деятельности Ордена; что Орден имел сильную дочернюю организацию в провинции (в Полтаве); наконец, что отсутствие сколько-нибудь заметных следов Ордена в деле декабристов объясняется тем, что эта организация вообще не была раскрыта – несмотря на слежку за Мамоновым и упомянутый его арест.

Безусловно, без работы Ю. М. Лотмана уже нельзя сейчас представить сюжет о Дмитриеве-Мамонове. Тем не менее эта работа не свободна от крупного недостатка: в ней отсутствует характеристика самого Ордена и его программы.

Лотман глухо говорит в одном месте, что программа Ордена «отмечена печатью аристократизма»²⁶, но отказывается подробнее говорить на эту тему, ссылаясь на то, что обстоятельный ее анализ дан в работах Семевского и Нечкиной. Но Нечкина как раз и не дала самостоятельного – предполагаемо марксистского – анализа этой темы, она просто повторила то, что писал Семевский, и более того, навела тень на проблему, голословно утверждая, что Орден очень скоро прекратил свое существование и не может считаться представительным источником декабристской идеологии, – утверждение, опровергнутое самим Лотманом. Это Нечкина писала в книге «Движение декабристов», в которой Ордену и Дмитриеву-Мамонову посвящены стр. 132 – 139 первого тома, – а в книге «Грибоедов и декабристы» имя Дмитриева-Мамонова не упомянуто вообще. Так что придется нам обратиться к старому историку Семевскому.

Вот как разворачивается у Семевского глухо сформулированный Лотманом тезис об аристократизме программы Ордена Русских Рыцарей. Семевский без обиняков определяет эту программу как «политический ради-

кализм на аристократической подкладке»²⁷. Это чрезвычайно важное и необходимое заявление, позволяющее объединить то, что обычно позднейшие историки норавли разъединить и развести: радикализм и аристократизм. Аристократия берется здесь как сила не консервативная, а оппозиционная – чтобы не сказать «прогрессивная» или «революционная» (впрочем, Ленин, в отличие от советских историков, не скованный «ленинским учением», как раз и говорил о «дворянской революционности»!). Программа Ордена во всех деталях подтверждает приведенное суммарное впечатление. Основная мысль программы – ограничение царской власти посредством Сената, т. е. аристократического представительства. (Лотман в одном из документов Ордена обнаружил недвусмысленное требование тираноборства – вплоть до тираноубийства.) Самодержец лишался права: 1) издавать новые законы и отменять старые «без воли Сената»; 2) устанавливать налоги; 3) объявлять войну и заключать трактаты; 4) ссылать и наказывать; 5) оставлять государство и уезжать за границу; 6) жаловать в княжеское и графское достоинство, в фельдмаршалы, канцлеры, генерал-губернаторы, назначать послов – «без воли Сената». Спрашивается: можно ли таким образом и в такой степени ограниченного монарха называть «самодержцем»?

Как составлялся мамоновский Сенат? Он не назначался монархом, а комплектовался частью по знатному происхождению кандидатов, частью путем выборов. Он состоял из двух палат: Палаты вельмож (по-другому – Палата наследственных представителей) и (выборной) Палаты мещан. Все вместе это называлось Народным Вече. Члены Палаты вельмож назывались еще пэрами. 200 этих пэров выделялось путем дарования им «уделов городами и поместьями». В другом варианте – Ордену Русских Рыцарей будут дарованы «фортеции», а также «поместья и земли». Проект Мамонова характеризует настойчиво проводимый мотив федерализма: Россия разделяется на 8 царств и кроме того на Царство Польское, Курляндию, Лифляндию и Грузию. Семи городам даются права и привилегии типа тех, которыми обладали воль-

ные города Ганзейского союза. Мамонов вырабатывал фантастические внешнеполитические планы будущей аристократической России: одним из этих планов было переселение «гренландов» в Сибирь²⁸. Зато экономические планы Мамонова, при всей их размашистости, отличались куда бóльшим реализмом. Вот что пишет об этом Лотман:

«Политика на Востоке мыслилась Мамоновым в несколько ином плане – как продолжение усилий по подъему экономики России (ср. такие пункты, как „соединение Волги и Дона каналом“, подъем хозяйственной жизни Сибири). Мамонов планировал „учреждение торговой компании для Китая, для Япона и Сибири“, „построение гавани при устье реки Амура“. Также и Индия интересовала членов Ордена Русских Рыцарей»²⁹.

Индия, как помнится, интересовала и Грибоедова: его Проект – это вариант Ост-Индской компании. Вообще, нельзя не заметить, так сказать, стилистического сходства в проектах Мамонова и Грибоедова.

Совершенно необходимо зафиксировать резкий национализм программ Дмитриева-Мамонова, выраженное его русофильство, доходящее до ксенофобии. Один из пунктов Мамонова: «Конечное падение, а естьли возможно – смерть иноземцев, государственные посты занимающих»²⁸. Лотман по этому поводу правильно замечает, что важнейшая в этих словах часть – последняя: ксенофобия Мамонова – не принципиально идеологическая, а политически мотивированная и обусловленная. Иноземцы, занимающие государственные посты, – одна из главных опор самодержавия, нацеленного на подавление соперничающих с ним национальных сил, т. е. той же родовой аристократии. Вспомним о сходном сюжете у Грибоедова: мы выделили у него – в самом тексте «Горя» – конфликт родовой знати и бюрократии; национализм пьесы, филиппики по адресу немцев и французов из Бордо подключаются к тому же конфликту, дают ему еще одну, и очень острую, мотивировку. Тот же конфликт обнаруживается в проектах Дмитриева-Мамонова.

Семевский поставил вопрос об источниках политического мышления Дмитриева-Мамонова. Он говорил и о

влиянии английских образцов, и, более конкретно, о сенатской конституции, принятой во Франции в апреле 1814 г. (вот какие образцы влияли на участников русского «освободительного похода в Европу» – куда больше, чем народолюбие Жан-Жака); но нас гораздо более заинтересовало другое наблюдение Семевского – о связи идей Дмитриева-Мамонова с отечественной традицией. В том же ряду, говорит Семевский, – записка Сперанского, относящаяся к 1802 г., беседа П. А. Строганова с С. Р. Воронцовым в том же 1802-м, проекты графа Н. С. Мордвинова (1802 и 1813): общие черты всех этих проектов – аристократическая тенденция, выделение «знатного сословия» как единственного средства для ограничения самодержавия³¹. Вообще в то время, в царствование Александра I, как показывает Семевский, идеи аристократической конституции носились в воздухе, с соответствующими проектами выступали даже люди, принадлежавшие к тем слоям общества, которые были, казалось бы, жизненно заинтересованы в службе самодержавию: бюрократ из разночинцев Сперанский, известный обскурант Каразин, чиновник из немцев, выступивший со своим проектом уже в 1818 г., некий Тимофей Эбергард Бок, по поводу которого Семевский написал поразительную фразу:

«При всей ненависти Бока к русскому самодержавию, в его проекте много недостатков; главный из них состоит в том преобладающем значении, которое он придает дворянству»³².

В глазах либерального историка ненависть к самодержавию – это такое возвышенное качество, которое по определению должно исключать какие-либо недостатки, особенно такой, как «ненародность», отсутствие демократических симпатий. И вот тут стоит сказать еще раз доброе слово по поводу пресловутого «социологического метода» (отнюдь не обязательно марксистского): люди, им не обладавшие, не умели видеть в русской истории ничего, кроме ими же придуманных мифов, от них ускользало конкретное социальное содержание ее конфликтов. Для Семевского, как и для других либералов (не всех, однако: мы еще будем говорить об интереснейшем пово-

роте либерализма у К. Д. Кавелина), едва ли не единственным таким конфликтом была конфронтация самодержавия и т. н. «общества», взятого в самом неопределенном значении этого понятия. Те же декабристы у Семевского – представители «внеклассовой интеллигенции», он никак не может увидеть в них дворянскую оппозицию, аристократическую фронду, враждебную народу даже еще, может быть, больше, чем самодержавию. Бескорыстные («внеклассовые») идеологи, вроде Николая Тургенева, отнюдь не были типичными носителями декабризма, тем более в его наиболее аристократическом крыле, каковым и был Орден Русских Рыцарей и к которому, как мы усиливаемся показать, тяготел, как в своем стилистическом образцу, Грибоедов, в конце концов сам давший этому умонастроению блестящее стилистическое выражение – «Горе от ума».

Вспомним слова Пиксанова о «Горе от ума» как о самой барственной русской пьесе. А Тынянов пишет в романе, что предки Грибоедова были думные дьяки и ему был смешон негритянский аристократизм Пушкина. Творчество и жизнь Грибоедова, при том, что ему пришлось служить самодержавию на бюрократическом посту, были прообразованы аристократически. В нем ощущается именно «большой барин» – тип, весьма нелюбимый самодержавием. И как раз эти люди в александровское царствование вновь приобрели значение и вес, утраченные ими было при Павле I (с которым они же и расправились в конце концов). Александр I так ухватился за Аракчеева не потому, что был любителем фрунта, а как за необходимый политический противовес тем же потенциально опасным аристократам. Такой противовес русские цари всегда находили в *служилом* элементе – правда, до тех пор, пока последний не приобретал эмансипации в новом уже качестве. «Боярство» сменилось «дворянством», но конфликт оставался прежним, постоянно воспроизводился: царь-самодержец против наличной в данный момент элиты, аристократии. В каком-то смысле «феодализм» был действительно присущ русской жизни – как тенденция аристократии к независимости от политического центра (коли не стояла в повестке дня задача

захвата этого центра), как феодальная психология, если не социология.

Дмитриев-Мамонов как раз и был едва ли не самым стильным выразителем этого типа аристократии. Он прославился в 1812 г., когда предложил отдать все свое громадное состояние на борьбу с наполеоновским нашествием. Интересно, что правительство не пошло на это, ибо – и это просматривается во всей русской истории – богатый аристократ для самодержавия был удобнее тогда, когда он сидел на своей земле, а не лез в столицу – тем более обедневший. Мамонову разрешили только на свой счет сформировать кавалерийский полк, с которым он и наскандалил позднее в союзной Австрии, – характернейшая черта «феодала», автономного военачальника, не желающего подчиняться центральной власти. Имя Мамонова в те годы было у всех на устах, его (позднее) прославил Пушкин в повести «Рославлев». О нем не мог не знать Грибоедов, который, кстати сказать, сам служил в 12-м году в подобном полку, созданном дворянским, а не царским иждивением. И вот этого человека арестуют и привозят в Москву – то ли как сумасшедшего, то ли как государственного преступника – в самый разгар работы Грибоедова над «Горем от ума» (тут надо вспомнить, что слухи о сумасшествии Мамонова шли с 1817 г.). Как этот факт не был поставлен в связь с грибоедовской комедией и его героем прежними исследователями, – совершенно непонятно: он лежит на самой поверхности.

Повторим, что разговоры о безумии Дмитриева-Мамонова начались еще задолго до его ареста, они шли уже с 1817 г., с момента возвращения его из-за границы. Врач П. Малиновский (в статье «О помешательстве», опубликованной в «Военно-медицинском журнале» в 1848 г.) писал:

«Днем он занимался составлением чертежей и планов для того, чтобы воздвигнуть каменные укрепления в своем имении, а ночью, когда все спали, гр. М(амонов) выходил, подробно осматривал местоположение и там, где надо было строить стены и башни, втыкал в землю заранее приготовленные короткие колья... Укрепления подвигались вперед, башни и стены росли – имение гр.

М(амонова), почти с трех сторон окруженное реками, с остальной, свободной, было бы обнесено довольно высокой и толстой каменной стеной с башнями, если бы гр. М(амонову) не помешали кончить его предположения»³³.

П. Кичеев, один из домочадцев Дмитриева-Мамонова, вспоминал:

«...будучи от роду не более 26 лет, он поселился в подмосковном своем селе Дубровицах и сделался не только совершенным затворником, но даже невидимкой. По отданному один раз навсегда приказу в известные часы ему подавались чай, завтрак, обед и ужин; также подавались ему и платье и белье, и все это в отсутствие графа убиралось или переменилось»³⁴.

Кичеев рассказывает далее историю, которая и повела к аресту Мамонова. У него умер старый камердинер, и был нанят новый, бывший крепостной человек князя П. М. Волконского – начальника Главного штаба. Новый камердинер нарушил порядок и был жестоко избит Мамоновым. Он пожаловался московскому генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну, после чего и воспоследовали описанные уже события.

Лотман вполне убедительно доказывает, что новый камердинер Мамонова Никанор Афанасьев был шпионом, приставленным к Мамонову именно тогда, когда в 1822 г. была обнаружена новая активизация Ордена Русских Рыцарей – после майского 1821 г. съезда Союза Благоденствия, который не принял радикальную программу Рыцарей. Очень похоже на правду, что первый арест Мамонова только использовал слухи о сумасшествии графа как предлог для вмешательства в его дела, как легальный и в то же время замаскированный повод для наблюдения за ним. Во всяком случае, ясно одно: слухи о сумасшествии циркулировали давно – и не могли не дойти до Грибоедова, задумывавшего свою комедию. Это куда более вероятно, чем отсылка к *будущему* – к истории Чаадаева, случившейся через семь лет после смерти Грибоедова.

Другой вопрос не лишен интереса: был ли действительно граф Дмитриев-Мамонов сумасшедшим? Известно, что он действительно кончил безумием, подписывал

свои бумаги именем «Владимир Мономах». Следует ли считать такие его затеи, как строительство крепости в Дубровицах, снабженной даже артиллерией, признаком начавшегося помешательства? Можно назвать это «аристократической дурью»; но ведь тут тот самый гамлетовский случай, о котором было сказано: в его безумии замечен метод. «Аристократическая дурь» давала содержательное наполнение этому методу: мотив Мамонова совершенно ясен – «отложиться от России». Это же и грибоедовский мотив, как он сказался в закавказском проекте.

Через много лет Бердяев напишет о себе: я по природе феодал, сидящий в замке с поднятыми мостами и отстреливающийся. Как видим, он был далеко не единственным представителем такого рода людей в России.

Великолепным образчиком этой породы был знаменитый граф М. С. Воронцов – тот самый, на которого писал эпиграммы Пушкин. В этом жанре наш гений не всегда создавал шедевры, но одна строчка его о Воронцове исключительно точна: «полумилорд, полукупец». Это был тип «англичанина», успешно хозяйничающего в своих наместничествах – и в Тифлисе, и особенно в Крыму. Это Воронцов устроил порто-франко в Одессе. Вообще, его можно назвать *удавшимся Грибоедовым* – за исключением, конечно, того, что «Горе от ума» он не написал: царская служба не мешала ему, как говорили раньше, «под рукой», достичь всего того, к чему стремился в Проекте Грибоедов. Удача была обязана сознанию безнадежности борьбы с самодержавием, Воронцов предпочитал ему служить. И все-таки это не делает из него обычный тип царского бюрократа-парвеню, Воронцов сохранил большой аристократический стиль, умел делать великолепные жесты; так, в Париже в 1814 г. он заплатил долги офицеров русского экспедиционного корпуса – 1 миллион франков³⁵.

Наконец, нельзя не назвать еще одно громкое имя – человека, уже непосредственно знакомого Грибоедову, – знаменитого генерала Ермолова. В должности наместника Кавказа он вел себя как независимый государь. Опыты такого общения не проходят даром: образ Ермо-

лова витает над Грибоедовским проектом – как вот эта «феодалная» установка.

Даже литературные связи и генеалогия Грибоедова ведут в том же направлении: его «архаизм». Пиксанов предостерегает от смешения литературных и политических симпатий Грибоедова. Нам же в них видится единый стиль: от Шишкова – прямой ход к известному вольнодумцу – архаисту 18 столетия князю Щербатову, аристократическому инакомыслу екатерининской эпохи.

Можно указать и прямого – если не единственного – наследника Грибоедова в русской литературе: это, конечно же, граф Алексей Константинович Толстой – исключительно чистый, выдержанный тип аристократа-оппозиционера. Самый замшелый сталинист советского литературоведения не решится назвать А. К. Толстого реакционером. А между тем он действительно был реакционером: «реакция» может означать свободолюбие в эпоху подавления свободы. Отсюда – миф, сложенный А. К. Толстым о киевском периоде русской истории, богатыри которого суть закамуфлированные образы аристократических фрондеров. Сама вот эта архаистическая установка – у А. К. Толстого заметно стилизованная – роднит его с Грибоедовым. Он воспевал Илью Муромца, как декабристы Вадима. Антицаристское содержание его драматической трилогии не вызывает сомнений. Всему этому не мешает даже факт теснейшей близости А. К. Толстого к царскому двору, личная дружба его с Александром II: именно близость к источникам власти предохраняет от ее обожествления, царедворец всегда – или циничный оппортунист, или потенциальный заговорщик (так, можно верить в коммунизм, будучи французским интеллектуалом, но не членом политбюро ЦК КПСС).

Оппозиция, инакомыслие, даже радикализм отнюдь не исключают недемократической установки. Революционер может быть не только «далеким от народа» деятелем, но и прямо антинародным, противонародным. В проекте Грибоедова, сгонявшем мужиков в гиблые кавказские места, и избиении Мамоновым камердинера есть нечто общее: не только то, что оба отнюдь не страдали избытком любви к меньшим братьям, но и то, что против

обоих выступило *правительство*. Оно заступилось за мужиков в обоих случаях. Современные исследователи (да и не только современные, как мы могли видеть на примере Семеvского) склонны называть такую линию правительства «демагогической». Не ближе ли к истине назвать ее *патерналистской*? Конечно, последнее потребует дальнейшего углубления в сюжет; но тогда мы сможем понять в том же декабризме многое – увидеть, например, почему революционеры трактовали народ как «негров», а царские генералы за него заступались; сумеем понять, почему речь декабриста Бурцова оказалась всё же цитатой из служебной записки царского генерал-интенданта.

Что же касается темы «Грибоедов и декабристы», то резюмировать ее можно так: мы вправе до известной степени причислить Грибоедова к декабристам, но при одном обязательном условии, именно, если самих декабристов увидим по-иному, чем присяжных народолюбцев. А «детективная история», вокруг которой мы центрировали упомянутую тему, имела продолжение: был обнаружен *подлинный* отзыв того же Бурцова на Проект Грибоедова³⁶, и вот оказалось, что декабрист *хвалит* автора Записки о Закавказской Компании почти за всё то, за что его критикует генерал Жуковский. Это хороший повод для дальнейшего разговора о декабристах.

III. О декабристах отдельно

Современники всегда лучше видят и понимают события, чем последующие мемуаристы или историки. Реакция современников на восстание декабристов была недвусмысленной: оно сразу же было понято как заговор аристократической олигархии против абсолютного монарха – точнее, как попытка установить такую олигархию. Это увидели и за границей. В двухтомнике Нечкиной приведены некоторые английские отклики на событие. Журнал *Monthly Review* писал в мае 1826 г. о восстании как выражении конфликта дворян с абсолютизмом³⁷. Нечкина ссылается также на работу Ю. В. Ковалева (1954 год), отыскавшего отзыв на декабристское восстание

В. Линтона, поэта, гравера и будущего чартистского публициста, который трактует 14 декабря точно так же. Мнение это было всеобщим в тогдашней Европе; «смутиться» им, как описывает Нечкина реакцию Ковалева на собственное открытие, мог только советский историк, забывший даже о том, что писали его же коллеги всего лишь двадцать лет назад. Нечкина, конечно, хорошо это помнила – сама-то она и писала больше других, – но в 1955 г. вынуждена была вернуться к той легенде о декабристах, которую разоблачил ее учитель, историк-марксист М. Н. Покровский.

Строго говоря, была даже не одна, а три легенды о декабристах: официально-монархическая («злоумышленники»), либеральная и революционная. Последнюю начал складывать Герцен, написавший о рыцарях, отлитых из одного куска стали. Заслуги Покровского в этом смысле (развенчания легенд) неоспоримы, как бы мы ни относились к его марксизму. Собственно, первая работа Покровского о декабристах (глава, вернее даже фрагмент главы в первом томе гранатовской «Истории России в XIX веке»), вызвавшая скандал и терроризировавшая либеральных академиков, не была даже и марксистской по своей методологии. Марксизм помог Покровскому разобраться в декабристах не как методологическая, а скорее как психологическая установка, диктовавшая презрение к либеральным мифам. Покровский написал здесь, что понятия «крепостник» и «реакционер» не всегда совпадали, как это выяснили работы Милюкова о заговоре «верховников» и Мякотина о князе Щербатове; тем самым он поставил себя в уже существовавший ряд исследователей, отнюдь не считавших себя марксистами. Не метод, а предмет был причиной вызванного Покровским скандала: до «верховников» и Щербатова, в общем, мало кому было дела, кроме специалистов, а «герои 14 декабря» прочно удерживались в интеллигентском мартирологе. Марксистский фундамент под свою концепцию декабристов Покровский стал подводить позднее – в 3-м томе «Истории России с древнейших времен» и послереволюционных уже статьях, объединенных в сборнике 1927 г. «Декабристы». И эта марксистская интерпретация

остаётся сама по себе, а взгляд его на декабристов, неожиданный и свежий, сам по себе; то, что Покровский увидел в декабристах, интересно и без всякого марксизма. И ведь наиболее сенсационная часть его трактовки – причисление декабристов к традиции дворцовых переворотов в стиле 18 века – шла отнюдь не от Маркса, эту мысль первым высказал В. О. Ключевский³⁸.

Трактовка Покровского не удержалась в советской литературе о декабристах не только по причине дискредитации его школы, но ещё и потому, что она, эта трактовка, вошла в противоречие с ленинским понятием «дворянской революционности» и, соответственно, с пониманием декабристов как полноправных представителей оной. Это неудобство начало ощущаться уже довольно рано, когда школа была в полной силе. Однажды Покровский сделал попытку косвенно опровергнуть эту ленинскую формулу, сославшись на речь Плеханова о декабристах: в устах марксиста соответствующая апология, сказал Покровский, допустима и понятна лишь как средство агитации против самодержавия, но не более. Декабристов нельзя считать революционерами как раз в марксистском смысле, утверждал Покровский, – потому именно, что их программы в большинстве своем не предполагали глубокой *социальной* революции. Покровский говорил о «сильной и яркой политической платформе декабристов» и о «бедной и слабой – платформе социальной», добавляя: «Умеренные социальные реформы и полное, притом насильственное низвержение старого политического строя – вот как вкратце приходится определить программу декабристов»³⁹. Декабристы – это «монархомахи». Из них только Пестель обладал весьма радикальной социальной программой. И Покровский всячески подчеркивал соперничество и даже враждебность Северного и Южного обществ: заговор северян, говорил он, был не столько против Николая I, сколько против Пестеля. «Два заговора ревниво следили друг за другом»⁴⁰. В гранатовском тексте, а также в 3-м томе собственной «Истории России с древнейших времен» Покровский, под влиянием Ключевского, связал декабризм с традицией дворцовых переворотов. Позднее он несколько скорректировал эту

формулу: «В своей офицерской части заговор в лучших образчиках не идет дальше «Народной Воли», в худших – спускается до дворцовых переворотов XVIII века»⁴¹. «Дворянскую революционность», о которой говорил Ленин, Покровский склонен видеть только в этом последнем смысле, – ему, стороннику экономического материализма, к которому он сводил марксизм, вопрос о власти, о ее насильственном, даже заговорщическом захвате, не кажется интегральной частью марксистского подхода к миру. Поэтому он и говорит, что «марксисты порвали с традицией, которая от декабристов вела русскую революцию»⁴². Такая точка зрения, однако, удержалась недолго.

Для Покровского декабристы не революционеры, а «обиженные самодержавием дворяне». Эту формулу он разрабатывает на примере как раз одного из активнейших декабристов, Каховского. Тот жалуется царю на утеснение прав дворянства: почему офицерам-семеновцам запрещено выходить в отставку? почему не разрешают дворянам заниматься винокурением? держать почтовые станции? Никакого осознанного и в принцип возведенного народолюбия у декабристов не было, говорит Покровский, – эмансипаторский мотив у них есть плод позднейшей стилизации, когда, выжившие в Сибири и освобожденные, некоторые из них начали писать свои мемуары в канун 19 февраля. В гранатовском тексте Покровский даже не склонен считать декабристские социальные проекты «буржуазными», хотя и фиксирует их, так сказать, манчестерский характер: зримая тенденция этих проектов – освобождение крестьян провести так, чтобы усилить их зависимость от дворян-землевладельцев. В связи с этим Покровский особенно нажимает на соответствующие планы Якушкина (которые, кстати, ему не дало осуществить правительство, – история, повторившаяся с грибоедовским проектом), а также на конституционные проекты Никиты Муравьева: в первой их редакции крестьяне освобождались вообще без земли, во второй – наделялись двумя десятинами *на двор*. Это так называемый «кошачий надел». Покровский напоминает, что вырабатывавшийся тогда же правительственный проект освобождения крестьян – возглавлял этот проект

никто иной как Аракчеев – исходил из нормы две десятины *на душу*. Особенно далеко идущих выводов – в отношении царского правительства – Покровский из этих фактов не делал, но он эти факты и не скрывал, как скрывала либеральная историография и продолжает скрывать советская, по той причине, что они не соответствуют устоявшимся стереотипам самодержавия.

Покровский отрицает как революционность декабристов, так и «буржуазность» их социальных программ в первую очередь потому, что выдвигает на первый план аристократическую тенденцию у них. Типовой, показательный, стандартный декабрист у Покровского – Г. С. Батеньков, говоривший: «сильное вельможество нам свойственно и необходимо». Конституционный проект Батенькова не сохранился, но кое-что о нем известно: он построен все на той же идее «сенатского» ограничения самодержавия, двухпалатный парламент состоит из верхней – палаты вельмож, наследующих этот пост, и нижней, выборной; выбирают в нее от «некоторых городов», от губерний – из сословия землевладельцев, от трех университетов и трех академий. О крестьянах здесь даже и речи нет. Это стиль Русских Рыцарей Мамонова⁴³.

Нечкина, задним числом критиковавшая учителя, писала, что Покровский не сумел оценить принципиальный демократизм декабристских программных документов, в том числе конституции Никиты Муравьева. Это ложь, рассчитанная на студентов сталинских годов, не ходивших дальше официального учебника. Достаточно посмотреть как в самый источник, так и в работы Покровского, чтобы убедиться в правоте именно последнего. Как раз о проекте Н. Муравьева Покровский писал, что слово «народ» списано у него с иностранных конституций, это чисто вербальный лозунг, идеологическое клише; в действительности под народом Н. Муравьев подразумевал цензовые элементы и даже сословно-цензовые, т. е. дворянские преимущественно. У Муравьева в выборах бывшие крепостные вообще не участвуют, а свободные крестьяне наделены нормой представительства в 500 раз низшей, чем у самых мелких дворян. О социальной стороне проектов Н. Муравьева мы уже упоминали.

Подлинный революционер, якобинец-монтаньяр среди декабристов для Покровского – Пестель. Но тут же он обращает внимание на один неприятный для либеральных историков факт: северяне-аристократы («аристократы» – не всегда по происхождению, но по форме политического мышления) ненавидели и боялись Пестеля. И Трубецкой, и Рылеев начали свои показания с доноса на Пестеля.

Прочитайте, что пишет о Покровском хотя бы Кизеветтер – и вы ощутите полную растерянность либеральной мысли перед лицом этих не то чтобы неизвестных, но слишком сильных для нее, не усвояемых ею фактов. Скандал Покровский произвел великолепный – в стиле Чарли Чаплина, громящего посудную лавку. Если истина обязана обладать предикатом «горькая», то Покровский сказал истину о декабристах.

Он, например, начал обращать внимание на такие детали, сообщаемые в «Записках» И. И. Горбачевского, члена наиболее демократического по составу декабристского Общества соединенных славян:

«Члены Южного общества действовали большею частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием вступления в общество; они думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом, а последних – или теми же средствами, или деньгами и угрозами»⁴⁴.

Картина получалась настолько недвусмысленная, что сам же Покровский поспешил назвать ее тенденциозной. Не потому ли, впрочем, что речь здесь идет о Южном обществе, возглавлявшемся любимым им Пестелем?

Еще о «славянах»: в одном месте Покровский говорит, что с этими плебеями декабристы связались только потому, что думали препоручить им грязную работу царевубийства.

Правда подчас обнаруживается нечаянно – на смене господствующего мифа, пока другой еще не сформировался, иногда даже – на смене «начальства»: так, снятие

Хрущева не привело к свободе в СССР, но по крайней мере способствовало реабилитации генетики.

Где же сам Покровский начал «врать»? Там, где попытался подвести под декабристов фундамент «экономического материализма».

Дворянскую революционность он выводил из динамики хлебных цен в России в начале 19 века. Схема у него была такая: наполеоновские войны в Европе, а континентальная блокада в особенности, привели к резкому росту хлебных цен, что побуждало русских помещиков переходить к интенсификации своих хозяйств. Но этому мешало крепостное право, бывшее тормозом хозяйственного развития, как и положено принудительному труду. Отсюда — эмансипаторские проекты дворян — будущих декабристов, в центре каковых проектов — идея обезземеливания крестьян, превращения их в неимущих батраков и интенсификации тем самым их труда, подъема его производительности. Поскольку самодержавное правительство противилось подобным проектам, постольку росла дворянская революционность, точнее, если придерживаться буквы Покровского, готовность дворян к политическим акциям, нацеленным на ограничение монархии, если не на ее уничтожение.

Что можно возразить на эту заведомо упрощенную трактовку?

Прежде всего, она неверна фактически. Крепостное хозяйство отнюдь не исчерпало своих экономических возможностей не только в начале 19 века, но и даже ко времени самой реформы. Об этом написана известная книга П. Б. Струве, в корне пересмотревшая традиционные представления в этом вопросе. Естественно, Покровский знал об этой книге, но отделался от ее аргументов весьма грубо: «Струве и компания вышли из моды и с их мнением не приходится считаться»⁴⁵. Торжество победителя, не подозревающего, что и сам он скоро выйдет из моды, и с ним перестанут считаться. (Впрочем, сам Покровский этого не увидел: он даже был похоронен в кремлевской стене и, кажется, в отличие от Вольтера, передислокации не подвергался.)

Важно и другое: существует заметный разнóбой в том, что писал Покровский для издания Граната и что написал он в дальнейшем. Нельзя было отрицать революционность декабризма, коли уж речь зашла об экономических его программах, причем истолкованных так, как сделал это Покровский. У него получилось, что декабристы озабочены внедрением как раз буржуазных порядков на место «феодалных», а это революционно в самом что ни на есть каноническом марксистском смысле. Совместить это с пониманием декабристов как дворцовых бузотеров как-то трудновато. Покровский выходил из положения, указывая на то, что деятельность, планировавшаяся ими, ограничивалась сферой сельского хозяйства и вожде́ленный ими «пролетариат» во всяком случае не был бы «промышленным».

Все это, на наш взгляд, не лишает основную концепцию Покровского ее принципиальных достоинств. Эти достоинства существуют помимо марксистских мотивировок. Исходя из Покровского, легче добраться до истины, чем исходя из Герцена. В концепцию декабризма как аристократической оппозиции самодержавию нужно только ввести две проблемы – и по возможности их решить, – чтобы все стало на место. Во-первых, не надо забывать, что практика дворцовых переворотов отнюдь не была лишена очень серьезной социальной программы (скажем осторожнее – некоторых весьма значительных социальных импликаций; мы будем говорить об этом позднее); во-вторых, необходимо понять, почему же все-таки – отбрасывая рассуждения Покровского о «хлебных ценах» как типичное социологическое вульгаризаторство – дворяне (допустим, «передовые») хотели уничтожить крепостное право?

Ограничимся пока второй темой. В том-то и дело, что этого хотели не только «передовые» дворяне, а буквально все, «дворянство как класс». Это было господствующим настроением дворянства. Оно было заинтересовано не в крестьянах, а в земле. Обладание крестьянами было – без преувеличения – дамокловым мечом, висевшим над головой дворянства. Этот порядок можно назвать самодержавной провокацией: он постоянно напоми-

нал дворянам о том, что их статус был задуман как условный и что, по видимости освобожденные от службы известными указами, на самом деле они «на крючке», на привязи у царского правительства. Это была бомба замедленного действия, заложенная под социальным фундаментом дворянства. Никто толком не знал, когда она может взорваться, не знали и цари, – но их этот порядок устраивал как средство устрашения потенциально опасной политической группы (само собой разумеется, что задумано крепостное право было отнюдь не в этих целях, здесь мы говорим о его последствии). Пугачевщина великолепно доказала эффективность и полезность этого порядка для самодержавия. Сохранение крепостного права (в смысле владения крестьянами) было средством сраживания двух социальных групп, в возможности одинаково опасных для абсолютной монархии: так Англия когда-то натравливала континентальные державы одну на другую, добиваясь того, чтобы в Европе всегда существовали две враждующие коалиции.

Таким образом, тот *патернализм* самодержавия, о котором мы уже говорили, не следует понимать как доказательство какой-то изначальной благодати самодержавия и его природной склонности защищать малых сих. Правда, с течением времени практика переросла в миф о царизме как *народном* начале. Но сейчас и здесь мы не говорим о монархическом мифе, – мы только стараемся показать механизмы действия, приемы работы русского самодержавия. Работа эта была тонкой и искусной.

Добиваясь ликвидации крепостничества, декабристы просто-напросто хотели развязать себе руки для дальнейшей борьбы с самодержавием. Эта установка понятна; но чего они не могли взять в толк (большинство из них) – это что крестьяне, освобожденные без земли, устроят им новую пугачевщину. То, что масса русского дворянства не одобрила декабристов и осудила их⁴⁶, свидетельствует о более верном политическом ее инстинкте, чем таковой дворянской аристократии, сильно заидеологизированной, набравшейся отвлеченных от русского опыта западных идей.

Этот вопрос – о западных идеях, об европейском опыте декабристов – тоже не вредно провентилировать. Здесь скопилось много застойных предрассудков. Конечно, существуют десятки свидетельств глубокого влияния на многих декабристов современной им революционной идеологии, каковой была тогда идеология просветительская. И в показаниях декабристов можно обнаружить не только жалобы на отсутствие вольного винокурения на Руси, но и пылкие тирады в духе самого выдержанного Жан-Жака. Следует, однако, обратить внимание и на другое, как это сделал Милюков: он указал (в связи с Чаадаевым), что для русского высшего офицерства (а такое и заправляло в декабризме) европейский поход был не столько «освободительным», сколько воспринимался как опыт войны феодальной реакции с революционным узурпатором, усвоившим приемы абсолютистского правления во всеевропейском масштабе⁴⁷. В борьбе Европы с Наполеоном можно было при желании увидеть модификацию борьбы независимых феодалов с нажимавшими на них монархами-централизаторами. (Через некоторое время Токвиль сделает это ясным: преемственность революции централизаторским тенденциям французских королей.) Имело место некоторое структурное сходство, сильно, надо думать, провоцировавшее тех аристократов, из которых позднее составилась ведущий кадр декабризма.

Другой европейский мотив, неохотно комментируемый апологетическими интерпретаторами: зависимость декабризма от опыта посленаполеоновских *офицерских* революций в Европе. Декабризм созрел в эпоху мятежного вождя Риеги. Этот факт работает на схему Покровского.

За приемами офицерских революций и дворцовых переворотов стояла, однако, если не идеология, то психология аристократического автономизма. Есть в декабризме одна чрезвычайно значимая черта, раскрывающая именно этот его аристократический сепаратизм: федералистские установки в политической мысли декабристов. Выразительный документ этого течения – конституция Никиты Муравьева, с ее проектом разделения России на 13 «держав». Недаром Пестель, декабрист

иной, не аристократической, а якобинской складки, централизатор и русификатор, сказал, что конституция Муравьева напоминает ему удельную Русь. Считается, что Н. Муравьев ориентировался на конституцию С-АСШ; это – рационалистическая мотивировка его проекта, не более: в глубине – обнаруживаются реликты старорусского, «удельного» мировоззрения. П. Б. Струве сводил – типологически – муравьевский проект к Курбскому, первому идеологу русской аристократической фронды⁴⁸. Вот на таких амбивалентностях построен весь декабризм.

В литературе существует мнение, что источником конституции Н. Муравьева, с ее федерализмом, был конституционный проект Новосильцова, так называемая «Государственная Уставная Грамата Российской Империи 1820 года»⁴⁹. Историки спорили: чьей инициативе и чьему складу мышления приписать этот продукт – самому Новосильцову или Александру I? Первое мнение кажется более вероятным (его высказывал Б. Э. Нольде): федерализм, которым проникнута «Уставная Грамата», свойствен скорее именно аристократии и ее историко-политическим реминисценциям, чем централизаторской политике русских царей. Тот факт, что Новосильцов состоял в ближайшем окружении Александра I, нимало этого не опровергает, – ведь его царствование как раз и отличалось давлением аристократии на монарха, начавшимся буквально в первый его день 12 марта 1801 года.

Общеизвестно, что событием, круто изменившим характер этого царствования, было восстание Семеновского полка (1820 г.). Покровский дает тому остроумное психологическое объяснение: Семеновский полк стоял в карауле Михайловского дворца в ночь на 12 марта. Александру I явился призрак отцовской судьбы: гибель от рук приближенных аристократов.

Конечно, нельзя утверждать, что декабризм был полностью и исключительно аристократическим движением. Достаточно вспомнить еще раз Пестеля. Декабризм имел гораздо более тонкую микроструктуру. Впервые ее исследовал опять же марксист (впрочем, совсем уже академического склада) Н. А. Рожков⁵⁰. Конечно, в

движении декабристов уже отложились лярвы* будущих общественных движений, со временем достигнувших автономности, независимости от (когда-то) традиционной на Руси аристократической оппозиции. Но в этом конкубинате не было ничего принципиально нового, ни удивительного. Можно вспомнить Смутное время, характеризовавшееся союзом самой родовой боярской знати с «ворами» Болотникова. Это antecedents. Была и перспектива: хотя бы 1905-й и его, казалось бы, противоестественная коалиция князя Сергея Трубецкого с союзом приказчиков и даже с вагонными сцепщиками Московско-Казанской ж. д.

Все же авангардом, как сказали бы позднее, были аристократы. Так и восприняло заговор правительство: в уже сложившейся за много лет схеме. Сохранился интереснейший документ – письмо генерала М. Ф. Орлова (из Русских Рыцарей) Николаю I:

«Я хорошо понял, на чем вы настаивали, ваше величество, при моем допросе. Вы ищете вожakov заговора, ваше величество, вы сомневаетесь, не вблизи ли вас находится тот человек, который организовал заговор, который давал на него средства и который его поддерживал... Так вот, государь, мой взгляд на это таков – восстание носило совершенно демократический характер»⁵¹.

Лотман истолковал этот документ совершенно неправильно, приняв за чистую монету «отмазку» Орлова. О «демократизме» декабристского движения не решался говорить даже Ленин; удивительно, почему об этом заговорил советский ученый.

Как, по объяснению Покровского, не всегда совпадали понятия «крепостник» и «реакционер», – точно так же не всегда тождественны слова «революционер» и «демократ». Декабристы отнюдь не были народолюбцами. На этом их – а также их предшественников – и било самодержавие, взявшее монополию народолюбия, принявшее патерналистский курс. Много лет понадобилось

* Лат. *larva* (книжн.). В представлении древних, а также в демонологии средних веков – призрак трагически умершего человека (Толковый словарь русского языка под ред Д. Н. Ушакова). – Р е д.

русским революционерам, чтобы отыграть у царей этот козырь.

У современников сложилось твердое впечатление, что декабрьское восстание было вредной затеей, отбросившей Россию на много лет назад. Так считал, например, Чаадаев (в одном из «Философических писем»). Затем наступила пора исследователей, и начался разнобой. Ключевский говорил, что никакого хода назад не было, потому что и при Александре I не было хода вперед. А вот Покровский, не прибегая к пространственным метафорам и вообще уклоняясь от оценочных суждений (лучшее в его марксизме), констатировал некую фактическую истину: восстание 14 декабря сорвало две реформы – крестьянскую, готовившуюся Аракчеевым, и конституционную, разработанную Новосильцовым.

В этом смысле исход декабризма имеет существенное сходство с результатом народовольческого движения, сорвавшего конституционную перспективу проектов Лорис-Меликова. Александр II был убит на Екатерининском канале, переименованном большевиками в канал Грибоедова. Топонимическая символика вполне прозрачна: бунты против царей ни разу у нас не кончались счастливо.

И все же в движении декабристов был мотив, резко отличающий его от последующих революционных движений, причем отличающий в лучшую сторону. Этот мотив – *свободолюбие*, замененный позднее *народолюбием*. Последекабристское революционное движение в России утратило пафос свободы, аристократический пафос. Заменяв его народопоклоннической идололatriей, революционеры, сами того не заметив, потерпели еще одно поражение от царизма: они прониклись патерналистской, правительственной, покровительственной идеологией. Только там, где у царей были практический замысел и прагматический расчет, – у революционеров появились философия и религия. Не удивительно, что революционный патернализм дал результаты куда худшие, чем патернализм царский.

IV. Забытый конфликт

Коли мы сумели увидеть в декабризме аристократическую оппозицию по преимуществу, своего рода «боярский» бунт, – тогда мы сможем не только ввести это движение в контекст русской истории – тем самым поставив под вопрос «западническую» трактовку декабризма, выводившую его исключительно из влияний, испытанных русским офицерством во время заграничных антинаполеоновских походов, – но и самую русскую историю увидеть под другим углом зрения, более острым, дающим картину более выпуклую, стереоскопичную. В русской истории обнаружится тогда конфликт, едва ли не важнейший на большей части ее протяжения: конфликт центральной власти с боярской, а затем дворянской аристократией. Наше самодержавие окажется тогда в некоем роде весьма проблематичным: не «вечной формой», не платоновской идеей русской государственности, как полагал, допустим, Карамзин, но процессом, становлением и непрерывной борьбой. Тот факт, что в этой борьбе оно сумело одержать весьма внушительную победу, заставляет видеть в нем живую силу, политический принцип, явивший свое превосходство – хотя бы в той же силе – над всеми иными, т. е. принцип «органический». То, что самодержавие в конце концов погибло, совсем не означает, что оно извечно было камнем на пути русского движения. С другой стороны, обнаруживается имманентная традиция *свободы* на Руси – по крайней мере, традиция борьбы за свободу, питающаяся русским прошлым, а не только синхронными европейскими влияниями.

Русские историки, не связанные расхожей либеральной идеологией – то есть историки государственной школы главным образом, – хорошо понимали и убедительно демонстрировали позитивную роль самодержавия в отечественной истории. Но нам важно сейчас найти у них не эту итоговую оценку, а как раз описание процесса, складывания исторической формы русской государственности. И вот нынешний читатель русской историографической классики выясняет, что пресловутая «централизация» совсем не была фактором, автоматически рушащим

плюрализм власти. «Централизация» и «самодержавие» отнюдь не синонимичны. Национальное и даже государственное единство отнюдь не изначально было в России связано с концентрацией монархической власти. Другими словами, у русской аристократии были все основания претендовать на роль, в русской истории совсем не меньшую, чем та, которую в конце концов усвоило себе самодержавие.

По С. М. Соловьеву,

«то время, которое с первого раза кажется временем разделения, розни, усобиц княжеских, является временем, когда именно было положено прочное основание народному и государственному единству»⁵².

Как известно, для С. М. Соловьева это единство обеспечивалось элементарным фактом родственной связи князей Рюрикова дома, с исследования каковой он и начал свою работу над русской историей. Открытие Соловьева – в установлении факта *коллективного владения* русской землей. Если угодно, здесь, в этом институте Рюриковичей, а отнюдь не в единовластии был русский «генотип».

Этот порядок – по крайней мере, идея такого порядка, а следственно и соразмерная идеология – сохранялся и много позже, уже тогда, когда, согласно тому же Соловьеву, отношения родовые были сменены отношениями государственными, или, в более знакомых нынешнему читателю терминах, – когда Русь из киевского периода перешла в московский.

В. О. Ключевский говорит:

«Не думайте, что с исчезновением великих и удельных княжеств тотчас без следа исчезал и удельный порядок, существовавший в северной Руси. Нет, этот порядок долго еще действовал и под самодержавной рукой московского государя... Власть московского государя становилась не на место удельных властей, а над ними, и новый государственный порядок ложился поверх действовавшего прежде, не разрушая его, а только образуя новый, высший ряд учреждений и отношений... Все это помогло новым титулованным московским боярам, потомкам князей великих и удельных, усвоить взгляд на себя, какого

не имели старые нетитулованные московские бояре... Руководя всем в объединенной северной Руси, потомки бывших великих и удельных князей и в Москве продолжали смотреть на себя, как на таких же хозяев Русской земли, какими были их владетельные предки; только предки, рассеянные по уделам, правили Русской землей по частям, а потомки, собравшись в Москве, стали править всей землей и все вместе... Образование национального великорусского государства отразилось в боярском сознании своего рода теорией аристократического правительства»⁵³.

Ключевский говорит далее, что такое сознание послужило образованию системы, известной под названием местничества. Но ведь не только этому: также и целому периоду долгой борьбы аристократии с царями за политическое преобладание. Общеизвестные этапы этой борьбы: олигархическое правление бояр в малолетство Ивана IV, царствование Шуйского и его подкрестная запись, попытки бояр в Смутное время отойти к Польше на началах ограничения королевской власти (договор 4 февраля 1610 г. М. Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом) и т. д. и т. д. Мы увидим далее, что эта борьба за власть не кончается даже после декабристов, хотя некоторые историки (тот же Ключевский, к примеру) говорили, что декабризм знаменует окончательное поражение аристократии в борьбе за политическое преобладание с царизмом.

И тогда уже цари начинают искать и создавать себе союзников для борьбы с аристократическими претензиями. Один из немаловажных резервов этой борьбы – опора на правительственный аппарат, на бюрократию – формирование ее из «низких» слоев населения.

Ключевский:

«Еще князь Курбский с боярской досадой писал, что большинство московских дьяков его времени, самых преданных слуг московского государя, вышло из „поповичей и простого всенародства“»⁵⁴.

Другой резерв – апелляция к народу, к массам, то, что позднее стали называть демагогией. Иван IV, удалившись в Александровскую слободу, шлет оттуда два письма:

одно боярам, выказывающее немилость, второе – простому люду с жалобой на бояр. Так же и Борис Годунов ждет, когда на царство его попросит народ, а не просто выберут бояре; эта «просьба» соответствующим образом организуется. Чувствуя свою нелегитимность*, Годунов, с одной стороны, выдумывает некое «завещание» Ивана Грозного, дающее якобы санкцию его царствованию, с другой стороны, предпринимает вполне серьезные попытки опереться на народ: известно, что он готовил меру, точно определяющую повинности и оброки крестьян, имевшую целью ограничить эксплуататорский произвол землевладельцев. Перенесясь на 200 лет вперед, мы сталкиваемся с точно такой же ситуацией: Павел I, ненавидимый ближайшим окружением, старается приобрести репутацию «мужицкого царя» и издает указ о трехдневной барщине; при всей номинальности этой меры, она важна как показатель тенденции царей – усиливать свою политическую роль, играя на социальных противоречиях аристократии и народа.

Ключевский говорит, что у Годунова имелась вполне разумная и перспективная альтернатива: воспользовавшись фактом избрания его боярами, легализовать этот порядок и сделать земские соборы, интегральной частью которых была боярская дума, подлинно представительным учреждением – править в дальнейшем, опираясь на них, и тем самым создать некий многообещающий пре-

* Вот что пишется в новейшем советском историческом исследовании: «Основной факт состоит в том, что в начале XVII в. правительство впервые в русской истории пыталось осуществить широкую программу помощи голодающему народу. Новые меры Борис старался обосновать с помощью новых идей. Как значилось в указе о введении твёрдых цен в Соль-Вычегодске, царь Борис «оберегает крестьянский (православный. – Р. С.) народ во всём», жалеет о всём «православном крестьянстве», ищет «вам всем – всего народа людям – полезная, чтоб... было в наших во всех землях хлебное изобилие, житие немятежное и невредимый покой у всех равно».

Признание того, что не только верхи, но и низы общества – «всенародное множество» – имеют равное право («у всех равно») на хлебное изобилие, благоденствие и покой, явилось одним из важных принципов «земской политики» Бориса Годунова». (Р. Г. С к р ы н н и к о в. «Социально-политическая борьба в русском государстве в начале XVII века». Л., 1985, стр. 46). – А в т.

цедент, по существу – положить начало русскому парламентаризму⁵⁵. Слов нет, это было бы движением в лучшую сторону. Но мы говорим сейчас не о том, что могло бы быть, а об имевшем место реальном развитии русского политического быта. Нас интересуют не оценки, а фактическое положение дел, его по возможности адекватное описание. И пытаюсь дать это описание, мы не можем пройти мимо отмеченного уже факта: усилия русских царей придать «народный» характер институту самодержавия, легитимизировать его именно таким образом. Понимание этого тем более необходимо, что в нынешней русской (советской) исторической литературе – и в сознании людей, обращающихся к истории, – существует весьма одностороннее представление о решающей роли дворянства в укреплении самодержавия – выдвинутого царями на первое место в противовес амбициозному боярству. Нельзя отрицать того, что такая политика действительно имела место и сыграла определенную роль в указанном процессе; но она не была исключительной и постоянной. Само дворянство отнюдь не однозначно и не безусловно включило себя в этот порядок. Достаточно вспомнить «тушинцев» и вообще Смутное время: ведь салтыковский договор с поляками 4 февраля 1610 г., выработавший гораздо дальше идущий конституционный проект, чем позднейшая его боярская редакция 17 августа того же года, был делом рук именно «средних классов» – столичного дворянства и дьячества. Дворянство много раз колебалось – идти ли ему за царем или выдвинуть собственный (конституционный, представительный) порядок; и если оно сорвало инициативу «верховников» в 1730 году, то это не значит, что его собственные попытки создать себе независимый статус именно в этом году и закончились. Впереди было еще почти столетие дворцовых переворотов – и 14 декабря.

Нельзя пройти мимо одного редко вспоминаемого (а по существу – просто забытого) события из русской истории: того плана «аристократической децентрализации», как называет его Ключевский, который бояре пытались провести в 1681 г. Этот план предполагал раздел государства на крепные наместничества, во главе которых долж-

ны были стать несменяемые, пожизненные правители из бояр. Так что, если искать источники федералистской конституции Никиты Муравьева, то их следует видеть не только в проекте Новосильцова или в письмах Курбского, но и в этой боярской попытке.

Как видим из всех этих примеров, боярство совсем не было сломлено репрессиями Ивана Грозного. Более того, постепенно происшедшее вытеснение старого боярства новым служилым классом не означало еще ликвидации самого этого конфликта царей с аристократией – безразлично, старой или новой.

Коснемся одного чрезвычайно значимого эпизода этой борьбы, выразившейся на этот раз в деятельности так называемого Верховного Тайного Совета – некоего органа коллективной аристократической диктатуры, создавшейся после короткого царствования Екатерины I. Существует на эту тему ценная работа А. А. Кизеветтера, в которой приемлемо всё, кроме ее названия. Называется она «У истока сословной монархии». Смысл исследования Кизеветтера, на наш взгляд, противоречит этому титулу: ибо тенденция, намеченная деятельностью Совета, вела как раз к дальнейшей автономизации самодержавия как политической структуры. Сам Кизеветтер пишет здесь, что в исследуемой ситуации сословные интересы дворянства одержали верх над интересом государственным. Следует ли считать, что самодержавие складывалось в то время как орган защиты этих сословных интересов? Этот вывод отнюдь нельзя извлечь из работы Кизеветтера. Он говорит о том, как дворянство – в лице упомянутого Совета, – используя временное ослабление царской власти, сумело добиться весьма ощутимых привилегий. Но какого рода это были привилегии? Прежде всего, уменьшение служебного бремени. Был сделан шаг в направлении, зафиксированном позднее в Указе о вольности дворянской: ослаблялась неременная связь между службой дворянина и его имущественными обстоятельствами. Так, например, две трети всех офицеров и рядовых из дворян были на год отпущены в принадлежавшие им деревни. Этот отпуск давался без сохранения содержания, но зато он обеспечивал возможность дворянам при-

вести в порядок их хозяйственные дела, от которых их ранее отрывала пожизненная служба. Другой пример мероприятий Совета: расширение прав дворян на торговую деятельность. При Петре I только младшие сыновья дворянских семей могли заниматься торговлей, – теперь это разрешили всем. Было даже произведено уменьшение подушной подати с крестьян – но для того, чтобы соответствующий излишек мог получить сам дворянин. Был принят еще ряд мер, облегчающих хозяйственные движения дворянства. Вывод Кизеветтера:

«Все это еще очень далеко от превращения дворянина из служилого человека в привилегированного земле- и душевладельца. Но это уже несомненно первый шаг к такому превращению. Мы стоим тут у самого истока грядущей сословно-дворянской монархии»⁵⁶.

Вправе ли мы делать такой вывод? Вправе ли его делать сам Кизеветтер, совсем, кажется, не склонный к марксистскому толкованию зависимости политической власти от экономически привилегированного класса? Кизеветтер не заметил второй стороны того процесса, начало которого, безусловно, было положено деятельностью Верховного Тайного Совета: экономическая независимость дворянства, вскоре появившаяся для него возможность отделаться от обязательной службы и осесть в его хозяйственно автономных «гнездах» – были в то же время средством удаления его от власти, от возможности активного воздействия на центровую политику. Несомненно, начало такому порядку положили сами дворяне, – он сулил им сиюминутную выгоду; но воспользовалось этим порядком в политических целях – самодержавие. Это стало осознанной и планомерной политикой Екатерины II. Отсюда идут ее пресловутые раздачи земли и крепостных. Это была не прихоть царственной любовницы, а выверенный и точный политический ход, клонящийся всё к той же цели: к концентрации власти самодержцем.

Р. Пайпс в своей весьма спорной книге «Россия при старом режиме» совершенно, однако, правильно отметил, что сама эта раздача земель велась таким образом, чтобы избежать сосредоточения колоссальных земельных богатств в одном месте⁵⁷. Создавалась своего рода

дворянская чересполосица. «Феодальные» тенденции тем самым в неизмеримой степени ослаблялись.

У этой царской политики – нечаянно извлеченной из алчности «нового класса» – был еще один выгодный для центральной власти аспект: дворянство оставлялось с глазу на глаз с крепостными. Иногда возникает соблазн в таких событиях, как пугачевщина, видеть своего рода царскую провокацию.

Существует неоспоримый тезис о поголовном закрепощении крестьян при Екатерине II; отсюда следует якобы, что ее эпоха была торжеством дворянства как класса. Но торжество это было весьма проблематичным: владение землей и душами отнюдь не стало безусловным – несмотря на такие, казалось бы, бесспорные триумфы дворянства, как Указы 1762 и 1785 гг., освобождавшие их от обязательной службы и тем самым от условного владения. Самодержавие среди прочего политикой «вольностей дворянских» усиливало социальный конфликт в деревне, и делало это вполне сознательно: это было средство давления на дворян призраком мужицкого бунта – призраком, временами вполне материализующимся.

Интересно и другое: в самих низах продолжающееся закрепощение понималось как чисто дворянская злокачественность, а не как царская политика. Это и значит, что расчет самодержавия оправдался, что его патерналистский образ оказал нужное действие. Дело не в том, что, допустим, в пугачевщине «немка» Екатерина воспринималась чуждой народу и выдвигался в противовес ей мужицкий царь Петр Федорович; дело в том, что при этом институт самодержавия сохранял в народном сознании свой демократический характер. На этом, собственно, и был построен феномен самозванства. Более того: именно тогда, в 18 веке, появились *народные идеологи*, выдвигавшие именно такую концепцию. Ярчайшая фигура здесь – Иван Посошков. В книге его «О скудости и богатстве» говорится, что «помещики крестьянам не вековые владельцы, а истинный их владелец – самодержец всероссийский, помещики же владеют крестьянами временно». Показательна судьба Посошкова: он адресовал свою книгу Петру I, а после смерти его, в августе 1725 г., был поса-

жен в Петропавловскую крепость, где и умер; то есть – уморили его аристократы, всячески боявшиеся установившейся связи «царь – народ» и воспользовавшиеся упадком самодержавия после Петра для того, чтобы свести счеты с идеологом царского патернализма.

В 1924 г. в Петрограде вышло исследование С. И. Тхоржевского «Народные волнения при первых Романовых», в котором этот тезис – об общем антидворянском интересе царей и мужиков – был высказан наконец-то с полной определенностью, во весь голос. (Здесь, в Нью-Йорке, я не мог достать книгу Тхоржевского и сужу о ней по рецензиям в тогдашних эмигрантских журналах: как и следовало ожидать, она вызвала большой интерес.) Говоря об установке крестьянского сознания, Тхоржевский описывал его следующим образом: «достаточно одного царского слова, чтобы разразилась резня господ», – и понимание этой ситуации считал присущим дворянам. Когда историки народнического толка (Костомаров, Щапов), критикуя построения государственной школы, выдвигали на первый план в русской истории народные движения, они упускали из виду один факт: эти движения были включены в систему правительственной политики.

Мы можем судить о настроениях тогдашней (18 век) аристократии и по непосредственным источникам. Она имела свой рупор: князя М. М. Щербатова. Конечно, это был в некотором роде «самиздат» той эпохи, – сочинения Щербатова были собраны и напечатаны уже после его смерти. Его, однако, знали: один из дворянских заговоров при Екатерине II в числе своих планов имел выдвижение Щербатова на царский трон. Крайне интересно, что сочинение Щербатова «О повреждении нравов в России» Герцен, начиная в Лондоне вольную русскую прессу, издал под одной обложкой с книгой Радищева: «диссидентский» характер дворянского публициста 18 века четко ощущался. При этом консервативные установки Щербатова, его «архаизм» нисколько не мешали его оппозиционности, а наоборот, мотивировали и аргументировали ее. В лице Щербатова, таким образом, мы имеем дело с некой *традицией*, с уже устоявшимся *типом* русского оппозиционного мышления; и тип этот – «боярский», от Курбского

идуший. Эту традицию не смог прервать даже Грозный царь.

Щербатов для нас тем более любопытное явление, что мы разворачиваем картину русского прошлого, исходя из Грибоедова: конечно, сам Грибоедов – это некая модификация сердитого высокородного диссидента. Еще и еще раз подчеркнем: в русской оппозиционности крайне важен этот национальный, «славянофильский» мотив, – не только западные идеи становились у нас источником политического критицизма.

Щербатову в русской исторической литературе относительно повезло: о нем в начале века был написан ряд содержательных работ⁵⁸. К этим исследованиям мы и отсылаем заинтересованного читателя, – мы не можем входить здесь в подробности. Но все-таки несколько слов о Щербатове сказать необходимо и нам. В нем интересно именно то, о чем уже говорилось: тогдашние западные идеи не могли его по-настоящему сформировать, он выражал русский опыт. Щербатов знал Монтескье и старательно его переписывал; в частности, из Монтескье он извлек мысль об аристократическом правлении как едва ли не наихудшем («тихость в рассуждениях и исполнении»). Но все эти теории мгновенно забывались, когда Щербатов заговаривал о деле, жизненно важном и волнующем его. Собственная его программа – типичное аристократическое правление с главной чертой «сенатского», «вельможеского» ограничения монархии. Чрезвычайно заметно – да и не скрывается – крепостничество Щербатова, он даже за то, чтобы и государственных крестьян продать дворянам по 80 рублей за душу. В Екатерининской Комиссии Щербатов развивал и защищал программу, которую иначе как корыстно-сословной не назовешь, – в частности, он настаивал на исключительном праве дворян владеть крепостными. В щербатовском «социальном романе» – «Путешествие в землю Офирскую г. С. шведского дворянина» – все те же аристократические проекты, но уже с одной выразительнейшей подробностью: Щербатов за то, чтобы императоры были *отделены от народа*, чтоб не допускались никакие контакты такого порядка. Нельзя не увидеть в этом реакции на тот факт,

который мы старались извлечь из-под обломков русского прошлого: факт идеологической связи, установившейся между самодержавием и крестьянами; тут-то Щербатов и ощущал главную для аристократии опасность.

Щербатов был чуть ли не единственным человеком, усмотревшим в политике Екатерины II ущемление, а не возвышение дворянских интересов (может быть, и не единственный, но писать об этом решился он один). Он понял Екатеринину игру: под видом устройства корпоративных дворянских интересов отвести дворян от реальной власти, от возможности влиять на высокую политику (подобный ход сделал Николай I в свое время, а именно, после 14 декабря). Щербатов резко критиковал Жалованную грамоту 1785 г. Много лет спустя оценки Щербатова подтвердила историческая наука: А. А. Кизеветтер, лучший у нас знаток эпохи Екатерины II, считает, что Грамота 1785 г. и Учреждение о губерниях были антидворянскими мерами.

Постепенно в русской исторической литературе это мнение – о патерналистском характере и «демократической» ориентации самодержавия – распространялось более и более. Оно делалось уже чем-то вроде общего места и высказывалось не в порядке дискуссии, не как сенсационное открытие или дерзкая гипотеза, а как нечто само собой разумеющееся, почти как трюизм популярного учебника. Но дело в том, что высказывалось это не в советской литературе, а в эмигрантской, – а в СССР конфликт самодержавия с аристократией сделался забытым конфликтом.

Вот что писал, к примеру, евразиец Г. В. Вернадский в своем любопытном «Начертании русской истории»:

«Вся дальнейшая (с Екатерины II. – Б. П.) политика русских государей была построена на постоянном лавировании между различными сословиями. Против политических требований дворянства правительство всегда выдвигало крестьянский вопрос. Боязнь отмены крепостного права и потери таким образом социальной почвы под ногами заставляла дворянство, в его целом, постоянно склоняться перед императорской властью»⁵⁹.

Это, конечно, весьма далеко от нынешнего расхожего представления о самодержавии как исполнительном органе дворянской диктатуры. Однако к подобным мыслям, как мы видели, говоря во введении о книге под редакцией Черепнина, начинают исподволь склоняться и советские историки.

Сам Вернадский в качестве примера такого лавирования приводит историю с известным указом о вольных хлебопашцах. Он был принят в царствование Александра I 20 февраля 1803 г. – в ответ на дворянскую фронду в Сенате. 16 января Сенат устроил обструкцию проекту правительственного постановления о запрещении отставки офицерам, не дослужившимся до обер-офицерских чинов. Сенат указал, что проект нарушает Жалованную грамоту 1762 г. о вольностях дворянских. В ответ последовал указ о вольных хлебопашцах. Практическое значение его было ничтожно, но ведь он и не имел той цели, к которой якобы был направлен: освобождения крестьян добровольной акцией их владельцев. Цель его была другая: припугнуть дворян, напомнить им о том, что против них в распоряжении царей всегда имеется громадная сила крестьянства.

Правительство, однако, не только пугало дворян, но и само их пугалось. 14 декабря 1825 г. сделало этот испуг чуть ли не перманентным состоянием правительственной политики. Но нельзя ее смысл в это время видеть только в репрессиях Николая I. Нажим его на общество носил не только непосредственно политический характер, но имел также в виду далеко рассчитанный социальный план.

Хотя такой кит русской историографии, как В. О. Ключевский, и говорит, что восстание 14 декабря знаменовало гибель русского дворянства как политической силы⁶⁰, это мнение нужно рассматривать как пример знания апостериорного. Николаю I эта истина не могла быть так ясна, как последующему историку. Крупнейшая уступка, сделанная им дворянству, – законодательное закрепление земельных владений помещиков на правах частной собственности. Этим, однако, не ограничилась его политика по отношению к дворянству. Один из серьезнейших русских историков С. Ф. Платонов настаивает

на том, что политика Николая I была резко и осознанно антидворянской⁶¹. Это мнение должно быть учтено, для того чтобы понять настоящий характер так наз. «николаевской реакции». Еще более активно стала разыгрываться правительством крестьянская карта. За время царствования Николая I было принято 108 разного рода указов и постановлений, облегчающих участь крестьян, — больше, чем за все предыдущие царствования. Но дело даже было и не в этом облегчении, а в самой установке на правительственное регулирование социальных отношений в деревне. В. В. Леонтович, в своей «Истории либерализма в России» оценивший акт 19 февраля как «второе освобождение дворян», склонен считать ликвидацию крепостной зависимости крестьян сокровенным желанием самого дворянства⁶². Он объясняет последнее обстоятельство сознанием несовместимости юридических порядков, которым подчинялись дворяне и крестьяне, — пример той излишней легалистской детерминации, которой грешит его книга. Не легче ли предположить другое — и материал книги Леонтовича дает всяческие основания для этого, — что такое желание было вызвано прежде всего непрекращающимся нажимом правительства, теми 108-ю мерами, которые обрушивались на русских помещиков в течение почти тридцати лет николаевского царствования? Создавалось психологически неизбежное настроение неуверенности в собственных правах, — в сознание возвращалась идея условного владения, старого крепостного (до 1762 г.) порядка, коли указанное закрепление земли в частную собственность постоянно сопровождалось все большим вмешательством правительства в отношения помещиков с крестьянами. Как показывает Леонтович, тенденция николаевского законодательства в крестьянском вопросе была именно такая: к восстановлению «крепостного права» в традиционном смысле слова, которое было трансформировано предыдущей политикой «вольностей дворянских» (имевшей в то же время, как мы уже говорили, целью оттеснить дворян на периферию русской жизни). Повторим еще раз сказанное выше: дворяне были заинтересованы в десятинах куда больше, чем в душах. Декабристы это поняли раньше других,

отсюда их «революционность»: желание сохранить в своих руках политическую инициативу в этом важнейшем вопросе русских социальных отношений.

Мнение Ключевского о декабризме как конце политической роли дворянства тем более можно поставить под вопрос, что даже 19 февраля, как это ни покажется неожиданным, только развязало новые его политические амбиции. Это история дворянского – «флигель-адъютантского» – конституционализма 60-х годов. Дворянство требовало конституции, участия в правлении как компенсации к утраченным экономическим привилегиям; обратно-пропорциональная связь этих двух измерений дворянского бытия на этом примере особенно ощутима. Дело зашло так далеко, что дворянский конституционализм и вызванная им оппозиционная деятельность дали побег в политическую эмиграцию: князь П. В. Долгоруков, бывший, пожалуй, наиболее яркой фигурой этого движения. Долгоруков составил себе европейское имя как специалист по русской генеалогии: очень характерное занятие для выразителя и защитника дворянских амбиций.

Но к этому времени правительство имело уже поддержку не просто в бессловесной и бесписьменной массе русского крестьянства, но и среди авторитетных представителей русского общества. Таковое уже нельзя было отождествлять с дворянством, – место сословных интересов заняли в нем мотивы идеальные. Как написал позднее Макс Вебер, именно это и было главной слабостью русского либерализма – отсутствие в нем связи с прямыми социальными интересами тех или иных общественных слоев. «Освобождение» мыслили не прагматически, а идеалистически. Здесь достаточно будет назвать имя К. Д. Кавелина. При всей его – уже интеллигентской – скромности, это был судьбоносный человек: это именно он привил русскому либерализму патерналистскую идеологию. Он и был наш, если угодно, главный народник – «на свой салтык», как сказал бы Герцен. Со времени реформы наше либеральное движение развивается под знаком народолюбия, а не свободолюбия. Оно усваивает правительственные идеологические стандарты. Н. Оси-

пов в острой, провокативной статье настаивает на том, что другого либерализма – кроме правительственного или ориентированного на сотрудничество с правительством – в России и не было, и Кавелин был пророком его⁶³. Кадеты для Осипова – не либералы, а типичные радикалы. С последним согласен и Леонтович. Но как характерно, что этим радикалам была свойственна патерналистская установка в крестьянском вопросе, отчего они и выступили столь резко против реформы Столыпина. И эта партия всерьез называла себя партией народной свободы. Кавелин, во всяком случае, самый яростный противник «дворянской» конституции, и борется он с ней не только в 60-е годы, в эпоху «Вести» и Долгорукова, но и позднее, уже против последней видной фигуры дворянского движения генерала Р. А. Фадеева.

Как писал в свое время Б. Н. Чичерин, жизнь убедила его, что в России правительство было выше и просвещеннее общества. Эти слова вспоминаются и тогда, когда думаешь о реформе Столыпина. В его лице самодержавие *раньше всех* у нас отказалось от патерналистской идеологии и практики. Была принята политика либеральная, «манчестерская». Но это уже ничего не дало – не потому, что внутренние возможности режима были исчерпаны, а из-за неблагоприятных внешних обстоятельств, которые, впрочем, можно при желании назвать и судьбой.

* *

*

Сюжеты, представленные выше, помимо своего объективно-исторического интереса (бесспорного и вне авторской их трактовки), наводят на ряд вопросов, имеющих непосредственное касательство к нашему настоящему, а может быть, и будущему. Сформулируем эти вопросы.

1. В какой мере изучение русского прошлого руководительно для анализа и оценки сегодняшней ситуации? Другими словами, существуют ли черты сходства в рус-

ском прошлом и советском настоящем, которое позволяли бы, методом более или менее приблизительной аналогии, извлекать из нашего прошлого уроки для будущего? И если таких сходств не существует, если коммунизм создает реальности, не имеющие никаких параллелей в русской истории, то правомерно ли изучение таковой вне и помимо чисто академического интереса?

2. Эти самые общие, можно сказать абстрактные, вопросы конкретно детализируются при обращении к существующей литературе. Так, точка зрения, согласно которой коммунизм – в традиции русской истории и которая вызывает наиболее страстное противление со стороны, можно сказать, всякого русского, не приемлющего коммунизм, – эта точка зрения может быть представлена в значительно смягченной форме, когда сам коммунизм (тоталитарный социализм) понимается как причина русской регрессии к прошлому. Такое понимание высказывал неоднократно П. Б. Струве, назвавший социализм «регрессивной метаморфозой». Вопрос: в число черт «московского государства», которые Струве находил восстановленными – в порядке некоей реакционной инволюции – в советском социализме, можно ли включить характеристики правительственного патернализма* и функционирования власти в конфликте с аристократической элитой?

3. Можно ли, далее, считать нынешнюю номенклатуру социальным аналогом прежней аристократической элиты, в течение многих веков, как мы видели, оспаривавшей приоритет верховной власти? Можно ли борьбу Сталина и Хрущева с партийной верхушкой, окончившуюся, соответственно, сначала поражением, затем победой последней, считать аналогом «забытого конфликта» русской истории? Можно ли, вообще, рассматривать нынешнюю партократию как режим – по формально-структурным своим характеристикам – «аристократический» (не в силу «аристократизма», благородства его но-

* Сущующего в коммунизме, несомненно, не по причине покровительственного отношения к подданным, а в силу тотального подавления любой общественной и частной инициативы. – А в т.

сителей, конечно, а в чисто политическом смысле – как власть определенной касты, даже клики)? Можно ли, наконец, провести некоторую – опять же чисто формальную – параллель между практикой «нового класса», этого коллективного собственника советского государства, и теми «отношениями русских князей Рюрикова дома», о которых писал С. М. Соловьев? И какого рода выводы возможны из этих (гипотетических) параллелей?

4. Не есть ли один из этих выводов, что то «экономическое отчуждение от власти», которое было в нашей истории правительственным методом преодоления аристократической оппозиции (экономическая компенсация за отнятую политическую власть), – что этот метод может быть действен и в сегодняшней ситуации, конечно, при непременном условии, что в нынешней правящей верхушке найдется активная группа (как нашлась она в Китае), решившаяся бы на такую политику? В каких формах можно мыслить эту экономическую компенсацию советской, коммунистической номенклатуры? за какую плату она согласится уступить власть?

Как видим, все перечисленные вопросы выстраиваются в некий логически последовательный ряд, они вытекают один из другого, – но только при условии принятия исходной посылки: о нынешней ситуации в СССР как уже моделированной в русском прошлом. Автор, со своей стороны, решительно настаивает на том, что нельзя говорить о развитии коммунизма из русского прошлого, что в созданном коммунизмом порядке виновата не русская традиция, а сам коммунизм, что коммунизм был *прерывом* русского развития, «реакцией», регрессом, инволюцией, что дух, действовавший в русской истории, вел ее в сторону общеевропейского либерального развития (Столыпин) – в сторону, прямо противоположную собственной же традиции «вотчинного» государства, с его слиянием собственности и суверенитета, – каковая традиция тем самым преодолевалась и отбрасывалась, – что коммунизм, таким образом, есть не плод русской эволюции, а движение вспять, по нисходящим ступеням. Но все сказанное не избавляет, однако, от впечатления о существовании некоторого весьма заметного сходства в чисто по-

литической ситуации, слагавшейся раньше и наличной теперь, с такими ее элементами, как класс коллективных собственников, как власть, потенциально способная вступить с ним в борьбу, как глубочайшая необходимость для дела развития (спасения) страны ступить на путь частнособственнических хозяйственных отношений*. Можно, наконец, заметить, что конфликт верховной власти и правящей элиты – тот едва ли не главный конфликт русской истории, который мы постарались выявить в предлагаемой работе, – не только уже наблюдался в советской истории (Сталин, Хрущев и их борьба – или попытка такой борьбы – с партийной верхушкой), но и на наших глазах начинает приобретать весьма впечатляющее оживление: в советской прессе идет сейчас самая настоящая атака на «среднее звено» управления – министерства и ведомства, – с одновременными попытками привлечь «низы» к этому нападению. То есть, обнаруживаются признаки того, что высшая власть (гипотетический актив реформаторов) начинает осознавать «демагогические» возможности прямой связи с массами против элиты – сюжет, чрезвычайно заметный именно в русской истории. Назовите это «бонапартизмом», или даже «неосталинизмом», или «культурной революцией» на советский манер, – но если это действительно приведет к концу партократии, то цель оправдывает средства. Конечно, принципиальная реализация этой возможности предполагает нажим власти на *партийную* элиту (а не на исполнителей-

* То есть необходимость «уйти на Северо-Восток». Для правильного понимания этой русской исторической стратегии необходимо вспомнить адекватную ее трактовку у С. М. Соловьева. На Северо-Востоке сложился новый государственный строй не просто в силу отдаленности этого района от прежних центров власти (сегодняшние средства контроля делают бессмысленной саму идею географической изоляции), а по причине создания здесь принципиально новых социальных отношений, основанных уже не на коллективном владении русской землей, а на началах частной собственности. Это и привело к смене родового порядка государственным, к созданию «вотчинного государства», в дальнейшем, как мы видели, пошедшего на децентрализацию собственности, *на отделение ее от власти*. В этом был конечный смысл крепостного права. Но ликвидировать последнее стало возможным как раз потому, что помещики не обладали уже политической властью. – А в т.

министров). Но эту прослойку вряд ли удастся просто покорить, – от нее, по-видимому, придется *откупиться*.

Автор сочтет свою скромную задачу выполненной и представленный им набросок русского прошлого в его возможных связях с будущим оправданным, если поднятые им на последних страницах вопросы помогут развернуть их обсуждение с какой угодно степенью полемического накала.

ЛИТЕРАТУРА

¹ См.: Ernst Nolte. «Three Faces of Fascism». New York, 1966, pp. 151 – 167.

² См.: П. М и л ю к о в. «Величие и падение М. Н. Покровского». – «Современные записки», № 65 (1937), стр. 368 – 387.

³ В. И. Л е н и н. Сочинения, 4-е изд., т. 6, стр. 144.

⁴ «Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма». М., 1970, стр. 292.

⁵ См. там же, стр. 306 – 307.

⁶ «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 269, 228, 118.

⁷ «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб., 1883, стр. 375.

⁸ «Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова», т. 3. Спб., 1917, стр. 117.

⁹ Там же, стр. 134.

¹⁰ В. Р о з а н о в. «Литературные очерки». Спб., 1899, стр. 193, 194, 195, 196.

¹¹ Там же, стр. 196, 201, 200.

¹² Н. К. П и к с а н о в. «Грибоедов, исследования и характеристики». Л., 1934, стр. 49.

¹³ Там же, стр. 20.

¹⁴ См.: М. В. Н е ч к и н а. «Грибоедов и декабристы», 2-е изд. М., 1951, стр. 369.

¹⁵ См. там же, стр. 160.

¹⁶ «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», стр. 90.

¹⁷ См. «Вопросы истории», 1947, № 12.

¹⁸ А. С. Г р и б о е д о в. Сочинения. М., 1956, стр. 727.

¹⁹ О. П. М а р к о в а. «Новые материалы о проекте Российской Закавказской Компании А. С. Грибоедова и П. Д. Завелейского». – «Исторический архив», 1951, т. 6, стр. 354, 360.

²⁰ Там же, стр. 361.

²¹ Роман Тынянова цит. по изд.: Ю. Т ы н я н о в. «Смерть Вазир-Мухтара. Подпоручик Кижэ». Воронеж, 1963, стр. 249 – 250.

²² А. Б е л и н к о в. «Юрий Тынянов». М., 1965, стр. 200, 202, 209.

²³ Ю. Н. Т ы н я н о в. «Пушкин и его современники». М., 1969, стр. 366.

- ²⁴ См.: Анна Ахматова. «О Пушкине». Л., 1977, стр. 219, 221.
- ²⁵ Ю. М. Лотман. «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов – поэт, публицист и общественный деятель». – «Ученые записки Тартуского государственного университета», 1959, вып. 78, стр. 92.
- ²⁶ Там же, стр. 51.
- ²⁷ В. И. Семевский. «Политические и общественные идеи декабристов». Спб., 1909, стр. 403.
- ²⁸ См. там же, стр. 386, 387, 389 след., 414.
- ²⁹ Лотман, ук. соч., стр. 53.
- ³⁰ Там же, стр. 50.
- ³¹ См.: Семевский, ук. соч., стр. 389, 387, 414, 49-50.
- ³² Там же, стр. 65.
- ³³ Лотман, стр. 56, 57.
- ³⁴ Там же, стр. 57.
- ³⁵ См.: «Старина и новизна», 1902, кн. V, стр. 125 след. (воспоминания Дондукова - Корсакова).
- ³⁶ См.: И. К. Ениколопов. «Грибоедов в Грузии». Тбилиси, 1954, стр. 128 – 129.
- ³⁷ См.: М. В. Нечкина. «Движение декабристов», т. I. М., 1955, стр. 430.
- ³⁸ См.: В. О. Ключевский. Сочинения в восьми томах, т. 5. М., 1958, стр. 255 след.
- ³⁹ «История России в XIX веке». Спб., 1907, т. I, стр. 100, 112.
- ⁴⁰ М. Н. Покровский. «Декабристы». Сб. статей. М.-Л., 1927, стр. 31, 49.
- ⁴¹ Там же, стр. 75.
- ⁴² Там же, стр. 85.
- ⁴³ См.: «История России в XIX веке», стр. 105.
- ⁴⁴ Цит. у Покровского: «Декабристы», стр. 71.
- ⁴⁵ Там же, стр. 13.
- ⁴⁶ См. об этом работу Н. К. Пиксанова в «Звеньях», II, 1932, стр. 131 – 199.
- ⁴⁷ См.: П. Миллюков. «Главные течения русской исторической мысли», т. I. М., 1898, стр. 375.
- ⁴⁸ См.: П. Б. Струве. «Никита Муравьев и Павел Пестель». В кн.: «Социальная и экономическая история России». Париж, 1952, стр. 353.
- ⁴⁹ Это мнение высказывал Г. В. Вернадский в работе под тем же названием, вышедшей в Праге в 1925 г.
- ⁵⁰ См. журн. «Русское прошлое», 1923, № 1.
- ⁵¹ Цит. у Лотмана, стр. 86.
- ⁵² С. М. Соловьев. «История России с древнейших времен», кн. VII (тт. 13-14). М., 1962, стр. 15.
- ⁵³ В. О. Ключевский. Сочинения в восьми томах, т. 2. М., 1957, стр. 142 – 143, 143, 144, 145.
- ⁵⁴ Там же, стр. 203.
- ⁵⁵ См.: В. О. Ключевский, т. 3, стр. 31.
- ⁵⁶ «Современные записки», № 18 (1924), стр. 230.
- ⁵⁷ См.: Ричард Пайпс. «Россия при старом режиме». Кембридж, Массачусетс, 1980, стр. 227 – 229.

⁵⁸ См.: В. А. М я к о т и н. «Дворянский публицист Екатерининской эпохи (князь М. М. Щербатов)». В кн.: «Из истории русского общества. Этюды и очерки». Спб., 1902; Н. Ч е ч у л и н. «Русский социальный роман XVIII века». – «Журнал Министерства народного просвещения», 1900, январь; А. К и з е в е т т е р. «Исторические очерки». М., 1912, стр. 29-57.

⁵⁹ Г. В. В е р н а д с к и й. «Начертание русской истории». Б. м., 1927, стр. 201.

⁶⁰ К л ю ч е в с к и й, т. 5, стр. 261.

⁶¹ См. «Лекции по русской истории профессора С. Ф. Платонова». Изд. 10-е, Пг., 1917, стр. 681.

⁶² См.: В. В. Л е о н т о в и ч. «История либерализма в России. 1762 – 1914». Париж, 1980, стр. 136 – 149.

⁶³ См.: Н. О с и п о в. «Credo русского либерализма». – «Мосты», № 3 (1959).



Виталий РАПОПОРТ

Меч и скрипка

Очерк биографии Михаила Тухачевского

С некоторой натяжкой я могу причислить себя к младшим, самым младшим современникам Тухачевского: в день его казни мне исполнилось 96 дней. Конечно, реально о существовании маршала я узнал попозже – году в 1952 – из книги, которая была тогда библиографической редкостью, но охотились за ней не книголюбы, а чекисты. Это был «Стенографический отчет о судебном процессе по делу право-троцкистского блока» (Москва, Наркомюст, 1938). Оказывается, Якир, Тухачевский и другие враги, орудовавшие под личиной красных командиров, готовили государственный переворот с целью восстановления власти капиталистов и помещиков.

Прошло совсем немного лет, и с трибуны XX съезда нам сообщили, как добрые молодцы Тухачевский, Якир и Уборевич были необоснованно репрессированы товарищем Сталиным. Это была одна из ошибок культа личности, сильно ослабившая обороноспособность страны. Где нам было тогда сообразить, что ошибки, а если быть точным – преступления, были сделаны вполне реальной личностью при поддержке многих других личностей, которые горячо одобряли указанные нарушения, а потом возложили ответственность на бесплотный и безличный культ.

Какое-то время я представлял себе Тухачевского великомучеником в буденовке. Дальнейшие занятия военной историей столкнули меня с более реальным Тухачевским, который оказался интереснее своего лика.

Честолюбие чаще всего управляло его поступками. Он предложил свою шпагу большевикам в надежде достигнуть высших постов, но уже вскоре пришлось взять на себя роль усмирителя народных восстаний. Это не исчерпывало всего Тухачёвского. Он был еще и горячий патриот. Ему хотелось видеть армию родной страны сильной, обученной и оснащенной новейшим вооружением, и последние 15 лет его жизни были целиком отданы этой цели.

Тухачевский усвоил пропагандистский жаргон своих новых хозяев и щедро начинил им свои военно-научные статьи и выступления. В острые политические моменты он всегда шел вместе с основной массой партийных погромщиков – пока, наконец, не стал их жертвой. Михаил Тухачевский принадлежит истории. Он – часть своей эпохи, более того, он один из тех, чьими руками строилась эпоха.



Михаил Николаевич Тухачевский родился 16 февраля 1893 г. в родовом имении своего отца вблизи села Вышегоры, Смоленской губернии. Имение было заложено, перезаложено, ибо к этому времени дела семьи шли не ахти успешно. Относительно генеалогии Тухачевского существуют разные и очень занимательные версии, не имеющие, однако, документального обоснования. Поэтому к ним стоит относиться с осторожностью, памятуя, что одно время среди дворян считалось чуть ли не обязательным иметь знатного чужеземного пращура.

По одной традиции, Тухачевские имели общего предка с Толстыми – а именно Индриса, легендарного литовского (или тевтонского) воителя. Другая традиция ведет Тухачевских от графа Бодуэна VIII – правителя Фландрии. Один из сыновей графа, возвращаясь после неудачного крестового похода, попал в Одессу, тогда византийский город; он поступил на службу к местному

правителю и получил земли вблизи селения Тухачев¹. Лев Никулин помещает предков Тухачевского в тьмутараканское княжество на Таманском полуострове, которое основал черниговский князь Мстислав Владимирович в XI веке².

Мать нашего героя, Мавра Петровна Милохова, напротив, не объявляла никаких экзотических предков. Она была дочерью крестьянина из деревни Княжино, Дорогобужеского уезда, той же Смоленской губернии. Прямые потомки ее сестры, Елены, до сих пор живут в смоленских колхозах³. Брак дворянина и крестьянки не был обычным делом в то время, однако в данном случае все было чин по чину. Мать Николая Тухачевского, гранд-дама Софья Алевтиновна, дала свое благословение. Союз оказался плодотворным: пять дочерей и четверо сыновей.

Советский биограф сообщает нам со слов дочери Николая Тухачевского Ольги, что ее отец был культурный человек, любитель музыки и атеист⁴. Своих детей он старался воспитывать в духе атеизма. Никулин приводит пример того, как в гимназии Михаил дразнил учителя закона Божия, не ходил к исповеди и т. д. Хотя Никулин никак не может быть назван надежным источником, однако, возможно, что в данном случае он точно передает факты, сообщенные ему сестрой М. Н. Тухачевского, тем более, что они согласуются с ультрапартийным духом его книги.

Музыка играла важную роль в семье Тухачевских. Бабушка Софья Алевтиновна была ученицей Николая Рубинштейна и изрядной пианисткой. Известные музыканты из столиц навещали имение Софьи Алевтиновны, среди них маэстро Рубинштейн, а также Н. С. Же-

¹ Erich W o l l e n b e r g. «The Red Army». London: Secker and Warburg, 1938, p. 59.

² Л. Н и к у л и н. «Тухачевский». М.: Военное издательство Министерства обороны, 1964, стр. 7.

³ А. И. Т о д о р с к и й. «Рецензия на биографию М. Н. Тухачевского, составленную писателем Львом Никулиным», июнь 1962 г., рукопись, стр. 14.

⁴ Л. Н и к у л и н. «Тухачевский», стр. 13.

ляев, которого Шостакович считал одним из своих учителей⁵.

Смоленское имение пришлось продать. Семья переехала под Пензу, где у бабушки была земля.

* *

*

В 1904 г. Михаил поступил в Пензенскую мужскую гимназию. Роман Гуль сообщает, что будущий маршал относился к категории «способных, но ленивых». Он был очень рослый и широкоплечий для своего возраста, за что получил кличку «Чудовище»⁶.

Как встретила семья Тухачевских русско-японскую войну и революцию 1905 г., мы не знаем. Известно только, что в 1909 г. Тухачевские переехали в Москву. Михаил поступил было в Десятую Московскую гимназию, но уже вскоре изъявил желание идти по военной линии. Отец был против. Ему, либералу и атеисту, хотелось видеть сына не грубым солдафоном, но просвещенной личностью. Михаил настоял на своем и был переведен в Первый Екатерининский Кадетский Корпус. Вскоре он был назначен старшим сержантом корпуса – вероятно, за спортивные успехи.

В 1911 г. Михаил закончил кадетский корпус и поступил в Александровское военное училище. Это было довольно престижное учебное заведение, многие из его выпускников шли в гвардию. Воспитанник Александровки А. И. Куприн описал училище в романе «Юнкера». Снова наши сведения о том, как учился Тухачевский, очень скудны. Тухачевский взялся за ум и стал учиться серьезно, видимо, начал думать о карьере; еще он ухаживал за подругой сестры – Марусей Игнатьевой, которой предстояло стать его женой⁷.

В 1914 г. двойное несчастье обрушилось на семью Тухачевских: умерли Николай Николаевич и сестра

⁵ Dmitri Shostakovich. «Testimony». N. Y.: Harper and Row, 1979.

⁶ Р. Гуль. «Тухачевский – красный маршал». Париж, 1935, стр. 8.

⁷ Р. Гуль. Ук. соч., стр. 11.

Михаила Надя, только что закончившая Строгановку. Вскоре Михаил Тухачевский был выпущен подпоручиком в Семеновский гвардейский полк. Юность кончилась. По прихоти судьбы, это совпало с концом эпохи. Начиналось новое время – время мировых войн.

* *
*

Война давала подпоручику Тухачевскому отличный случай схватить удачу за хвост. Семеновский полк воевал против австро-венгерской армии под Краковом. В одном из первых писем домой Тухачевский написал: «Я убежден, что все, в чем я нуждаюсь для достижения того, что хочу, это храбрость и уверенность в себе. Я сказал себе, что либо буду генералом к тридцати годам, либо не буду в живых к тому времени»⁸. Уже 2 сентября 1914 г. Тухачевский нашел случай отличиться в бою. Шестая рота Семеновского полка, к которой он был причислен, обошла австрийцев с фланга и вынудила их к отступлению. Отходя, они подожгли деревянный мост через реку Сан. Но это не остановило Тухачевского. Он пробежал по горящему мосту, увлекая за собой солдат. Австрийцы понесли потери убитыми и пленными. Наградой подпоручику был крест св. Владимира с мечами⁹.

С началом зимы 1915 г. Семеновский полк принял участие в наступлении на Карпатах. Целью его было прорваться в Венгрию. Одновременно наносился удар по северо-восточной Германии. Операция была спланирована поспешно – в попытке загладить разгром русских войск в Восточной Пруссии в августе. Выбор зимнего времени тоже не способствовал успеху. Первоначально русские изрядно потеснили австрийские части, но затем натолкнулись на немцев. Наступление провалилось.

⁸ Michel Berchin and Eliach Ben-Horin. «The Red Army». New York, 1942.

⁹ Л. Н и к у л и н. Ук. соч., стр. 30.

Участок фронта, занимаемый Семеновским полком, германские войска атаковали 19 февраля. Весь день русские позиции были под тяжелым артиллерийским обстрелом. К ночи наступило затишье. Тухачевский прилег отдохнуть. Вскоре началась новая атака, заставшая семеновцев врасплох. В окоп, где спал Тухачевский, попал снаряд, изрядно его оглушивший. Очнувшись он уже в германском плену. Участие Тухачевского в мировой войне на том и закончилось. Для многих русских Карпатская операция обернулась куда печальнее – более 100 тыс. были уничтожены.

О жизни Тухачевского в плену мы знаем не так уж мало – благодаря мемуарам его товарищей по несчастью. Германский плен того времени нельзя, разумеется, сравнивать с теми условиями, в которых оказались красноармейцы 1941-го. Русские офицеры, Тухачевский здесь не исключение, в письмах жаловались. На скуку, однообразие, еще на то, что русский Красный Крест не столь расторопен, как английский или французский. Еда, как легко догадаться, была дурная. Тухачевский в одной из почтовых открыток сообщил матери, что он жив и здоров, а также, что сегодня дали нам... мед, на цвет и вкус как сапожная вакса¹⁰. Пленные офицеры не работали, им полагались вестовые из пленных же солдат-соотечественников. Но большинство мечтало о побеге. Три года, проведенные в германском плену, Тухачевский только и занимался, что побегами. Обычно убежать из офицерского лагеря было не слишком трудно, потому что охрана была малочисленна и состояла из пожилых резервистов и ополченцев. Четыре раза Тухачевского ловили. Один раз он был в бегах 26 дней, добрался до датской границы, осталось маленькую речку перейти. Вместо того, чтобы искать броду, Тухачевский пошел по мосту и был схвачен часовым. После каждого побега поручика переводили в новый лагерь, где режим был строже, а стены выше. Так он попал в баварскую крепость Ингольштадт IX, предназначенную для закоренелых беглецов. Там, кстати, судьба столкнула его с Шарлем де Голлем. Француз

¹⁰ Л. Н и к у л и н. Ук. соч., стр. 33.

держался особняком, но Тухачевский сумел его разговаривать. Оказалось, что их взгляды на характер будущей войны во многом сходились¹¹. Наконец, поздней осенью 1917 г., когда Россия уже вышла из войны, Тухачевский совершил свой пятый побег – удачный. Собственно, он и другой русский, Черновецкий, дали тягу во время прогулки за стенами крепости. Так как перед выходом на прогулку пленные расписывались в журнале, скрепляя обещание не убежать, то беглецы придумали такой ход: каждый расписался против фамилии другого. Этим, кажется, их офицерская совесть была успокоена вполне. Британские офицеры пришли в ужас от такой логики¹². Как бы то ни было, побег состоялся. Черновецкого поймали через три дня, а Тухачевский ушел. Где и как они расстались, неизвестно; еще бóльшая загадка, как Тухачевский проделал с лишком тысячу километров от Баварии до русской границы.

* *

*

Зимой 1917/1918 (точной даты нет) Михаил объявился в пензенском имении. Отпраздновали возвращение, помянули умершего недавно младшего брата Игоря. Тухачевский заторопился в Петроград, где находился гвардейский Семеновский полк, вернее, то, что от него осталось. Тухачевский подоспел как раз вовремя. Гражданская война висела в воздухе.

Что влекло Тухачевского в столицу? Ответ будет короткий: честолюбие. Бывший поручик, освобожденный от присяги отречением императора, был твердо намерен добиваться чинов и отличий. Его не смущало, что в этот момент армии не существовало, что большевики строили свою агитацию на лозунге мира. Тухачевский начал с того, что в апреле поступил на службу в воен-

¹¹ David S h o e n b r u n. «The Lives of Charles de Gaulle». New York: Ateneum, 1966, pp. 37-38.

¹² Jean L a c o u t u r e. «De Gaulle». New York: Avon, 1968, pp. 25-29.

ный отдел ВЦИКа и записался в партию большевиков. Судя по всему, определенную роль здесь играли братья Куйбышевы: с Николаем он учился в Александровском училище, а Валерьян через короткое время стал его политическим наставником¹³. Итак, выбор был сделан и, говоря прагматически, весьма своевременно. В ту пору офицеров на службе у большевиков было немного. Младший офицер полукрестьянского происхождения, вступая в партию, из военспеца становился почти своим. В течение короткого времени Тухачевский работает комиссаром (!) тылового района Западной Завесы.

Тем временем разворачивалась гражданская война. На Кубани действовала Добровольческая Армия. 29 мая чехи подняли восстание вдоль Восточной магистрали. Поволжье и Урал немедленно стали главным фронтом гражданской войны. В первых числах июня Тухачевский получил назначение на Восточный фронт. Должность? Командующий I-й Армией. Ему было чуть больше 25 лет. Как случилось, что безвестный поручик, имевший ничтожный боевой опыт, получил под начало многие тысячи людей? Три обстоятельства были тому причиной. Первое – была острая нехватка командного состава: летом 1918 большевики в массе относились к офицерам (военспецам) враждебно. В случае с Тухачевским партбилет заслонял офицерское прошлое. Второй фактор – личное участие во всем этом деле Валерьяна Куйбышева, назначенного политкомиссаром I-й Армии. Похоже, что Куйбышев подобрал себе в командующие однокашника брата. Наконец, решающую роль сыграло то, что в это время Восточным фронтом командовал М. А. Муравьев. Полковник Муравьев некогда скандализировал своим поведением «весь Петербург». Теперь он был левым эсером и служил большевикам. Он оказал им немалые услуги в дни наступления Корнилова на Петроград и позднее на Украине. После того как войска гетмана Скоропадского были выбиты из Киева, Муравьев отдал город своим войскам на четыре дня. Р. Гуль сообщает,

¹³ Н. И. К о р ц к и й. «Маршал Тухачевский». М.: Изд-во Министерства обороны СССР, 1965, стр. 28-29.

что 2000 пленных офицеров были расстреляны¹⁴. Легко поэтому предположить, что мало кто из офицеров пошел бы под начало к Муравьеву.

Тухачевский и Куйбышев прибыли на Восточный фронт и принялись наводить дисциплину, которая там практически отсутствовала. В листовке, подписанной Тухачевским, читаем: «Строгое подчинение и внимание к приказам, исходящим от ответственных командиров, без обсуждения и ворчания. Таково в военное время первое необходимое условие победы»¹⁵. 9 июня двумя отдельными ударами были заняты Сызрань и Бугульма.

Теперь Тухачевский отправился представляться Муравьеву в Симбирск, куда тот, между тем, плыл по Волге в бывшей императорской яхте «Межень» с многочисленным антуражем, мужским и женским. Только несколько дней назад в Москве произошли мятежи левых эсеров, кончившиеся неудачно... Действуя по плану, Муравьев решил все же выступить. Тухачевский прибыл на пристань для встречи с Муравьевым, получил приглашение присоединиться к мятежу, отказался и был тут же арестован. События развивались очень энергично. Муравьев отправился на митинг, где он провозгласил республику Поволжья; он предложил чехословакам мир и союз против Германии и большевиков. Красноармейцы, которым был поручен Тухачевский, сначала хотели расстрелять его на месте, потом передумали и отвели его в тюрьму. Там уже находились многие большевики и красные командиры. Между тем местная советская власть объявила Муравьева вне закона. Пока войска Муравьева пьянствовали и шатались по городу, оставшиеся на свободе большевики действовали... Группа, возглавляемая Иосифом Варейкисом, взяла приступом тюрьму и освободила своих товарищей, в их числе Тухачевского и Б. М. Фельдмана. Под предлогом переговоров они заманили Муравьева в военное училище и пристрелили его.

Так началась для Тухачевского длинная служба на главном фронте гражданской войны – Восточном. Я воз-

¹⁴ Р. Г у л ь. Ук. соч., стр. 82.

¹⁵ Р. Г у л ь. Ук. соч., стр. 80.

держиваюсь от описания операций фронта: их было слишком много и практически ни одна не выделяется в военном отношении. Ограничусь лишь тем, что касается Тухачевского как личности. За полтора года он из безвестного поручика превратился в прославленного командира сначала 1-й, а затем 5-й Армии: его войска отбили Симбирск в сентябре 1918 г., первыми прорвались за Урал в июле 1919 и заняли Омск в декабре. Репутация Тухачевского начинает приобретать мистические черты непобедимости. Сталин, который, как мало кто знает, был неудавшимся поэтом, назвал его «демоном гражданской войны»¹⁶. Вот характеристика Фрунзе: «Это хладнокровный человек, чуждый всем утехам юности, и его единственная страсть – это война». И еще: «Он большой игрок, неустрашимый, но, пожалуй, слишком дерзкий»¹⁷. Фрунзе несколько сгустил краски: в разгар войны Тухачевский заключил брак с Марией Владимировной Игнатьевой. К немалому смущению комиссаров, венчание состоялось в Сызранской церкви. Только один мемуарист сохранил нам облик Тухачевского тех лет. Это Генрих Эйхе. Многие авторы путают его с Робертом Эйхе, видным партийцем, дослужившимся до члена Политбюро и казненным. На самом деле, они двоюродные братья¹⁸. Генрих Эйхе репрессирован не был и, по крайней мере, был жив в 1962 г. «Как и всегда, он был в своей парадной форме: желтые сапоги, малиновые галифе, красная гимнастерка и зеленый шлем»¹⁹. Г. К. Эйхе командовал под началом Тухачевского 26-й дивизией, а впоследствии принял у него 5-ю Армию; он относился к Тухачевскому недружелюбно даже после реабилитации последнего. Это, однако, не исключает того, что командарм носил описанный опереточный наряд.

Через Восточный фронт прошли почти все крупные военачальники Красной Армии. Там Тухачевский испор-

¹⁶ Т о д о р с к и й. Ук. соч., стр. 12.

¹⁷ Dennis Wheatly. «Red Eagle». London: Hutchinson, 1937, p. 218.

¹⁸ Т о д о р с к и й. Ук. соч., стр. 32.

¹⁹ Л. М. С п и р и н. «Разгром Колчака». М.: Военное Изд-во Министерства Обороны СССР, 1969, стр. 111.

тил отношения с первым главкомом И. И. Вацетисом и установил взаимопонимание с его преемником С. С. Каменевым, кстати говоря, выпускником Александровского училища. Там же завязалась дружба с М. В. Фрунзе, сыгравшая роль в возвышении Тухачевского после Гражданской войны. На Восточном фронте сложились тесные связи с Б. М. Фельдманом, В. Путной, Р. П. Эйдельманом, Г. Д. Гаем-Бжишкяном и другими, кто будет бок о бок с Тухачевским во главе армии и сойдет в могилу вместе с ним.

После взятия Омска Тухачевский сдал командование 5-й Армией и поехал в Москву получать награду – почетное золотое оружие. Это было в конце ноября. И тут произошло непредвиденное событие: его жена Маруся застрелилась. По одной версии, возвращаясь со свидания с мужем, она везла несколько мешков муки и крупы – ее арестовали, потом выпустили, но пережить позор было выше ее сил. Злые армейские языки, однако, говорили иное. Тухачевский никогда не был примерным мужем. Маруся что-то узнала и покончила с собой.

В карьере Тухачевского наступил вынужденный перерыв. Ему дали время успокоиться и отдохнуть. Но время шло, а нового назначения не было. В конце декабря его направили в Курск, где находилось командование Юго-Западного фронта, однако ничего реального все не было. 19 января 1920 г. он не выдержал и написал слезное письмо председателю Реввоенсовета Троцкому. Тухачевский просил дать ему хоть какую-нибудь работу, если нельзя на фронте, то на транспорте или в военном комиссариате²⁰. Троцкий дает понять, что Сталин, бывший хозяином Юго-Западного фронта, был виной вынужденной бездеятельности командарма. В то же время сам Троцкий относился к Тухачевскому весьма холодно и, возможно, приложил к этому руку.

Прошла, однако, неделя, и работа нашлась, по соседству, на Кавказском фронте. Фронт этот был создан в начале красного наступления в результате разделения Южного фронта на два: Кавказский и Юго-Западный.

²⁰ Leon T r o t s k y. «Stalin», pp. 326-327.

Последний был нацелен против поляков, а Кавказский фронт под командованием В. И. Шорина вел борьбу против Добровольческой Армии А. И. Деникина. С середины октября 1919 г. красные теснили Добру армию, которая незадолго до того прорвалась в центр Европейской России, захватила Орел и угрожала Москве. До октября группа Уборевича отбила Орел, через несколько дней свежесформированная Первая конная и части 8-й Армии заняли Воронеж. В ноябре красные получили дополнительное преимущество – на их сторону перешел Петлюра.

В течение почти трех месяцев красные непрерывно наступали. 6 января 1920 г. конница Буденного заняла деникинскую штаб-квартиру, Таганрог, двумя днями позже – Ростов. Здесь в продвижении красных наступила заминка, так как буденновцы занялись грабежом²¹. Генерал Деникин получил возможность оторваться от преследования, перегруппировать свои силы и занять оборону вблизи Батайска. Возникла знаменитая «батайская пробка».

Замысел комфронта В. И. Шорина состоял в том, чтобы предотвратить продвижение войск Деникина к Новороссийску, откуда они могли эвакуироваться в Крым. Батайск стоял красным поперек горла на пути осуществления этого плана. Со своей стороны, А. И. Деникин придавал особое значение Батайску. Ему в то время казалось, что исход кампании еще не решен: «В сложившейся обстановке материальные условия обеих сторон были одинаковы. Победа зависела от духа»²². Шорин настойчиво гнал Первую конную и 8-ю Армию Т. Я. Сокольников на штурм Батайска. Фронтальный приступ 17 января окончился неудачей, он был повторен через день – безуспешно. Атаки 20 и 21 января не дали результатов. В стане красных наступил разлад, посыпались взаимные обвинения. Сокольников упрекал кавалерию в «чрез-

²¹ Об этом эпизоде см. также отрывки из книги В. Раппопорта и Ю. Алексеева «Измена Родине». – «Грани», № 134, стр. 212.

²² Dmitri V. L e h o v i c h. «White Against Red: The Life of General Anton Denikin». New York: Norton, 1974, p. 338.

вычайно малой боевой устойчивости»²³. Буденный и Ворошилов жаловались, что заболоченный левый берег Дона неудобен для действий кавалерии. И конники, и пехотинцы дружно «катали бочку» на Шорина. Это возымело действие. 26 января Реввоенсовет убрал Шорина с Кавказского фронта²⁴ и заменил его... М. Н. Тухачевским. Это была неожиданность для всех, включая Тухачевского. Есть основания считать, что инициатором назначения был Сталин. Во всяком случае, он взял на себя труд рекомендовать нового командующего Ворошилову и Буденному. Именно в этом разговоре по прямому проводу он назвал Тухачевского «демоном Гражданской войны»²⁵. Это было в начале февраля. К этому времени красные еще раз безрезультатно атаковали Батайск (28 января). На следующий день Мамонтов успешно контратаковал, а 1 и 2 февраля, развивая успех, оттеснил красных за Дон и Маныч.

К 7 февраля Тухачевский разработал новый план наступления. От замысла Шорина – предотвратить эвакуацию Добрармии в Крым – не осталось следа, да и время было упущено. План Тухачевского имел целью очистить Дон и Северный Кавказ от белых. Это предполагалось выполнить путем широкого наступления по всему фронту силами пяти армий. Кажется, это был единственный случай в военной карьере Тухачевского, когда наступление было задумано солидно, обстоятельно, без рискованных выпадов. Нет нужды описывать эту операцию, она хорошо известна. В ходе ее белые имели некоторые успехи, в частности отбили Ростов 21 февраля, но в целом удача была на стороне Тухачевского. Вместе с вешними водами ушли и последние надежды Деникина, вскоре он сдал командование барону Врангелю. 27 марта красные заняли Новороссийск, взяв в плен более 100 тыс. деникинских войск, не успевших переправиться в Крым. 2 мая последние части белых сдались в Сочи.

²³ В. Рапопорт, Ю. Алексеев. «Грани», № 134, стр. 219.

²⁴ Он был назначен помощником главкома и главной военной власти в Сибири. Тодорский. Ук. соч., стр. 34.

²⁵ Тодорский. Ук. соч., стр. 12.

Весной 1920 г. акции Тухачевского котировались в Кремле очень высоко. Неудивительно, что ему была поручена без преувеличения ведущая роль в войне с Польшей. Эта война была мало похожа на военные действия между красными и Деникиным или Колчаком. Это была уже не междоусобная, гражданская, братоубийственная война внутри нации, вовсе нет, это был военный конфликт между двумя суверенными государствами. Поначалу инициатива в войне принадлежала полякам. Их командующий Иозеф Пилсудский вынашивал далеко идущие планы Великой Польши «от можа до можа», которую он мыслил как федерацию прибалтийских государств, Белоруссии, Украины и Польши под главенством Варшавы. Этой целью определялись все ходы в запутанной военно-дипломатической игре поляков.

19 апреля 1919 г. войска Пилсудского захватили Вильну и продолжали наступать в Белоруссии, пока 8 августа не заняли Минск. В этот момент положение красных на Южном фронте было отчаянным: конница Шкуро и Мамонтова рвалась к Москве. Естественно, что А. И. Деникину было жизненно важно развитие польского наступления. Но именно в это время Пилсудский остановил свои войска на линии р. Березины и фактически заключил перемирие с большевиками. Это позволило бросить часть советских войск с польского фронта против Деникина. Пилсудский вел весьма засекреченные переговоры с другом детства Юлианом Мархлевским, выступавшим в качестве уполномоченного Кремля. Все это держалось в тайне от французов и англичан, которые оказывали Польше помощь оружием и продовольствием и хотели превратить ее в «санитарный кордон» против большевистских орд.

Пилсудский и Мархлевский в целях секретности не встречались лично, а сообщались через третьих лиц. Мархлевский усиленно внушал своему однокашнику, что большевики не имеют агрессивных планов в отношении Польши и рассматривают сочувственно идею велико-

польской федерации. Пилсудский не то, чтобы поверил в добрые намерения Кремля, однако принял их к сведению. Главный результат был – отказ помочь Деникину. Пилсудский считал, что белые никогда не смирятся с Великой Польшей. Даже просто польскую независимость от России они признали под давлением из Парижа и могут в подходящий момент переменить курс.

Осенью и зимой 1919-1920 гг. на советско-польском фронте не было ни военных действий, ни формального мира. Наркоминдел Чичерин, действуя через Мархлевского и по другим каналам, постоянно напоминал полякам о миролюбии Москвы. В декабре 1919 г. он предложил возобновить мирные переговоры. Поляки ответа не дали, но подтвердили получение письма. Наконец, 27 марта 1920 г. сообщили, что готовы начать переговоры 10 апреля в Борисове.

Похоже, однако, что Пилсудский в этот момент меньше всего думал о мире. События весны 1920 г. показывают, что, одержимый идеей польского величия, он перехитрил сам себя. Вопреки возражениям своих коллег, Пилсудский заключил союз с вождем украинских националистов С. В. Петлюрой и вторгся на Украину. Поперву успех сопутствовал полякам. Их наступление, поддержанное сечевиками Петлюры, началось 26 апреля, а уже 9 мая передовые части генерала Рыдз-Смиглы заняли Киев.

Со стратегической точки зрения, этот ход нельзя считать удачным. Летом 1919, когда большевики были связаны по рукам и ногам наступлением Деникина, Пилсудский выжидал; теперь же ему противостояли куда более внушительные красные силы. Более того, в Москве появилась группа товарищей, которые ставили по отношению к Польше следующие цели: а) дать белополякам урок, подобный тому, который получили Деникин и Колчак; б) использовать Польшу как форпост мировой революции. Во главе этой группы стояли Ленин и Эфраим Склянский, заместитель председателя Реввоенсовета²⁶.

²⁶ John Erickson. «The Soviet High Command». London: St. Martins Press, 1962, p. 89.

Операция «даешь Европу» была спланирована с большим размахом. Удар наносился по двум сходящимся направлениям к югу и северу от Припятских болот. Северный сектор назывался Западным фронтом; им командовал Тухачевский при членах Реввоенсовета фронта Иване Смильге и Христиане Раковском. В составе фронта были 15-я армия (А. И. Корк), 16-я армия (Н. В. Соллогуб) и Мозырская группа (Е. Н. Сергеев). В подчинении командующего Юго-Западным фронтом А. И. Егорова (члены реввоенсовета – Сталин и Р. И. Берзин) находились 12-я армия (И. В. Меженинов), 14-я армия (Н. П. Уборевич), Фастовская группа (И. Я. Якир), а также несколько кавалерийских частей помельче.

Согласно плану главкома С. С. Каменева, главная роль отводилась Западному фронту, куда были направлены подкрепления в размере 40 тысяч человек. 14 мая войска 16-й армии должны были ударить в направлении Минска. Однако из этого плана ничего путного не вышло. Сначала Тухачевский изменил направление удара. Теперь главный прорыв был намечен в районе Витебска – Полоцка и выполнить его надлежало уже 15-й армии Корка. Эта перемена не принесла успеха. Сначала на левом фронте 16-я армия опоздала нанести отвлекающий удар на Березине. К 19 мая, когда она, наконец, сдвинулась с места, наступление 15-й армии застопорилось. Соппротивление поляков нарастало, и Тухачевский был вынужден остановить свои войска.

Оптимизм в Москве пошел на убыль. 1 июня поляки начали усиленные контратаки. Ленин приуныл. Он телеграфировал Сталину в Кременчуг: «Положение на Западном фронте хуже, чем думают Тухачевский и главком». Одновременно он приказал усилить Юго-Западный фронт, перебросив туда по железной дороге Первую Конную, а также Чапаевскую Дивизию (И. С. Кутяков).

Между тем, на Украине дела тоже оставляли желать лучшего. Две атаки 12-й армии на Киев поляки отбили. 5 июня Егоров пустил в дело Первую Конную. Польская пехота не устояла перед натиском конных лав. Уже 9 июля возникла перспектива «Киевских Канн» – окружения Третьей Польской армии. Этого не произошло из-за

не слишком грамотных действий фронтового командования, а также Ворошилова и Буденного; тем не менее поляки буквально пустились наутек. К 20 июня большевики контролировали всю территорию Украины. Одновременно на Северном участке Тухачевский перешел в наступление. Его силы теперь достигали 105 тысяч штыков и сабель, и он дополнительно получил 4-ю армию Е. Н. Сергеева, 3-ю армию В. С. Лазаревича и 3-й кавкорпус Т. Д. Гал. Эти войска были нацелены на Варшаву: советское командование считало, что поляки сломлены и не способны к серьезному сопротивлению. В Москве нарастало ликование. Карл Радек, подтягивая сползающие штаны, кричал: «Мы вспорем своими штыками Версальский договор!»²⁷

Политики все энергичнее давили на военное командование, чтобы кончить войну одним махом. Между тем, дух советских войск был не слишком высок: например, в 16-й армии между 14 мая и 15 июня было 24615 случаев дезертирства; согласно докладу командования, 40% были пойманы, а остальные передумали и вернулись²⁸ – во что, конечно, трудно поверить.

Для Пилсудского пришло время платить по векселям польского экспансионизма, которые он щедро раздавал, хватая все плохо лежавшие германские и русские земли. Немцы, повязанные Версальским договором, объявили нейтралитет, но это был просоветский нейтралитет. Кремлевские руководители любили поговорить о мировой революции, но реально занимались собирательством земель бывшей Российской империи. Над Польшей нависла угроза снова потерять независимость, которой страна была лишена более 120 лет. В Лондоне и Париже царили уныние и пессимизм. Полякам, прибывшим на заседание Верховного Совета Антанты, Ллойд-Джордж прочел длинную лекцию: поляки должны выкинуть из головы расширение территории путем завоеваний, отойти за реку Буг, отдать русским большую часть Галиции вме-

²⁷ Viktor S e r g e e. «Memoirs of a Revolutionary». London: Oxford University Press, 1963, p. 198.

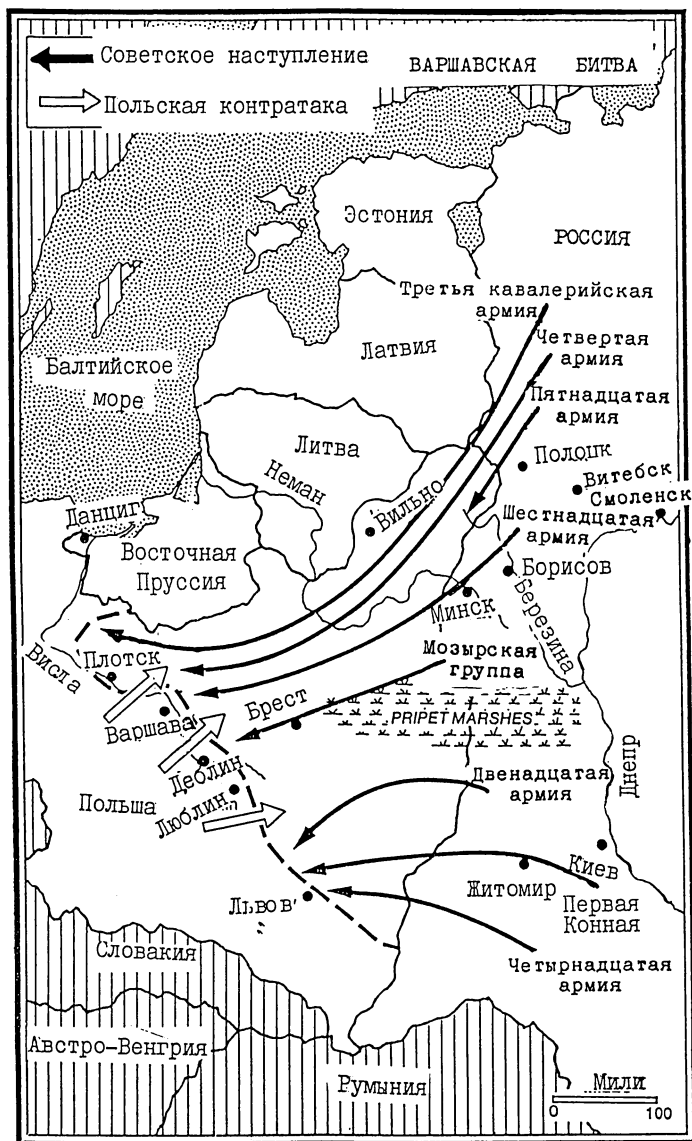
²⁸ E r i c k s o n, op. cit., p. 93.

сте со Львовом, наконец, предоставить Совету Антанты решить судьбу Данцига. В обмен на это Ллойд-Джордж обещал поддержку союзников. Военная миссия Антанты немедленно выехала в Варшаву.

Между тем, наступление войск Тухачевского, начавшееся 6 июля, набирало силу. Началось бегство поляков и на этом участке, где им грозило окружение. Красные войска легко форсировали Березину, заняли Вильно 14 июля, пересекли Неман и 1 августа овладели Брест-Литовском, а затем пошли дальше – на Малкин.

В Варшаве нарастал страх. Один Пилсудский сохранял надежду на успех. Бывший революционер, который, как и большевики, не гнушался грабежами, то бишь экспроприациями (однажды он захватил 3 млн. рублей, принадлежащих русскому казначейству), Пилсудский жил полной жизнью лишь в минуты опасности. Вот как описывает его лорд Д'Абернон, имевший возможность наблюдать польского маршала в решающие дни 1920-го года: «Записной скептик в отношении ортодоксальных методов, будь то в военном деле или в политике, он любит опасность, его пульс бьется с нормальной частотой только перед лицом непосредственной угрозы, в остальное время – сорок ударов в минуту. Внешность столь бьющая в глаза, что кажется почти театральной. В нем нет и следа от нормальных удобств цивилизованного общения»²⁹. Пилсудский был, разумеется, сильно обеспокоен быстротой советского продвижения (не менее 20 км в день), но видел также его слабость. Вместо сдавливающих клещей, наступление красных все более напоминало «удар растопыренной пятерней» (выражение Ленина). Уходил все дальше на юг Егоров, Тухачевский все более забирал к северу. Не один Пилсудский видел эту стратегическую слабину. Главком Сергей Каменев был крайне этим обеспокоен, однако мало что мог изменить. Егоров со товарищи пошли на Львов (им тоже хотелось большого успеха), но там и застряли. На это, кстати, была главная надежда Пилсудского: он убедительно про-

²⁹ Viscount D' A b e r n o n. «The Eighteenth Decisive Battle of the World». London: Hodder and Stoughton, 1931, p. 40.



сил коменданта Львовского района связать побольше советских сил и держаться как можно дольше. Для Пилсудского главный мотор красных была кавалерия, но в условиях подготовленной обороны ее эффективность сильно упала.

11 августа главком Каменев приказал Егорову снять Первую Конную из-под Львова и передать ее Тухачевскому, равно как 12-ю армию. Егоров, а особенно Сталин, оттянули выполнение этого приказа на 9 дней³⁰. Таким образом, прикрытия и поддержки с юга на своем левом фланге Тухачевский не получил (см. схему). Но это обстоятельство, хотя и выставлялось впоследствии как главная причина неудачи, было еще только полбеды.

Тухачевский планировал нанести удар на широком фронте по трем направлениям. Северная группировка (3-й кавалерийский корпус, 4-я и 15-я армии) обходили Варшаву с севера, одновременно перерезая коммуникации с Данцигом, откуда шло материальное снабжение из стран Антанты. На центральном участке 16-я армия переходила Вислу и окружала Варшаву с юга. Наконец, еще южнее Мозырская группа должна была двигаться в направлении Деблина. Замысел был впечатляющий и многообещающий. В нем была, однако, имманентная слабость. План исходил из неверного представления о противнике и его намерениях. Тухачевский ожидал от Пилсудского отчаянного сопротивления, но не массированного контрнаступления. В то время как на Западе кричащие заголовки предрекали неминуемое падение Варшавы («Таймс», 9 августа: «Большевики всего в 36 км от Варшавы»), Пилсудский готовил свой ответный удар. И не на юге (своем правом фланге), где Тухачевский опасался больше всего, а в центре, на участке 16-й армии.

До победы, казалось, рукой подать: войска изготовились к последнему броску, а в Вишкове Феликс Дзержинский, Юлиан Мархлевский и Феликс Кон впрок писали декреты польского пролетарского правительства. 16 августа войска Тухачевского вышли к Висле почти в виду Варшавы. В тот же день началось контрнаступление

³⁰ См. «Грани» № 134, стр. 220–223.

поляков. Войска, собранные Пилсудским, были оснащены разношерстным оружием, не всегда обуты: так, в 21-й дивизии половина личного состава вышла на парад босиком³¹.

Самое удивительное для поляков было то, что в первый день они углубились за линию фронта на 30 км и не встретили советских войск. Только через два дня после начала наступления Тухачевский узнал от командира 16-й армии, что тот атакован с тыла. Тухачевский немедленно приказал начать стратегический отход. Было, однако, поздно: управление войсками было потеряно, красноармейцы бежали во всю прыть, спасая свою жизнь. 60 тысяч резерва нельзя было ввести в дело из-за краха системы транспорта. Четвертая армия красных утратила связь с центром и попала в окружение. Глубокий фланговый маневр Тухачевского обернулся потерей взаимодействия между армиями. 20 августа Буденный ушел из-под Львова и двинулся в направлении Замостья. Но теперь толку от этого было мало. Поляки к этому времени пронизали западный фронт красных и двигались на восток, отрезая пути к отступлению. Войска Егорова тоже ощутили на себе силу польского контрудара. Пилсудский был счастлив, когда ему принесли запись радиogramмы командующего 12-й армией, посланной открытым текстом: «Где мои дивизии?» Первая Конная отступила с тяжелыми потерями, едва избежав окружения. Красные войска очищали территорию Польши еще быстрее, чем совсем недавно захватывали ее. На северном участке генерал Сикорский теснил отчаянно сопротивлявшийся корпус Гая до тех пор, пока красным не пришлось искать убежища в Восточной Пруссии, где они были интернированы – около 30 тысяч человек. 26 сентября поляки заняли Гродно.

Общие потери красных достигли 150000 человек, из них около половины убитыми. В руки поляков попало 230 орудий, 1000 пулеметов, 10000 вагонов боеприпасов и предметов снабжения. Поражение было полным, и крас-

³¹ Josef P i l s u d s k i. «L'annee 1920». Paris: Renaissance du Livre, 1929, p. 119. Цит. по: Thos. Butson. «The Tsar's Lieutenant, The Soviet Marshal». New York: Praeger, 1984, p. 106.

ные поспешили заключить перемирие. По Рижскому договору они уступили Варшаве Западную Украину и Западную Белоруссию.

Битва за Варшаву со всеми ее драматическими поворотами произвела огромное впечатление на современников. «Чудо на Висле» был расхожий термин тех лет, лорд Д'Абернон назвал это сражение восемнадцатой решающей битвой в мировой истории – в одном ряду с Каннами и Ватерлоо. Западная пресса кричала, что поляки спасли Европу от нашествия азиатских орд. Военно-политические последствия для обеих сторон были долговременными и резко отрицательными. Поляки всерьез поверили, что они обладают мощной современной армией, способной защитить страну от любого противника. В этом убеждении они вели довольно задиристую внешнюю политику, которая в конце концов привела к национальной катастрофе 1939 года. Русские, со своей стороны, считали Польшу серьезным военным противником – чуть ли не калибра Германии. На военной игре в Кремле осенью 1936 года противниками Красной Армии были объединенные германо-польские войска. Кремлевским стратегам не было никакого дела до того, что к этому времени отношения между Польшей и Германией были исключительно холодными, и самое большее, на что рассчитывал Гитлер, было иметь нейтральную Польшу в случае европейского конфликта.

В Москве долго не утихали споры и раздоры по поводу того, кто виноват в поражении. Первым, как водится, взял слово Ленин и напустил диалектического туману. Причины надо искать не в военных делах, а в стратегии и политике. Иными словами, мы просто поторопились, условия для мировой революции еще не созрели. Выходило, что винить некого, Ленина в том числе. В частном разговоре, однако, Ленин не удержался кольнуть Сталина-Егорова: «Ну кто же ходит на Варшаву через Львов?»³²

Тухачевский в книге «Поход за Вислу», не называя имен, пожаловался, что Юго-Западный фронт не помог

³² E r i c k s o n, op. cit., p. 99.

Западному в решающий момент. Его друг Триандафиллов возложил основную вину на главкома, частично – на Юго-Западный фронт³³. Б. М. Шапошников нашел у Тухачевского немало ошибок, однако главную проблему видел в том, что красные войска были недостаточно сильны³⁴. А. А. Свечин пошел еще дальше: выступление против «сил и ресурсов всей Антанты» он считал авантюрой³⁵. Сталинцы долго отмалчивались, пока, наконец, в 1929 году Егоров не разразился книгой «Львов – Варшава». Там было недвусмысленно сказано: упрекать за неудачу Варшавской операции следует исключительно командные методы Москвы и Минска³⁶. Все понимали, что это мнение самого Сталина, а в 1929 году с ним уже не спорили. С 1937 года в советской военной историографии утвердился тезис о преступных действиях Троцкого (!) и Тухачевского, сорвавших взятие Варшавы. После реабилитации Тухачевского некоторое время возлагали всю вину на Сталина.

Что остается добавить? Трудно, почти невозможно на бумаге «переиграть» заново сражения прошлого. Вопрос о виновниках поражения чаще всего не находит решения. От действий Тухачевского в Варшавской операции остается двойственное ощущение. Смелость, даже дерзость замысла видны, спору нет, но нельзя также не заметить стратегической наивности, торопливости, даже безграмотности. Видимо, скачок от командира взвода до командующего фронтом не проходит даром.

* *

*

12 октября вступило в силу перемирие с поляками. Большевики могли теперь сосредоточиться на очередных задачах. Одна была – выбить Врангеля из Крыма, что

³³ См.: Н. Ф. Кузнецов. «Крушение последнего похода Антанты». М.: Госполитиздат, 1958, стр. 267.

³⁴ Там же, стр. 265.

³⁵ См. мою статью «Пророк в своем отечестве». – «Грани» № 132.

³⁶ См.: Н. Ф. Кузнецов. Ук. соч., стр. 267.

было поручено новому Южному фронту во главе с М. В. Фрунзе. Но были и другие – по стране то и дело вспыхивали восстания: население устало от голода, разрухи, военного коммунизма. Советская власть, которая в период борьбы с Колчаком и Деникиным охотно шла на временные альянсы с вождями таких восстаний – Махно, Григорьевым, Петлюрой – ныне была настроена непримиримо. Параллельно ужесточался режим даже в партии. Во время войны еще были возможны фракции и дискуссии, однако с ее окончанием в 1921 году была принята резолюция «О единстве партии», ставившая фракционеров вне закона.

В 1921 году гражданская война не окончилась, лишь изменились ее масштаб и характер. Вместо крупных противников советская власть теперь боролась с десятками мелких. Период подавления народных восстаний советские историки называют обычно «малой гражданской войной». В этой войне, как и в предшествующей ей большой, Тухачевскому суждено было сыграть ведущую роль.

Поначалу казалось, что варшавская неудача надолго затормозила его карьеру. И действительно, время шло, а он все сидел на посту командзапа, где не снискал себе лавров. Наконец, в марте о Тухачевском вспомнили. Ленин послал его в самую горячую и чувствительную точку – в Кронштадт.

Нет никаких сведений о том, как и почему состоялось назначение Тухачевского. Можно только предположить, что многие из командиров Красной Армии постарались бы уклониться от чести подавления матросского восстания. Ленин мог предположить, что проштрафившийся Тухачевский ухватится за шанс дать новый толчок своей карьере – и не ошибся.

Ленин и другие вожди придавали Кронштадту первостепенное жизненное значение. Тот факт, что самый насыщенный пролетариатом район России поднялся против большевиков, вызвал в Кремле смертельную тревогу. Питерские рабочие и кронштадтские матросы, самая надежная опора их власти, требовали перемен, которые для Ленина и компании были хуже политического самоубийства. Вот, например, какую речь произнес безвест-

ный рабочий на заседании Петроградского Совета 4 марта: «Едва три года назад Ленина, Зиновьева, Троцкого клеймили как германских шпионов. Мы, рабочие и матросы, пришли на помощь и спасли вас от правительства Керенского. Это мы привели вас к власти. Или вы забыли об этом? Теперь вы угрожаете нам мечом. Помните, вы играете с огнем. Вы повторяете просчеты и преступления правительства Керенского. Смотрите, как бы вас не постигла та же участь»³⁷.

Тухачевского вызвали на авансцену в критический момент, когда все попытки переговоров провалились. Ленин опасался, что Кронштадт и восстание на Тамбовщине могут вызвать волны по всей стране, волны, которые смоят большевиков. Поэтому накануне X съезда РКП(б) была срочно объявлена новая экономическая политика, включавшая свободу торговли и замену продразверстки продналогом. Успех нэпа, который был маневром, уступкой в э к о н о м и к е, но не в политике, во многом зависел от быстрой ликвидации кронштадтской вспышки. Ленин надеялся, что для большинства населения экономических поблажек будет достаточно, чтобы удержать его в повиновении. Кронштадтские моряки – другое дело, они предъявили политические претензии, и за это подлежали уничтожению.

Тухачевский получил назначение командующим 7-й армией с широкими полномочиями диктатора Петроградского района. В северной столице собрались политические и военные бонзы – Троцкий, Зиновьев, С. С. Каменев. Они хотели добиться быстрого успеха. 5 марта Троцкий предъявил восставшим ультиматум сроком 24 часа, после чего обещал перестрелять их, как фазанов. Срок ультиматума истек, и на рассвете 7 марта, за день до открытия X съезда, красные войска предприняли первую попытку захватить Кронштадт.

Чтобы читателю было легче разбираться в деталях обстановки, дадим краткое описание места действия. Крепость Кронштадт расположена на острове Котлин, в Финском заливе, всего в 20 км от Петрограда. Вокруг кре-

³⁷ Emma Goldman. «Living My Life». New York: Alfred A. Knopf, 1931, p. 879.

пости на скалистых островах разбросаны форты, имеющие в большинстве своем только номера, а также Тотлебен, Серая Лошадь и другие. На Северном берегу Финского залива находятся форты Сестрорецк и Лисий Нос, на южном – Ораниенбаум и Красная Горка. Все вместе форты и крепость создают для Петрограда мощный заслон со стороны моря. В руках восставших находились остров Котлин и номерные форты. В начале марта Финский залив еще покрыт льдом. Красным частям предстояла задача штурмовать крепость в пешем строю.

Первая атака красных принесла им одни огорчения. Красноармейцы и курсанты неохотно шли вперед – по льду под артобстрелом. Многие проваливались в широкие полыньи, вырытые снарядами, некоторые переходили на сторону восставших. К концу дня красные отступили, им удалось захватить только форт № 7.

Тухачевский понял, что наскоком Кронштадт не взять. Он потребовал пополнений и получил их: киргизы, башкирцы, 320 делегатов X съезда, изрядное число политработников. Прибыли видные командиры красных: Федько, Фабрициус, Седякин, Дыбенко, Путна.

Теперь Тухачевский решил подготовиться к штурму как следует. Но времени было в обрез – приближалась весна. Если лед растает, к штурму крепости придется привлечь флот, что сулило новые осложнения. Тухачевский обосновался в бывшем здании главного штаба на Дворцовой площади. Он затребовал планы Кронштадтской крепости и углубился в их изучение, ища слабое место.

Десять дней прошло от первого штурма до второго. За это время взбунтовались красноармейцы 27-й омской дивизии. Мятеж подавили, зачинщиков во главе с командиром одного из полков расстреляли. Перед смертью этот командир, бывший царский офицер, крикнул: «Годами я ждал этого момента, убийцы России, я вас ненавижу»³⁸. Дезертировали курсанты; матросы с судов, стоявших в Петрограде, грозили присоединиться к кронштадтцам.

Атака началась в ночь с 16 на 17 марта. Южной группой командовал Седякин, Северной – Казанский. Каждо-

³⁸ S e r g e, op. cit., p. 131.

му красноармейцу выдали двухдневный хлебный паек и две банки мясных консервов. Заградотряды Чека стояли за спиной атакующих.

Тухачевский действительно нашел ахиллесову пятую крепости. Это была военная гавань, покрытая льдом. Туда была нацелена 80-я бригада Дыбенко. Еще до рассвета она ворвалась в крепость; в районе гавани у Петроградских ворот завязались тяжелые уличные бои.

Утро 17 марта было солнечным. Атакующие в белых маскхалатах были хорошо видны на темном льду, они тащили с собой орудия. Артиллерийский огонь из крепости безжалостно косил их, но они шли вперед. К середине дня номерные форты были в руках красных, только Тотлебен держался до полуночи 18-го.

Внутри крепости ее защитники яростно контратаковали в 4 часа утра и едва не сбросили красных на лед. Но подоспевшие подкрепления спасли дело. К вечеру красные возобновили наступление, поддержанные прибывшей из Ораниенбаума конной артиллерией. Стало ясно, что у защитников больше нет шансов на успех. Многим – около 8000 – удалось уйти по льду в Финляндию. Остальных ждал плен.

Со многими из пленных расправились немедленно. Их выводили на лед и расстреливали из пулеметов. Впоследствии лед растаял и трупы ушли под воду. За пулеметами, из которых расстреливали, лежали курсанты, проштрафившиеся при штурме. Некоторые тут же, на месте, теряли рассудок³⁹. Нерасстрелянные пленные были сосланы. Всего пленных было 2500 человек.

Официально потери красных составили 700 убитых и 2800 раненых. Похоже, что цифры эти далеки от реальности. Американский консул в Выборге оценил потери красных в 10000 человек⁴⁰.

Тухачевский был доволен. Его командирская репутация была восстановлена. Кроме того, впервые в истории морская крепость была взята пехотой, атаковавшей по льду. Как свидетельствует его многолетний сослуживец Александр Типолт, уверенность в себе и спокойствие не

³⁹ Военный инженер Ц. Личное сообщение.

⁴⁰ B u t s o n, op. cit., p. 131.

покидали Тухачевского на протяжении всего кронштадтского эпизода⁴¹.

Тухачевский вернулся в Москву. Месяца не прошло, как он получил новое назначение – на подавление восстания Антонова. Согласно одному источнику⁴², Тухачевский буквально напросился, чтобы его послали на Тамбовщину. Он пожаловался С. И. Гусеву, что изнывает от безделья, тот посоветовал обратиться непосредственно к Ленину. Тухачевский так и сделал. Ленин предложил поехать на усмирение антоновского восстания, Тухачевский охотно согласился.

Троцкий приводит другую версию этого назначения. Инициатива исходила от Склянского: «Я бы считал желательным послать Тухачевского на подавление Тамбовского восстания. В последнее время там не было никакого улучшения, положение даже стало хуже. Это назначение должно произвести сильный политический эффект. Особенно за границей. Ваше мнение?» Резолюция рукой Ленина: «Передать Молотову для П/бюро на завтра. Я рекомендую назначить его без оглашения в Центре – без опубликования в газетах»⁴³. Видимо, весной 1921 года у Тухачевского была международная репутация душителя восстаний. Кстати, приводимая Троцким переписка не исключает возможности разговора Тухачевского с любимым вождем.

С военной точки зрения, события на Тамбовщине не представляют ничего особенного. Политическая картина этого восстания увела бы нас далеко за рамки очерка. Ограничимся поэтому короткой сводкой.

Тухачевский действовал на Тамбовщине, недалеко от своих родных мест, умело и энергично. Плохо вооруженные тамбовские крестьяне не выдержали натиска регулярных частей Красной Армии. Что, в самом деле, могли сделать крестьянские отряды, где винтовка была одна на несколько человек, против ударной группы Уборевича:

⁴¹ Н и к у л и н. Ук. соч., стр. 136 – 137.

⁴² А. И. Т о д о р с к и й. «Маршал Тухачевский». М.: Политиздат, 1963, стр. 71.

⁴³ L e o n T r o t s k y. «Trotsky Papers», II. The Hague and Paris: Monton, 1971, pp. 461 – 462.

14-я кавбригада (1000 сабель при двух орудиях), кавбригада Котовского и три бронепоезда. Тем более, их постоянно призывали сдаваться, обещая полное прощение. У нас никаких сведений о том, как выполнялось это обещание. Зато хорошо известно, что, кроме политических пряников, в ход то и дело пускался чекистско-армейский кнут. Особенно лютовали красные в деревнях, которые считались базами антоновцев. Проводились повальные обыски. Главу дома, где находили оружие, расстреливали, членов семьи отправляли в концлагерь. Иногда под арест сажали все мужское население деревни⁴⁴.

К середине июля под началом Антонова, постоянно находившегося в бегах, оставалось немногим более 2000 человек – это от двух повстанческих армий, численность которых доходила до 50 тысяч⁴⁵. Тухачевский рапортовал Ленину, что дело сделано, однако настаивал на сильном военном присутствии на Тамбовщине.

Победой над тамбовскими мужиками завершилась для Тухачевского гражданская война и боевая деятельность: он больше никогда не участвовал в военных действиях. Уместно поэтому сказать несколько слов о его полководческой деятельности. В нем было много качеств, делающих хорошего командира: смелость, твердость, умение сохранять спокойствие в боевой обстановке, уверенность в себе, жажда отличий. По мнению многих, он был прирожденный оператор. Были, однако, в Тухачевском черты, не дававшие ему стать большим полководцем. Слишком часто полагался он только на свои оценки, забывая об ограниченности своего командирского опыта. Нельзя также забывать, что Тухачевский получил образование, достаточное для поручика, но не для генерала. Он мало интересовался военной историей. Отсюда поразительная стратегическая незрелость Тухачевского; и это при том, что он постоянно думал о стратегии, это была излюбленная пища его ума. Гражданская война осталась

⁴⁴ Seth S i n g l t o n. «The Tambov Revolt». – «Slavik Review», 25 (Sept. 1966), pp. 497 – 512.

⁴⁵ Агония восстания продолжалась еще долго. 22 июня 1922 г. Александр Антонов с братом Дмитрием были окружены в глухом селе Нижний Ширяй и погибли в перестрелке.

для него главной, даже единственной школой полководческого искусства. Тухачевский свято верил, что в будущей войне все будет, как в гражданской, только при большей насыщенности войск техникой. Тухачевский не любил обороны и не знал в ней толку.

Субъективно, однако, он ощущал стратегию своим призванием, и окружающие часто были того же мнения.

* *
*

После триумфального возвращения с Тамбовщины положение Тухачевского на верхнем этаже военного руководства стало необыкновенно прочным. Ему было всего 28 лет. Сначала его назначают начальником Военной академии (впоследствии – имени Фрунзе). Человека с образованием младшего офицера поставили во главе главного военного учебного заведения Советского Союза. В его подчинении находились многие генералы и полковники бывшего Генштаба: А. И. Верховский, А. А. Свечин, И. И. Вацетис и др. В это время в Москве окрепла дружба Тухачевского с М. В. Фрунзе, которому предстояло – ненадолго – возглавить Красную Армию. В дискуссии о единой военной доктрине Тухачевского почти не слышно; похоже, он лишь помогал готовить выступления Фрунзе.

В то время, как в 1923-24 году триумвират Зиновьев – Сталин – Каменев вел борьбу против Троцкого, Тухачевский находился в Смоленске на посту командующего Западным военным округом. Он был одним из тех, кто стоял у колыбели советско-германского военного сотрудничества, завязавшегося после заключения Рапалльского договора; есть сведения, что он посетил Берлин в это время⁴⁶.

Постепенно сторонники Зиновьева и Сталина получали все больше власти в РККА. 30 октября 1923 года в РВС СССР ввели М. М. Лашевича и К. Е. Ворошилова, 17 января 1924 года А. С. Бубнов сменил В. А. Антонова-

⁴⁶ Otto Preston Chaney, Jr., «Zhukov». Newton Abott: David and Charles, 1972, p. 14.

Овсеенко на посту начальника Политуправления. Главная цель была, конечно, вытеснить Троцкого из армии, но выполнялось это методично, по этапам; видимо, приходилось считаться с его популярностью в большевистской среде. Со смертью Ленина политические шансы Троцкого изрядно поблекли. Однако его не убрали тотчас же, чтобы сохранить видимость единства. Но 21 марта первый заместитель Троцкого по военному ведомству Э. М. Склянский был выведен из состава РВС. Его заменил М. В. Фрунзе, в руках которого оказалось административное руководство РККА. Фрунзе, энергичный и самостоятельно мыслящий деятель, был человеком Зиновьева. Для Сталина его назначение было равносильно засылке троянского коня в крепость Троцкого.

Фрунзе, как и полагалось большевику, начал с кадров. Одна из этих перемен задела Тухачевского. В июле 1924 года он был переведен в Москву на должность заместителя начальника Штаба республики. Вскоре он сменил П. П. Лебедева на посту начальника Штаба.

Фрунзе и Тухачевский стали неразлучны. В этот тесный круг входил также В. И. Куйбышев. Они довольно часто встречались за бутылкой водки, порой к ним заглядывал Сталин⁴⁷.

За плечами Тухачевского не было никакого опыта штабной работы, но теперь он оказался во главе главного штаба страны – ситуация вполне для тех лет обычная. К методичной штабной деятельности у Тухачевского не было никакого влечения. И все-таки он работает чрезвычайно активно. Он занимается Временным уставом полевой службы, покровительствует молодым военным теоретикам, разрабатывающим новую оперативную доктрину, участвует в советско-германском сотрудничестве. С 1922 года на протяжении более 10 лет оно осуществлялось очень широко. Советские командиры ездили учиться в германскую Академию Генштаба – Якир, Уборевич, Эйдеман, Тимошенко, сам Тухачевский, ряд других. С 1925 года немцы постоянно присутствовали на советских маневрах, в то время как русские получили возможность

⁴⁷ Лидия Н о р д. «Маршал М. Н. Тухачевский». Париж: «Лев», 1978, стр. 30 – 37.

наблюдать за военной подготовкой Рейхсвера. Но главным выигрышем для немцев была возможность обучать и тренировать своих офицеров на советской территории – в обход стеснительных статей Версальского договора: для них в Казани открыли танковую школу, а в Харькове – летную. Совместные учения проводились вблизи Киева и Липецка, а также в Восточной Пруссии. Наконец, фирма «Юнкерс» построила авиационный завод в Филях под Москвой⁴⁸.

26 января 1925 г. Троцкий ушел с поста Председателя РВС СССР и был заменен Фрунзе. Это событие, однако, совпало с новым поворотом во внутрипартийной борьбе. Изолировав Троцкого, Сталин решил ударить по своим недавним союзникам Зиновьеву и Каменеву. Этот эпизод окончился грандиозной потасовкой на XIV съезде, где Сталин победил. Но еще раньше он решил, что пора иметь своего человека во главе армии. Началась охота за Фрунзе. В течение июля 1925 года он дважды попадал в автомобильные катастрофы⁴⁹. Когда это не помогло, применили медицину. Фрунзе страдал от язвы желудка, но именно летом 1925 года консервативное лечение дало ему заметное облегчение. Он уехал на отдых в Мухоматку в Крыму и окреп настолько, что смог выезжать на охоту. Отдыхавшие вместе с ним Сталин, Ворошилов и Шкирятов относились к нему как к тяжелобольному и постоянно твердили о необходимости операции. Личного врача Фрунзе Мандрыку удалили, заменив докторами Розановым и Касаткиным. Они высказались в пользу операции. Фрунзе вернулся в Москву, где консилиум из 17 специалистов подтвердил необходимость идти под нож. 31 октября он нехотя лег на операцию. Во время операции хирурги обнаружили, что язва у Фрунзе уже зарубцевалась, но слабое сердце наркома не выдержало общего наркоза, и он умер на операционном столе.

На радостях Сталин закатил грандиозные похороны. Мимо гроба Фрунзе, поставленного рядом с мавзолеем

⁴⁸ Walter G o e r l i t z. «History of the German General Staff 1657 – 1945». New York: Praeger, 1953, p. 232.

⁴⁹ Об этом сообщил не кто иной... как К. Е. Ворошилов. См. его статью «Памяти дорогого друга Михаила Васильевича Фрунзе» («Правда», 11 ноября 1925 г.).

Ленина, прошло 250 тысяч человек. Тридцатитысячное войско было выстроено на Красной площади. Но самой удивительной была речь Сталина, достойная пера Шекспира: «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и просто спускались в могилу...»⁵⁰

В кабинете Фрунзе утвердился К. Е. Ворошилов. Тухачевский предпочел бы иметь своим шефом кого-нибудь другого, например Орджоникидзе, о чем неосторожно высказался во время похорон. Отношения с Ворошиловым с самого начала были натянутыми. У них возникли разногласия по поводу Устава полевой службы. Ворошилову хотелось иметь на посту начштаба кого-нибудь из своих, однако по неясным причинам Тухачевский задержался там на два с лишним года.

В середине 20-х годов Тухачевский был видной и колоритной фигурой в Москве. Рослый, с породистым лицом, он следил за своей наружностью и был всегда одет с иголочки. Тухачевский нравился женщинам, его амурные похождения не прекращались. Он обладал изрядной физической силой и постоянно упражнялся. Он легко поднимал за ножку стул вместе с сидящим на нем человеком. Говорили даже, что сидя в седле, он способен был подтянуться на турнике вместе с конем. Тухачевский сделался заметен в культурной жизни. Это было принято у новых правителей – меценатство, тем более что платили не своими деньгами, а казенными. Ворошилов с Буденным торчали за кулисами Большого, чекисты Артузов и Ягода взяли под свое покровительство драматические театры, Тухачевский избрал музыкальное искусство. Интерес к музыке был с детства, из семьи. Он был скрипачом-дилетантом, занимался изготовлением скрипок, и достиг в этом деле успехов, но трудно сказать, насколько правдивы отзывы современников. Ему нравилось бывать на концертах и особенно брать под покровительство молодых музыкантов. В этом стремлении было что-то от барских причуд, и один из его протеже, Д. Д. Шостакович, это заметил: «Тухачевский был очень амбициозной и властной личностью. Этими чертами он напоминал

⁵⁰ «Правда», 5 ноября 1925 г.

Мейерхольда, который обожал военные маскарады. Это была слабость Мейерхольда, скажем так. Слабостью Тухачевского было искусство. Мейерхольд выглядел в форме глупо, но на многих это производило впечатление. Тухачевский выглядел столь же глупо, когда брался за свою скрипку, но многие были очарованы»⁵¹.

Но, конечно, главное в жизни Тухачевского была армия. Именно состояние армии, ее боеспособность внушали ему тревогу. Красная Армия была скверно вооружена, стрелковое оружие было разношерстным, к нему часто не было патронов. Численность военной техники – танков, самолетов, автомобилей – была ничтожной. В 1927 году Тухачевский написал докладную записку в ЦК. Он говорил в ней о необходимости создать техническую базу для вооружения армии – особую оборонную промышленность. Надо отметить, что в это время руководящие большевики мыслили другими категориями. Сталину было не до того – шла смертельная схватка с оппозицией. Поэтому о докладной записке он отозвался лаконично: «Ахинея». (В 1930 году Тухачевский написал о том же в другой раз. Сталин отреагировал так же: «Это курс на милитаризацию страны – ни один марксист в здравом уме на это не пойдет».) Тухачевский принял все это близко к сердцу. Он сказал: «Либо я не понимаю общей политической линии, либо меня не понимают – в обоих случаях оставаться на посту начальника Штаба РККА невозможно». Ворошилов не без удовольствия принял отставку. Тухачевский поехал в Ленинград командовать округом.

* *
*

Пребывание Тухачевского в Ленинграде ничем особенным не ознаменовалось. Разве что не слишком достойным поведением после ареста в 1930 году группы бывших царских офицеров. Мне уже довелось писать об этом⁵².

⁵¹ Shostakovich, op. cit., pp. 96 – 97.

⁵² См. «Грани» № 132, стр. 251 – 255.

Летом того же года на XVI съезде партии зазвучали речи о необходимости милитаризации экономики. (А ведь Сталин только что отверг – во второй раз – записку Тухачевского.) И говорили таковые речи не только технопоклонники, вроде руководителя судостроения Р. Муклевича, но и Ворошилов. Под Москвой провели большие маневры с участием единственной механизированной бригады, чтобы продемонстрировать Сталину и другим членам Политбюро действия танков. Партийному руководству усиленно внушали, что пришла пора оснастить Красную Армию современным вооружением, при этом указывали на начавшуюся механизацию иностранных армий. Это заявление дало плоды. Наиболее заметным сигналом, что начинаются перемены, было возвращение Тухачевского в Москву – заместителем Наркома и Начальником вооружений РККА. Начался самый плодотворный период в деятельности Тухачевского.

По его инициативе был создан координационный орган по разработке и внедрению новой боевой техники – Остехбюро (Особое техническое бюро), где работали выдающиеся инженеры Л. В. Курчевский, В. И. Бекаури, Н. Э. Лангемак, П. И. Граховский и другие. Успехи в создании боевой техники были впечатляющими. Машины Туполева совершили несколько рекордных перелетов, приковавших внимание всего мира, – в их числе через Северный полюс на американский материк. Советская бронетанковая техника, почти не существовавшая в 20-х годах, бурно прогрессировала. Венцом ее развития была «тридцатьчетверка» – танк, которому почти не было равных до конца второй мировой войны. Пионерскими достижениями увенчались работы в таких новых областях, как радиолокация и реактивное оружие. Этим успехам во многом способствовали Тухачевский, Алкснис, Халепский и их сотрудники. Они не только по достоинству оценили поиски таких блестящих конструкторов, как Туполев, Поликарпов, Ильюшин (авиация); Дегтярев, Токарев (стрелковое оружие); Котов (танкостроение); Лангемак, Победоносцев (реактивные снаряды – прототип «катюши»); Цандлер, Королев (ракеты); они еще сумели создать им сносные условия для работы, что было делом совсем нелегким.

Наряду с этим шло развитие военной теории. Наиболее заметные результаты обозначились в области тактики и оперативного искусства. Здесь советская школа шла ногу со всей Европой, порой опережая ее. Венцом этого периода стала теория «глубокой операции». Ее основы («последовательные операции») заложили в 20-х годах Тухачевский, Н. Н. Мовчин, Н. Е. Варфоломеев, В. К. Триандафиллов, Б. К. Калиновский (два последних погибли в 1921 году в авиационной катастрофе). Дальнейшую разработку взяла на себя группа способных и напористых теоретиков во главе с Г. С. Иссерсоном.

Иссерсон очень красочно изображает существо «глубокой операции»: «...от изнурительного, ползучего, последовательного преодоления огневого сопротивления по расчленениям, по этапам и по частям мы переходим к одновременному сковыванию всей тактической глубины и подавлению и одним одновременным всеподавляющим воздействием ломаем, проламываем и уничтожаем противостоящее сопротивление. Тем самым решается вопрос преодоления огневого фронта во всей его глубине⁵³».

Цель, однако, не достигается с помощью одного удара или сражения. Операции будут **м н о г о а к т н ы м и**. Они превратятся в планомерную последовательность глубоких ударов. Победит тот, кто в кульминационный момент боины окажется сильнее и организованнее:

«...наступление должно уподобиться целому ряду волн, с нарастающей силой набегающих на берег, чтобы размыть и сокрушить его непрерывными ударами из глубины».

«Современная многоактная глубокая операция не решается одним современным ударом совпадающих усилий. Она требует глубокого оперативного наслоения этих усилий, возрастающих по мере приближения к высшему пункту достижения победы»⁵⁴.

⁵³ «Военная мысль», 1937, № 1.

⁵⁴ Г. И с с е р с о н. «Эволюция оперативного искусства». М., 1937. Цит. по: «Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917 – 1940)». М., 1965, стр. 396-399.

Легко заметить, что в изложенной композиции не оставлено места искусству, умению, стремлению перехитрить противника, застать его врасплох. «В основе военных действий лежит разум», – сказал некогда Клаузевиц. Здесь во главу угла поставлены мощь, воля, организация, целеустремленность. Цель – фактическое подавление и буквальное уничтожение противника. Метод – запрограммированная серия сокрушающих фронтальных ударов. В этом «море борьбы» победителем окажется тот, чей лоб и кулак крепче.

Было бы, однако, неверно рассматривать теорию «глубокой операции» как простую апологию механизированного насилия. Она действительно в концентрированном виде выразила тенденции военной мысли тридцатых годов.

Сходным образом мыслили немцы, готовясь к своим завоеваниям. Оглядываясь на три десятилетия назад, Иссерсон жаловался, что Гудериан в 1936 году провозгласил такой же метод танкового прорыва заблаговременной обороны, какой советские теоретики выдвинули в 1932-33 годах. Это близко к истине, но куда важнее приоритета другое. Методы «глубокой операции» обильно применялись во второй мировой войне. Они давали отдельные оперативные плоды, но цена, как правило, оказывалась чрезмерной и наступала расплата в виде стратегического истощения. Стоит добавить, что вопросам стратегической обороны практически не уделяли внимания, ибо по-прежнему партийная установка была «воевать малой кровью на чужой территории».

В начале 30-х Тухачевский круто пошел в гору. Казалось, Сталин забыл варшавский эпизод и другие шероховатости. Действительно, награды и отличия так и сыпались на голову Тухачевского: 21 января 1933 года – орден Ленина, 7 ноября принимает парад на Красной площади, что обычно делает Нарком; в 1934 году выступает на XVII съезде и становится кандидатом в члены ЦК; в ноябре 1935 года Тухачевский – один из пяти первых маршалов Советского Союза. В феврале 1936 Тухачевский поехал в Лондон представлять СССР на похоронах короля Георга V. Визит прошел с успехом: англичанам понра-

вился статный сорокалетний маршал. Произвел впечатление советский фильм о высадке массового – 1 000 человек – парашютного десанта на маневрах под Киевом, а ведь десантные войска были любимым детищем Тухачевского. На обратном пути – остановка в Париже, где в беседе с начальником французского генштаба генералом Гамеленом Тухачевский говорил о нарастающей германской опасности⁵⁵. Наконец, по возвращении в Москву Тухачевский был назначен первым заместителем Наркома обороны. Фактически он стал административным руководителем Наркомата. Тухачевский становится серьезнее, он впервые начинает понимать значение обороны. На военных играх в ноябре 1936 года, происходивших при участии членов Политбюро, предложенный им план включал нападение Германии без объявления войны (150 – 200 дивизий) и неудачи советских войск в начальный период войны. Сталину этот вариант не понравился: «Вы что, советскую власть запугать хотите?» Игры пошли по плану Егорова: нападение девяноста германских и двадцати польских дивизий, СССР выставляет на границе 60 дивизий, потом еще сорок. Через две-три недели Красная Армия наносит сокрушительный контрудар и переносит военные действия в Польшу. В Польше и Германии вспыхивают восстания против фашистских правительств. «Если завтра война, если завтра в поход...»

Тухачевский повзрослел в военных вопросах, но не замечал перемен, надвигавшихся со всех сторон. После убийства Кирова сталинско-ежовская команда полным ходом готовила государственный переворот. 4 мая 1935 года Сталин произносит речь на кремлевском банкете в честь выпускников военных академий. Начав с заявления о собственном бесстрашии (были-де товарищи, грозившие нам пулями), он затем рассказывал выдуманную к случаю историю из своего сибирского прошлого. На сплаве леса пропал человек, и когда Сталин спросил, что с ним, один лесоруб ответил, мол, утонул, и заторопился поить кобылу. «На мой упрек, что они скотину жалеют

⁵⁵ Еще в 1935 году в работе «Военные планы нынешней Германии» Тухачевский предупреждал, что Германия идет к войне.

больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: «Что же нам жалеть их, людей-то? Людей мы завсегда сделать можем. А вот кобылу... Попробуй-ка сделать кобылу». Сталин призвал бережно относиться к людям (лошадей к этому времени в СССР почти не осталось): «Если наша армия будет иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, она будет непобедима». Эта отеческая забота была не к добру.

В 1936 году с началом политических процессов пошли аресты военных. Интересно, что Тухачевский никогда ни за кого не хлопотал (Якир это делал, безуспешно, но пытался). Уже на августовском суде было немало тревожных сигналов. На скамье подсудимых сидел И. Н. Смирнов, бывший член РВС 5-й армии. Среди других военных имен назвали Путну.

На январском процессе 1937 года Карл Радек прямо упомянул фамилию Тухачевского. Вышинский сделал вид, что не слышит. Встревоженный маршал кинулся к Сталину, после чего Вышинский получил указание обелить Тухачевского. В тот же день на вечернем заседании он спросил Радека: «А Тухачевский?» – Радек: «Тухачевский никогда не имел отношения к нашим делам... Тухачевский – человек, абсолютно преданный партии и правительству». Дело оборачивалось крайне скверно. Вышинский добился, что маршал получил аттестат благонадежности от врага народа Радека. Но сказать было нечего.

Примерно в эти дни к Тухачевскому пришел боевой товарищ и многолетний сослуживец комкор Б. М. Фельдман: «Разве ты не видишь, куда идет дело? Он нас всех передушит поодиночке. Нужно действовать». – «То, что ты предлагаешь – это государственный переворот. Я на это не пойду»⁵⁶.

С конца 1936 года НКВД деятельно вел подготовку к судебному процессу военной верхушки. После проведения этого процесса, в июне 1937 года, началось массовое избиение комсостава РККА. Отвечать на вопрос, к а к

⁵⁶ Фельдман поехал в Киев к Якиру – исход был такой же. Этот эпизод известен со слов вдовы командарма С. Л. Якир.

и почему это было сделано, в рамках биографического очерка – дело безнадежное⁵⁷. Остается лишь перечислить события.

11 мая 1937 года было объявлено о серьезной перетряске в верхушке армии. Наиболее важными были два перемещения: Якир из Киевского округа был переведен в Ленинградский, Тухачевский отрешался от должности заместителя наркома и ехал командовать захолустным Приволжским округом. К этому времени Путна и Корк были арестованы. Тухачевский был глубоко встревожен, но похоже, не совсем понимал, куда идет дело. 22 мая взяли Эйдемана, 25-го – Фельдмана. 26 мая Тухачевский приехал в Самару, в тот же день по вызову секретаря П. П. Постышева он отправился в крайком, где и был арестован. Последние участники процесса Уборевич, Примаков и Якир были схвачены в последних числах мая; 31-го застрелился Гамарник.

С 1 по 4 июня заседал Военный Совет при наркомате Обороны (об этом объявили только 12-го). Ворошилов сделал доклад, потом восемьдесят высших чинов РККА долго томились в ожидании Сталина. Наконец, он появился. Он бегал вокруг стола и кричал о восьми предателях и «ушедшем от суда Гамарнике». Красные командиры, не веря в измену своих товарищей по оружию, молчали. Один М. Н. Дубовой на вопрос Сталина о виновности Якира, ответил, что надо еще разобраться. «Так ты не вэришь?» – сказал Сталин. При выходе из зала заседаний Дубового схватили.

Суд состоялся 11 июня 1937 года в здании Главной военной прокуратуры на Никольской улице – на левой, считая от Кремля, стороне, за аптекой Феррейна. Подсудимых было восемь: А. И. Корк, В. М. Примаков, В. К. Путна, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Б. М. Фельдман, Р. П. Эйдеман, И. Э. Якир. Они обвинялись «в нарушении воинского долга (присяги), измене родине, измене народам СССР, измене РККА». Председательствовал

⁵⁷ Ю. Алексеев и я попытались это сделать в книге «Измена Родине. Очерки из истории РККА 1918 – 1938». Ее английский перевод может выйти в свет в этом году в издательстве Duke University Press.

знаменитый В. В. Ульрих. Членов суда было тоже восемь, все военные: Я. И. Алкснис, И. П. Белов, В. К. Блюхер, С. М. Буденный, Е. И. Горячев, П. Е. Дыбенко, Н. Д. Каширин, Б. М. Шапошников. Из судей лишь Шапошников и Буденный умерли своей смертью. Горячев застрелился в ожидании ареста, остальные были расстреляны.

Судоговорение не заняло много времени. Подсудимые не признали себя виновными. Якир пытался протестовать. Тухачевский отказался отвечать на вопросы, сидел, взявшись за голову. «Мне кажется, все это во сне», – только и сказал он кому-то из сидящих рядом. К 14 часам все было кончено. Приговор был для всех одинаковый – к высшей мере наказания. Осужденных увезли на Лубянку.

Якира расстреляли в тот же день (говорят, Ежов боялся, что Сталин передумает), остальных – на рассвете следующего дня. Тела вывезли на Ходынку, на место, где велись строительные работы. Выставили оцепление из красноармейцев. Трупы завалили в траншею, засыпали негашеной известью, потом землей. Эта казнь щемяще напоминала другую, за 110 лет до этой: «Родным запретили взять тела повешенных: ночью кинули их в яму, засыпали негашеной известью и на следующий день все-народно благодарили Бога за то, что пролили кровь»⁵⁸.

Было и это. 12 июня газета «Известия» сообщила ПРИГОВОР СУДА – АКТ ГУМАННОСТИ. Потом заговорила интеллигенция. Народная артистка Тарасова сказала просто: «Изменников Родины постигла заслуженная кара». Академик Орбели был построже: «Истребление их – наш священный долг».

* *
*

После уничтожения группы Якира-Тухачевского армию не оставили в покое. Напротив, июньский процесс стал отправной точкой: началась вакханалия репрессий

⁵⁸ М. Л у н и н. «Разбор».

в РККА. Эти аресты и расстрелы были важной частью государственного переворота, который произвели в 1936-38 гг. Сталин и «младобольшевики». Они при этом забыли, что армия – не только инструмент в борьбе за власть, но еще и необходимый национальный институт. Они вырубили почти под корень командные кадры. Гитлер быстро сообразил, что на какое-то время Красная армия стала «колоссом на глиняных ногах без головы».

Можно по-разному оценивать репрессированных командиров, одно несомненно: с их уходом Красная армия была безмерно ослаблена. На смену агрессивным, честолюбивым, активным военным интеллигентам пришли посредственностями из армейского болота или музейные экспонаты времен гражданской войны. Достаточно взглянуть на тех, кто теперь стал делать погоду в армии: безликий служака Василевский; бездушный кочегар Жуков, готовый бросать в топку войны любое количество своих войск, лишь бы быть в глазах вождя решительным и непреклонным; вечно пьяный Тимошенко, который даже для парадов не годился. Маршалом и начальником вооружений РККА стал Г. И. Кулик, имя которого ничего не говорит большинству читателей. Его единственная квалификация состояла в том, что в Царицыне он командовал несколькими орудиями. Кулик был митрофан и фанфарон, неслыханный даже в советских условиях. Он на какое-то время остановил оснащение войск почти всеми видами новой техники. Только с началом войны карьера Кулика остановилась: его понизили сначала до генерал-майора, потом – до майора. Другие кореша Сталина продолжали в это время вершить судьбу войны. Летом сорок первого все три направления (группы фронтов) возглавляли конники: Тимошенко, Ворошилов и Буденный. Хорошо известно, чего они сумели достичь.

История, великий режиссер, вытолкнула Тухачевского на подмостки в разгар грандиозной драмы революции. Два десятилетия спустя она его бесцеремонно убрала – за минуту до поднятия занавеса мировой бойни. Ушел Тухачевский столь же шумно и внезапно, как и появился. В предвидении конца открылась перед ним страшная

правда его карьеры: чудовище, которому он пошел служить, теперь равнодушно его пожирало. Все подлости и сделки с совестью были совершены зазря. Говорят, перед арестом он пожаловался сестре: «Жаль, что в детстве мне не купили скрипку, – я бы сделался скрипачом». Какая ирония! Знавшие Тухачевского отмечали, что он, похоже, был неспособен овладеть скрипкой.

Нью-Йорк, 18 сентября 1985 г.



Чудеса и трагедии черного ящика

Что происходит с парапсихологией в СССР

ОТ РЕДАКЦИИ. Сколько я себя помню, в советской науке всегда что-то было под запретом, кого-то публично изобличали в научных ошибках, чьи-то имена замалчивались. В дни моей молодости была разгромлена и запрещена наука о поведении ребенка – педология, потом антинаучными объявлялись поочередно теория относительности Альберта Эйнштейна, парамагнитный резонанс, формальная генетика. Даже люди весьма далекие от науки знали в сталинские времена, что в языковедении орудовал академик с подозрительной иностранной фамилией Марр, а в физиологии что-то портил академик Орбели. Общеизвестно было и то, что кибернетика – гнусная выдумка буржуазных мракобесов, равно как и парапсихология.

В начале 60-х наваждение это стало рассеиваться. В университетах студентам стали читать курс генетики, академик Марр оказался великим лингвистом и гордостью советской науки, равно как и погибший в сталинской тюрьме от голода генетик Николай Вавилов. И с Орбели, и с кибернетикой все также повернулось на сто восемьдесят градусов. Тут-то мы услышали и о п а р а п с и х о л о г и и, которую при Сталине нельзя было даже упоминать. Об удивительной этой области знания стали писать журналы и газеты. Вспоминается переполненный зал Дома журналистов в Москве, где проф. Бонгардт рассказывал, что в его лаборатории обследовали женщину, которая способна «видеть»... кожей рук. Она ладонями различала цвет листов бумаги, упрятанных в толстый картонный пакет. А в Центральном доме литераторов, в опять-таки до отказа переполненной комнате №8, актер Карл Николаев демонстрировал нам свою способность угадывать, какой предмет задумал другой человек, сидящий в той же комнате. В лекциях тех лет открыто говорилось о передаче мыслей на расстояние в несколько тысяч

километров. Был снят фильм о «чудотворце», который, не прикасаясь к спичечному коробку руками, таинственной силой поднимал его в воздух и «держал» этот коробок в пустом пространстве между раздвинутых ладоней. Короче, мир оказался значительно более интересным, разнообразным, а главное совсем не таким грубо материальным, как нам до того объясняли.

Конечно, и в оттепельные 60-е говорить о всех этих запретных темах было не совсем безопасно. Из журнала «Знание — сила», где я тогда сотрудничал, цензура то и дело выбрасывала статьи, которые, по мнению цензоров, «противоречат материалистическому, марксистскому пониманию мира». В «Литгазете» проф. Китайгородский, по заказу идеологического начальства, клеймил парапсихологию как абсурд и псевдонауку. Однако серьезные ученые, с которыми приходилось в те годы беседовать, были убеждены, что пройдет немного времени и **н а у ч н ы е ф а к т ы** парапсихологии одолеют идеологическую болтовню безграмотных чиновников из отдела пропаганды ЦК. Уверенность в этом высказывал и мой добрый знакомый, академик физик Михаил Александрович Леонтович. Прошло 20 лет. Оттепель давно сменилась идеологическими морозами. Надежды тех, кто верил в свободное и независимое развитие науки в СССР, не сбылись. А что стало с парапсихологией? Об этом рассказывает в своей статье Лариса Виленская, парапсихолог, издающая в США журнал, посвященный этой области науки.

Марк Поповский

1. ТОЛЬКО ФАКТЫ

Летом 1978 года группа ученых провела в Институте радиотехники и электроники АН СССР серию опытов с Ниной Кулагиной. Ленинградка Кулагина давно была известна своими исключительными природными данными: в частности, она умела поднимать и поддерживать в воздухе предметы, не касаясь их руками. Новые опыты обнаружили у нее другую удивительную способность. Эксперимент номер один выглядел следующим образом. Лаборанту завязывали глаза, и он ложился на диван с обнаженной спиной. Несколько сотрудников подходили к нему и приближали к его спине свои руки. Лаборант не испытывал при этом никаких ощущений. Но когда к нему протянула руку Нина Кулагина, испытуемый немедленно

почувствовал жжение. Чтобы понять происхождение ожога, ведущий эксперимент член-корреспондент АН СССР физик Юрий Гуляев взял кусок обычного стекла и поместил его между рукой Кулагиной и спиной лаборанта. Жжение прекратилось. Тогда экспериментатор заметил простое стекло, не пропускающее ультрафиолетовых лучей, стеклом кварцевым, которое, как известно, ультрафиолет пропускает, и жжение снова возобновилось. Ни лаборант, ни Кулагина не знали о том, какими стеклами пользовался экспериментатор.

В следующем эксперименте ученые проверили способности Кулагиной к телекинезу. Академики радиотехник Владимир Котельников, радиофизик Юрий Кобзарев, математик Андрей Тихонов и физик Исаак Кикоин специальным актом подтвердили, что ленинградка действительно поддерживает в воздухе между расставленными ладонями не очень тяжелые предметы, не прикасаясь к ним руками. Оказалось также, что Кулагина может читать крупные цифры... затылком. Но и глазами, как выяснилось, видит она не так, как большинство людей. Когда Юрий Гуляев дал ей подержать свою записную книжку, она, не раскрывая ее, смогла назвать (и записать без ошибки) семь номеров телефонов, обозначенных на предпоследней странице книжки.

Затем опыты были перенесены в Институт химической физики АН СССР. Здесь Кулагиной вручили завернутую в черную бумагу запаянную пробирку. Пробирка содержала два реактива, которые способны вступить в реакцию при температуре 70 градусов по Цельсию. Ее спросили, может ли она поднять температуру в пробирке до нужного уровня, и она ответила, что попытается. И действительно, через четыре минуты, как показал анализ, половина находящихся в пробирке реактивов вступила в реакцию. По мнению ученых, эксперимент показал, что Кулагина подействовала на реактивы ультразвуком. Именно этим путем она вызвала химическую реакцию в пробирке.

Кулагина не единственный человек с подобными качествами. Ядерный физик академик Аркадий Мигдал и радиофизик академик Юрий Кобзарев с помощью новей-

шей измерительной аппаратуры обследовали и других носителей повышенного энергетического поля. В частности, они освидетельствовали жительницу Тбилиси Джуну Давиташвили. По специальности Джуна массажистка. Но, как подтвердили медики, ей удастся излечивать прикосновением такие серьезные болезни, как язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. Она успешно лечила также аденому простаты. Ходили слухи, что среди ее пациентов был, в частности, Брежнев.

Попытка разобраться в принципах лечения прикосновением, когда целитель передает своему пациенту какое-то количество неизвестной пока энергии, побудило группу исследователей из Лаборатории хроматографии Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева провести в 1979 году ряд опытов с известным в Москве целителем Владимиром Сафоновым. Сафонов, не будучи врачом, ставит диагноз болезни, проводя руками вдоль тела пациента и ощущая его биологическое поле. Эксперимент показал, что после диагностики состав воздуха, выдыхаемого пациентом и Сафоновым, меняется. У Сафонова увеличивается содержание углекислоты, а у пациента уменьшается. Опыты показали также, что в течение некоторого времени после сеанса биоэнергетические процессы в организме больного частично происходят за счет энергии, которую он получил от целителя.

Сафонов может ставить диагнозы по фотографии отсутствующего человека. Глядя на фотографию умершего, он способен определить, от какой болезни тот умер. Для этого он сначала смотрит на снимок, потом отворачивается и проводит руками по воздуху, как бы ощущая руками биополе этого человека и по его конфигурации делая вывод о заболевании. Очевидно, высокопоставленные советские чиновники с доверием отнеслись к этой способности московского целителя. Они попросили Сафонова, глядя на снимки китайских вождей, сделать заключение об их состоянии здоровья. По словам целителя, он успешно справился с заданием.

Способность В. Сафонова воздействовать своим силовым полем на других, исследовал в Институте психологии Академии педагогических наук доктор наук Ве-

ниамин Пушкин. Был проведен опыт, во время которого Сафонову предложили воздействовать на лаборанта, находящегося в соседней комнате. В момент энергетического воздействия у испытуемого измеряли реограмму (наполнение сосудов мозга кровью). Когда Сафонов, который не видел испытуемого, подействовал на определенные участки мозга лаборанта, у того наступил спазм сосудов, он ощутил сильное головокружение, так что в какой-то момент даже не мог устоять на ногах. Узнав об этом, Сафонов прервал опыт, несмотря на то, что профессор просил его продолжить свои воздействия на подопытного.

В заключение – три выписки из документов, подписанных весьма уважаемыми учеными именами. Первый документ, 14 апреля 1978 года, подписали академик Ю. Б. Кобзарев и заместитель председателя Всесоюзного совета научно-технических обществ Е. А. Пирогов.

«В настоящее время, – говорится в этом «Решении», – можно считать установленным, что в пространстве вокруг живых организмов... имеется физическое поле, природа которого еще не изучена наукой... Физическая реальность существования биополя... подтверждается рядом косвенных физических экспериментов, а также субъективными ощущениями многочисленных экспериментаторов, которые независимо друг от друга фиксировали наличие биополей вокруг живых организмов».

В письме к директору Института психологии Академии педагогических наук СССР В. Давыдову, помеченном 7 августа 1978 года, академик Ю. Кобзарев снова подтверждает:

«Я убедился, что явления, демонстрировавшиеся Н. С. Кулагиной («телекинез» – передвижение предметов без прикосновения к ним), Р. А. Кулешовой (чтение без помощи глаз) и Л. Корабельниковой (опознавание карт Зенера, находящихся в пакете из картона миллиметровой толщины), отнюдь не являются фокусами, а суть проявления необычных способностей человека. Это мое убеждение, основанное на результатах специально поставленных опытов, разделяется многими людьми, в том числе рядом профессоров и академиков».

И, наконец, еще одно заявление, достойное внимания. В сентябре 1978 года Ученый совет Института общей и педагогической психологии АПН СССР в своем решении заявил, что считает «парапсихологию наукой объективной. Все явления парапсихологии объективны и заслуживают изучения».

Таково мнение ученых. А как относятся к парапсихологии советские власти?

2. «ЧУДОТВОРЦЫ» В КАПКАНЕ

Нет, открыто советские власти не отвергали и не отрицали эти факты, хотя (по некоторым причинам, о которых речь пойдет ниже) всячески замалчивали их. Больше того, впервые за весь советский период в Большой советской энциклопедии появилась статья на эту тему (БСЭ, третье издание, том 19, стр. 192-193). В начале статьи, в тоне вполне академическом, авторы объясняют, что парапсихология есть «область исследований, изучающая в основном: 1) формы чувствительности, обеспечивающие способы приема информации, не объяснимые деятельностью известных органов чувств; 2) соответствующие формы воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без посредства мышечных усилий (желанием, мысленным усилием и т. п.)». Однако в конце статьи академическое спокойствие покинуло авторов и они завершили свой труд весьма резко: «...В том, что объединяется понятием ПАРАПСИХОЛОГИЯ, нужно различать, с одной стороны, мнимые, рекламируемые мистиками и шарлатанами «сверхъестественные» феномены, а с другой стороны — явления, реально существующие, но еще не получившие удовлетворительного научного, психологического и физического объяснения. Первые требуют разоблачения и демистификации. Изучение последних ведется в соответствующих научных учреждениях».

Последние строки появились в энциклопедии не случайно. Они писались в то самое время (1974 г.), когда по указанию КГБ был схвачен и осужден один из самых

страстных пропагандистов парапсихологии Эдуард Наумов. Дело Наумова – поучительная, сугубо советская история.

Первыми исследователями парапсихологии в Советском Союзе были не официальные ученые, а любители, люди, пожелавшие изучать эту область знаний, так сказать, на общественных началах. Рядовые врачи, физики, психологи, которых заинтересовала эта сфера, с огромным трудом создавали в начале 60-х общественные лаборатории, добивались у чиновников права читать лекции на эту тему и снимать фильмы, фиксирующие подлинность парапсихологических «чудес». Эдуард Наумов был активистом из активистов, целиком погруженным в область, которую изучал. Всю свою работу он проводил на общественных началах. И тем не менее он был схвачен после более чем десяти лет научно-пропагандистской деятельности и в марте 1974 года осужден на два года лагерей, якобы за «частно-предпринимательскую деятельность». В действительности его репрессировали за чтение лекций по парапсихологии и встречи с зарубежными учеными.

Христианский деятель в Москве Лев Регельсон опубликовал в те дни в Самиздате письмо, в котором, в частности, говорилось: «Кто такой Эдуард Наумов? Он переписывался с американскими парапсихологами начиная, по крайней мере, с 1962 года. В 1968 году он появился в качестве экспериментатора в фильме о ленинградке Кулагинной... Его обычно рассматривали... как заслуживающего внимания пропагандиста парапсихологии в Советском Союзе... Наумов не был диссидентом в политических или социальных вопросах, он не критиковал систему, не подписывал писем протеста... В течение многих лет он поддерживал свободные, личные, человеческие контакты со многими зарубежными учеными, контакты, которые не были санкционированы сверху; он... использовал полученные материалы для распространения информации по парапсихологии в СССР. По личной инициативе он организовал международные встречи и научные симпозиумы, стал членом международных обществ, представителем советской парапсихологии».

Дело Наумова вызвало широкий резонанс на Западе. Лондонская «Таймс» 18 ноября 1974 года поместила письмо в его защиту, подписанное всемирно известными писателями и учеными: Дж. Б. Пристли, Френсисом Хаксли, Робертом Харви и другими. Авторы прямо заявляли, что Наумова осудили за то, что он призывал к свободному и открытому изучению феноменов парапсихологии в единстве с иностранными учеными, «в то время, как по политическим причинам власти решили сконцентрировать исследования и публикации в руках официально уполномоченных и покладистых марионеток». Английские ученые и писатели призывали Москву пересмотреть обвинения, выдвинутые против ученого, и выпустить его из лагеря.

Трудно сказать, сыграли ли какую-то роль протесты иностранных ученых или в СССР сработал какой-нибудь иной политический механизм, но 9 апреля 1975 года Верховный суд РСФСР принял решение отменить приговор Наумова «за отсутствием в его действиях состава преступления». Однако преследование парапсихологов-одиночек этим не ограничилось. В те же годы была уволена с работы «за шарлатанство и чтение лекций, несовместимых со званием преподавателя», Варвара Михайловна Иванова. Она преподавала в Московском институте международных отношений, а в свободное время занималась исследованиями в общественной лаборатории. Одновременно с увольнением, по странному совпадению, закрыта была и эта лаборатория, так что Варвара Иванова со своими учениками, исследующими парапсихологические эффекты, осталась на улице. Группа эта и поныне не имеет угла и встречается в любое время года под открытым небом. Немыслимо перечислить все издевательства, которые В. Иванова терпит от властей. Вот уже десять лет, как какие-то темные личности срывают ее лекции, угрожают ей, распространяют о ней клевету, под фальшивым предлогом ее подвергли насильственному психиатрическому обследованию. Ее никуда не берут на работу.

Преследование независимых ученых продолжается. В номере от 9 октября 1979 года партийная газета «Советская Россия» опубликовала заметку о враче-психиатре

из Перми Владимире Крохалеве. Заметка называлась «Фотографирую мысли» и имела подзаголовок: «Как досужий вымысел пытались выдать за научное открытие». Оказывается, врач с Урала позволил себе вести эксперименты, назначение которых – фотографировать последовательные зрительные образы и галлюцинации своих пациентов. Разумеется, спорить и не соглашаться можно с любым научным тезисом, но «Советская Россия» не спорила, а просто избивала врача. Газетная заметка пестрит выпадами и оскорблениями, вроде: «околонаучная сенсация», «антинаучные идеи», «домыслы», «заведомая реникса». Пользуясь полной беззащитностью провинциального врача, столичная газета передергивала суть его научных выводов, вырывала из контекста фразы. Впрочем, мало-мальски осведомленный читатель без труда понял источник гнева «Советской России»: газета выдала раздражение властей на то, что опыты врача с Урала стали известны на Западе. «Еще три года назад, – говорится в заметке, – «Международный журнал парафизики» опубликовал в Англии статью Л. Виленской с претенциозным заголовком «Эксперименты по пси-фотографии в Советском Союзе». Добрая половина ее была посвящена Крохалеву... Что-то о нем уже писали в Японии, обещали, по его словам, сделать паблисити в Австралии. Очевидно, это будет что-нибудь вроде публикации журнала «Пси», выходящего в Гамбурге, на страницах которого два года назад появилось интервью Крохалева...»

Кто, кроме чиновников КГБ, мог ознакомиться со всеми этими зарубежными изданиями? Кому, кроме КГБ, нужна и доступна травля исследователя? Почему уволили с работы журналиста Владимира Богатырева, написавшего статью об экспериментах Крохалева? Зачем власти заставили профессора Василия Банщикова отказаться от совместных исследований с доктором Крохалевым?

Ответ видится мне только в одном. В СССР сложилась сегодня ситуация, при которой ни один парапсихолог не может работать независимо. Если он будет отстаивать свое право на свободное творчество, то либо станет жертвой постоянных преследований, или вынужден будет

искать возможности эмигрировать, как это сделала я. Всех остальных принуждают к компромиссам, к сотрудничеству с властями. Нет, нет, это не продолжение атаки идеологов против «антиматериалистических тенденций» в науке. Идеологические претензии к парапсихологам давно отошли на задний план. Опасность подступила с другой стороны. Достижения парапсихологии хотят использовать КГБ и военная машина. Ученый в СССР – собственность государства, и делиться его открытиями советский режим ни с кем не желает. В том числе и открытиями в области парапсихологии.

3. ПАРАПСИХОЛОГИЯ ТАЙНАЯ И ЯВНАЯ

Говорят, что разрешил заниматься парапсихологией в СССР сам Хрущев. Во время его поездки в Индию ему показали йогов. Он увидел людей, которые произвольно останавливали деятельность сердца, людей, чье тело как будто не знает боли: йог спокойно возлежал на щите, утыканном гвоздями, и ходил по раскаленным углям. Хрущев увидел во всем этом то, что было доступно его интеллекту: если овладеть «чудесами» йогов, то советская тайная полиция и армия станут еще более боеспособными и неуязвимыми. Последовали соответствующие распоряжения, в результате которых в 1960 году в Москве на Воробьевых горах (улица Черемушкинская) был основан секретный научно-исследовательский институт. На дверях огромного здания, где работали сотни инженеров и техников, появилась скромная табличка: ИППИ, Институт проблем передачи информации. Сотрудники института занялись изучением ясновидения, телепатии, телекинеза. В ИППИ создавалась аппаратура для регистрации парапсихологических процессов, в частности разрабатывался аппарат для наблюдения телепатических сигналов. Бюджет Института, исчислявшийся вначале суммой в 10 миллионов рублей, с каждым годом возрастал.

Послабления послехрущевской поры позволили заняться парапсихологическими исследованиями и тем любителям, которые не собирались обслуживать КГБ и

армию. В 1965 году эти энтузиасты добились того, чтобы Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова (НТОРЭС) разрешило создать новую секцию, которая стала заниматься телепатией (биологической связью). Три года спустя в Москве в довольно жалком полуподвале в Малом Вузовском переулке энтузиастам удалось оборудовать лабораторию биоинформации. Те, кто работали там по вечерам, никакой заработной платы не получали. Каких-нибудь сверхточных аппаратов в их распоряжении тоже не было. Тем не менее работа там шла серьезная. Были проведены, ныне широко известные и описанные, опыты по телепатической связи на больших расстояниях – сеансы Юрия Каменского и Карла Николаева «Москва-Ленинград» и «Москва-Новосибирск». Менее известны эксперименты по распознаванию экранированных образов (ясновидение), проводившиеся кандидатом физ.-мат. наук Юрием Корабельниковым и Людмилой Тищенко. Успешно работала в лаборатории группа Варвары Ивановой по обучению целителей, группа Карла Николаева, в которой велась тренировка телепатических способностей, а также моя группа по исследованию феномена «кожного зрения».

Однако спокойное сосуществование секретной (государственной) и несекретной (общественной) парапсихологии не могло продолжаться долго. В 1964 году власти приняли решение расширить секретные работы. В Москве, Киеве, Ленинграде, Алма-Ате, около Баку на мысе Зых и в Новосибирске были созданы строго засекреченные парапсихологические лаборатории с откровенно военной и кагебешной тематикой. В частности, КГБ и Министерство вооруженных сил субсидировало эксперимент по сверхдальним телепатическим контактам и опыты по телекинетическому включению приборов на расстоянии.

Одновременно, чтобы прикрыть развертывание такого рода исследований, в стране началась атака на парапсихологов-одиночек. В газетах и журналах по команде появилось несколько статей, авторы которых объясняли населению, что никакой парапсихологической науки не

существует, что все, о чем рассказывают лекторы из общественных лабораторий, о чем пишут научно-популярные журналы, есть ни что иное как обман. Особенно отличился в этой организованной по указке КГБ кампании профессор физик Китайгородский. Его статьи о парапсихологии были особенно ядовитыми и злобными.

При всем при том, однако, новые военные лаборатории, снабженные до отказа деньгами и аппаратурой, нуждались в медиумах – в людях, способных к телепатии, телекинезу и другим проявлениям своего сверхмощного энергетического поля. (Другое название медиумов – сенситивы.) Находить таких людей не просто. И вот для отбора медиумов власти разрешили существование несекретных отделений парапсихологических лабораторий, которые они превратили в своеобразные «приемные пункты» закрытых научных центров. В частности, в Москве на Большой Коммунистической улице была открыта такая лаборатория. Там, среди людей, заинтересованных парапсихологией, «доверенные лица» искали наиболее способных медиумов. Медиумы эти проходили испытания и... исчезали в недрах очередного секретного института.

Вторую атаку на несекретные лаборатории власти произвели десять лет спустя, в начале 70-х годов. Именно тогда был арестован Эдуард Наумов и лишены возможности вести научную работу несколько других парапсихологов-общественников (см. главу 2). По команде сверху была закрыта в 1975 г. и наша общественная лаборатория биоинформации. Проведена эта акция была очень деликатно. Правление научно-технического общества имени Попова приняло пространное решение, где всех нас «погладили по головке», было перечислено, сколько мы провели симпозиумов, сколько напечатали статей. Было сказано, что наши работы «внесли заметный вклад в объективизацию и познание явлений биоинформации», а затем последовал вывод: «Продолжение работы секции биоинформации... без обеспечения современными приборами для физического и физиологического эксперимента, становится бесперспективным, приведет и частично уже приводит к проявлениям стихийности и неуправляемо-

сти...» Неуправляемость в системе управляемой советской науки вещь недопустимая. А посему: «Продолжение работы секции и ее лаборатории нецелесообразно».

Лабораторию закрыли, людей, увлеченных парапсихологией, лишили возможности собираться, искать, творить. Зачем это понадобилось? Очевидно, для того, чтобы оградить секретные лаборатории от излишнего внимания научной общественности и ученых Запада. Три года спустя лаборатория была восстановлена в более приличном здании под именем Лаборатории биоэлектроники. Но это уже было нечто совершенно иное и по форме и по содержанию. Мне пришлось читать «Правила приема» в лабораторию, утвержденные 7 декабря 1978 года Председателем Центрального правления НТОРЭС, членом-корреспондентом АН СССР Сифоровым. Удивительный это был документ! Тот, кто желал в свободное от работы время, на о б щ е с т в е н н ы х началах, заниматься парапсихологией, должен был:

- Пройти собеседование с начальником лаборатории;

- Подать в канцелярию две фотокарточки (3 x 4), краткий реферат, в котором объяснить, кто и когда познакомил его с основами этой науки (фамилии и адреса обязательны!); письменно пообещать, что он будет выполнять все требования, предъявляемые к сотрудникам лаборатории.

А требования эти были следующие:

- На каждого сотрудника заводится учетная карточка. Ему выдается пропуск на право посещения и работы в лаборатории; без пропуска не впустят!

- Члену лаборатории запрещается публично выступать с лекциями и на семинарах без специального разрешения научно-технического совета лаборатории.

- Член лаборатории не имеет права без разрешения производить исследование структуры и коррекцию биополей человека вне лаборатории.

И далее все в том же духе... С помощью такого рода «Правил» общественная научная работа была доведена до положения секретной. Насаждение секретно-общественных или общественно-секретных лабораторий про-

должается и ныне. В декабре 1978 года специальным письмом № 4126 Центральное правление НТОРЭС приказало создать такого рода лаборатории по всей стране от Ленинграда до Алма-Аты, от Таллина до Кишинева. Выгода при этом достигалась двойная: парапсихологические знания добываются, наука движется вперед, а платить за это не надо – лаборатории ведь *общественные*...

4. В ИДЕАЛЕ – «ЧЕЛОВЕК МАНИПУЛИРУЕМЫЙ»

Известный американский исследователь писал в свое время в «Джорнэл ов парасайкологджи»: «В течение многих лет научные руководители СССР позволяли парапсихологии процветать на общественном уровне, не будучи уверенными в том, насколько реальны пси-феномены. Ныне они признали реальность этих феноменов. Можно ожидать, что теперь все общественные исследования в этой области будут приостановлены, а парапсихология переберется в правительственные лаборатории» (том 39, № 2, 1975 г.). Американец не ошибся: первоначальный план был именно таким. Но потом власти резонно рассудили, что нет нужды закрывать общественные научные центры. И без того можно превратить все исследования по парапсихологии в засекреченные (даже если они ведутся в открытой вроде бы лаборатории) и направить их в нужном для себя направлении.

Жаловаться на то, что сегодня в СССР не разрешено заниматься парапсихологией, – не приходится. Исследованием такого рода охвачены десятки лабораторий, хотя обычно их называют не парапсихологией, а применяют завуалированные наукообразные термины: биоинформация, дистанционные взаимодействия живых систем и т. д. Многие из них дублируют тематику друг друга, но начальство не беспокоится. Денег на эту область не жалеют. Исследованием биополей человека заняты, в частности, лаборатории, находящиеся в таких престижных научных учреждениях, как Московский университет, Высшее техническое училище им. Баумана (лаб. проф. Вагнера), Московский энергетический институт (лаб. доктора тех-

нических наук Соколова), Институт радиотехники и электроники АН СССР (член-корр. АН СССР Юрий Гуляев), НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. В Ленинградском университете есть специальная лаборатория аурометрии (проф. Павел Гуляев), подобные лаборатории есть сегодня также в Ленинградском политехническом институте, парапсихологией занимаются в университетах Тбилиси и Алма-Аты, в институтах Краснодара и Киева.

Все перечисленные лаборатории давно уже потеряли характер места, где увлеченные энтузиасты постигают новое только потому, что им интересен процесс постижения. Энтузиазм 60-х годов давно сменился строгим выполнением заданий начальства. Секретность окружает ныне каждый эксперимент в отдельности и планы всей лаборатории в целом. Типична ситуация в секции биоэлектроники НТОРЭС, о которой я говорила выше. Когда-то в подобной лаборатории работали мы, люди, готовые не только исследовать, но и охотно рассказывать другим о сути научных поисков. Теперь даже сам руководитель секции академик Александр Спиркин только в общих чертах знает, чем, к примеру, занимается подчиняющаяся ему группа по изучению полей кристаллов. Полностью в сущность опытов посвящены только три назначенные в Бюро секции представителя Министерства вооруженных сил. Это они – Ян Иванович Колтунов, старший научный сотрудник, Николай Александрович Носов, старший научный сотрудник, и Михаил Анатольевич Сухих, кандидат военных наук, определяют сегодня, чем заниматься и чем не заниматься «общественным» сотрудникам лаборатории.

Военные вплотную занялись парапсихологией еще и потому, что влияние загадочных энергий неожиданно проявилось в ряде трагических эпизодов. Вот что рассказал мне участник расследования причин авиационной катастрофы, в которой погибли космонавт Гагарин и полковник Серегин:

«По поводу гибели Гагарина и Серегина мне известно следующее. Гагарину и Серегину было поручено провести тренировочный полет на реактивной «спарке» в спе-

циально отведенном полигоне, предназначенном для полетов на относительно малых высотах. В этом полете место тренера занял Гагарин, а место «ученика» – Серегин. В кабине тренера находились две кнопки, нажатие которых включало системы катапультирования. Это значит, что только Гагарин из своего места мог катапультироваться сам и катапультировать Серегина. При полете на высоте около 600 метров над полем в районе Киржачей самолет сделал резкую горку, а потом пошел в пике и врезался в землю. Самолет проник на глубину около 10-15 м, разрушившись полностью. Трупы погибших Гагарина и Серегина не поддавались никакой анатомической индикации.

По фрагментам приборных досок кабины Гагарина и Серегина сенситив при парапсихологическом «чтении» сообщил следующее:

«Юрий Гагарин при пролете над биологически активным участком потерял сознание и дестабилизировал полет самолета. Уровень его энергии с момента потери сознания и до трагического конца почти нулевой. Он погиб, не приходя в сознание. Серегин в момент потери сознания Гагариным демонстрирует резкое повышение биоэнергетического поля в поисках выхода из сложной ситуации. Через несколько мгновений усилием воли Серегин уравнивает свое биоэнергетическое поле и пребывает в полном сознании вплоть до момента гибели».

По поводу «биологически активного участка» сенситив сообщил, что имеется энергетическая полоса, пересечение которой на большой скорости вызывает индуцированные поля, подавляющие и дестабилизирующие биополе человека. Это вызвало внезапный обморок Гагарина. Серегин не терял сознание, но за несколько долей секунды не смог принять необходимое решение».

«Это не единственный случай, – продолжает свой рассказ тот же экспериментатор. – В одном районе, предназначенном для тренировки парашютистов, в одном месте радиусом не более 30 м погибли два опытных парашютиста. При осуществлении прыжков, как правило, затяжных, при полном исправном состоянии парашютной

системы, погибшие не открыли парашюты на заданной высоте. Сенситив самостоятельно нашел место гибели парашютистов, определив, что это место повышено биологической активности, пересечение которого на сравнительно большой скорости свободно падающего парашютиста приводит к потере сознания и, следовательно, к неспособности открыть самостоятельно парашют. Был проведен контрольный эксперимент. В этот биологически активный район были заброшены мастера спорта, но при условии автоматического открытия парашюта на заданной высоте над землей. Один из парашютистов, пересекший в своем падении биологически активный участок, потерял сознание и в бессознательном состоянии приземлился на автоматически открытом парашюте».

Сейчас военных и КГБ особенно интересует вопрос о том, как собирать (аккумулировать) и использовать пси-энергию, энергию, с особой силой излучаемую некоторыми сенситивами. Еще в 60-е годы в печати появлялись сообщения о том, что некоторые лица способны заряжать своей энергией некие «аккумуляторы», после чего эти «аккумуляторы» сами приобретают способность перемещать в пространстве телекинетическим образом предметы и даже ускорять и замедлять прорастание семян. Сейчас в СССР разработкой такого рода «аккумуляторов» заняты многие лаборатории. В частности, в Институте проблем управления и в Институте молекулярной генетики АН СССР удалось установить, что биоэнергией человека можно заряжать воду, кристаллы, предметы из дерева. В зависимости от интенсивности поля сенситива (медиума) водные растворы и деревянные предметы способны сохранять биополе зарядившего их лица от нескольких дней до двух и более месяцев. По имеющимся у меня сведениям, власти требуют от ученых исследований, которые помогли бы использовать этот феномен для негативного воздействия на человека. Аккумуляторы такого рода могут, как оказалось, вызывать у людей состояние депрессии, безразличия ко всему окружающему, а при более сильном воздействии даже потерю сознания и психические расстройства. Над этим рабо-

тает, в частности, лаборатория Института проблем управления АН СССР (Москва, Профсоюзная улица), возглавляемая профессором Львом Лупичевым. В октябре 1976 года проф. Лупичев вместе с космонавтом Севастьяновым были в США, где доверчивые американские парапсихологи познакомили их с новейшими своими достижениями. Вернувшись в Москву, в свою сверхсекретную лабораторию, проф. Лупичев быстро применил полученные научные сведения для малодостойных целей, которыми его лаборатория занимается. Мне приходит в голову, на первый взгляд маловероятная, мысль: не вызвана ли излишняя доверчивость американцев тем, что Лупичев щедро одаривал их сувенирами, – например, традиционными русскими матрешками. Эти матрешки, при нынешнем уровне знаний, уже ничто не мешает зарядить отрицательной биоэнергией. Стоя на письменном столе американского профессора, такая «игрушка» вполне могла подорвать его волю и лишить его на какое-то время здравого смысла...

Матрешки-аккумуляторы – не единственный метод, с помощью которого в советских парапсихологических лабораториях готовятся воздействовать на человека, менять его психическое состояние и, в конечном счете, управлять его поведением. Для этого используются также различные комбинации электромагнитных полей. Еще в 1968 году заведующий лабораторией физиологической кибернетики Ленинградского университета проф. Павел Гуляев зарегистрировал так называемую электроаурограмму – электромагнитное поле, излучаемое живыми организмами. Тогда же он писал, что «с помощью электроаурограммы можно... лечить больного... В фундаменте наших мыслей, желаний, чувств лежат системы ритмически возбуждающихся нейтронов мозга. В Ленинградском университете экспериментально доказано, что клеткам можно навязывать новый ритм, и они его усваивают. Воздействуя на мозг пациента электроаурограммой, записанной от здорового человека, можно «навязать» больному программу выздоровления».

Программа, предложенная профессором Павлом Гуляевым, не заинтересовала тех, кто командует совет-

ской наукой. Вернее будет сказать, что любые программы парапсихологов, направленные на благо человека, почти всегда встречают равнодушие властей. Зато всё, что может служить оружием и вообще источником зла, на советских верхах приветствуется. Недавно к одной моей знакомой обратились с предложением перейти на работу в секретный институт, находящийся в Москве на улице Заморенова (неподалеку от Московского зоопарка). Как она поняла, в институте этом занимаются исследованием воздействия электромагнитных полей на животных с целью вызвать у них агрессивность или, наоборот, затормаживать реакцию животного на внешние раздражители. Результаты этих исследований предполагается перенести на человека. Отличная идея! Почему бы действительно не овладеть методом, с помощью которого можно вызвать озверение армии или подразделений КГБ? Освобождать людей от совести, страха, раскаяния? Вот будут славные солдатушки!

Управлять человеком ради своих политических целей – розовая мечта советского начальства. Я знаю о существовании ряда лабораторий в Советском Союзе, где изучают, как именно управлять поведением человека с помощью гипнотических воздействий. Речь идет о внушении, которое можно давать «объекту» на расстоянии. В частности, известны опыты по созданию средств массового воздействия с помощью кино и телевидения. Такого рода эксперименты ведутся, в частности, в лаборатории эвристики Института общей и педагогической психологии. Вот что рассказывает участница этих экспериментов:

«Мне сказали: „Посмотрите внимательно на эту таблицу. Вы видите разные фигуры – запомните их. Сейчас мы включим тахистоскоп*». По одному каналу пойдет видимое изображение. Какое – неважно, для опыта это не имеет значения. По другому на экран будет проецироваться одна из только что показанных вам фигур, но она будет мелькать так быстро, что разглядеть ее вы все

* Тахистоскоп – аппарат для исследования процессов восприятия и внимания.

равно не успеете. Сеанс продолжается пять минут. Через пять минут мы снова покажем вам таблицу и вы выберете ту фигуру, которая покажется вам предпочтительней“. Щелкнул тахистоскоп, и на экране появились олени... Прошло пять минут. „Ну, какая фигура вам больше по душе?“ – спросили меня. „Вот эта, наверно“, – беспечно ткнула я в крестик с обломанным лучиком – ткнула, не задумываясь ни на секунду, хотя на экране ничего, кроме оленей, я не видала. „Эта, эта, правильно“, – услышала я. Оказалось, что я действительно показала на фигурку, которую мне показывали по второму каналу».

Казалось бы, безобидный опыт. Но десятки и десятки тысяч таких опытов показали, что человек может воспринимать с экрана невидимую информацию, сам не осознавая этого. В СССР определенные круги берут этот метод на вооружение. Один из специалистов по гипнозу и исследованию бессознательной деятельности, рассказывал мне, что его привлекали для создания такого рода сублимальных (обращенных к подсознанию) фильмов на самые различные темы, начиная с невидимой надписи «Мойте руки перед едой» и кончая фильмами, предназначенными для идеологической обработки солдат в армии. Из другого источника я слышала, что метод этот уже используется в советском телевидении, но пока я не получила подтверждения этому.

* *

*

Ученые, занимающиеся в закрытых лабораториях парапсихологией, не имеют ни права, ни возможности обсуждать о б щ е с т в е н н ы й аспект своих опытов. Им предписано молчать не только о сути исследований, но и о том, как и для каких целей их опыты смогут быть использованы в будущем. Лишь немногие парапсихологи нашли в себе мужество отказаться от участия в секретных работах. Большинство же преднамеренно закрывает глаза на социальные последствия своих открытий и изобретений. Другие разводят руками: «Что я могу поделать?

Где я еще найду такую интересную работу, да к тому же и хорошо оплачиваемую?» Разумеется, нам, эмигрантам, пользующимся на Западе свободой выбора и свободой творчества, не подобает брать на себя роль судей и «учителей жизни» по отношению к оставшимся там товарищам. Каждый ученый сам единолично и полностью несет ответственность за то, что он делает в этом мире. Я хочу, однако, напомнить рассуждения доктора биологических наук из Алма-Аты Виктора Инюшина. Инюшин руководит лабораторией отделения биофизики Казахского государственного университета, которая активно выполняет задания властей по конструированию парапсихологической аппаратуры и разработки определенного рода методик. В начале 70-х годов, разоткровенничавшись в беседе с писателем Марком Поповским, д-р Инюшин открыл ему свои заветные мысли. Он сказал, в частности, что работает над созданием психогенератора, аппарата, с помощью которого можно будет, как он выразился, «гармонизировать советское общество». Аппарат будет умерять страсти одних, добавлять оптимизма другим, твердость духа третьим и т. д. Свою теорию Инюшин подкрепил следующим примером:

«Если, например, где-нибудь в Иванове на текстильной фабрике, где работает несколько тысяч женщин, установить такой генератор, то с его помощью можно будет дать тяжело работающим, неустроенным в личной жизни, истеричным женщинам чувство счастья. А это, в свою очередь, поведет к повышению производительности труда на фабрике. Тот же аппарат сможет побудить усталых рабочих к половой активности, если это необходимо для повышения рождаемости в стране». (Марк Поповский. «Управляемая наука». Лондон, 1978).

Вот как понимает доктор биологических наук Инюшин свой долг перед наукой и обществом. К этим рассуждениям мало что можно добавить, разве что одно. Сейчас сотрудники Летно-испытательного института в городе Жуковском, Московской области, уже пользуются бесконтактными датчиками, предложенными д-ром Инюшиным для регистрации на больших расстояниях биополей человека. По состоянию биополя специалисты

могут, не приближаясь к «пациенту», определить некоторые показатели его психологического и физиологического состояния. Следующий этап работы – дистанционная (на расстоянии) коррекция биополя, внесение изменений в состояние подопытного. По официальной версии, опыты эти предназначены для психо-физиологической помощи с земли находящимся в полете космонавтам. Но остановятся ли на этом Инюшин и его коллеги? И позволят ли им остановиться?

* *
*

Эта статья была написана в 1980 году, сразу после моего выезда из СССР. За прошедшие 4-5 лет мало что изменилось: по-прежнему процветают секретные лаборатории и даже появляются новые, по-прежнему ставятся опыты, направленные на создание «человека манипулируемого», по-прежнему подвергается преследованиям Варвара Михайловна Иванова и другие энтузиасты.

В начале 1981 года один американский журналист, сотрудник телекомпании NBC, взял у меня адреса независимых парапсихологов в СССР и провел интервью с некоторыми из них. Одна женщина-сенситив, по понятным причинам решившая остаться инкогнито (в телепередаче на экране были показаны ее руки, что-то пишущие на листе бумаги), рассказала: «Один из тех, кто часто приходил в нашу (общественную) лабораторию, предложил мне, как он выразился, эксперимент: попытаться воздействовать на расстоянии на кого-нибудь из иностранных государственных деятелей во время его выступления по радио, заставить его изменить свое мнение или начать говорить о чем-то совсем другом, а не о том, о чем он говорил, смешаться, сбиться и т. д. Я отказалась. Я сказала, что никогда не буду делать грязную работу»*.

Кто-то нашел в себе мужество отказаться, может, кто-то не нашел... В каком же мире мы живем?.. И чего

* Привожу в переводе с английского.

можно ожидать завтра, если на Западе не поймут серьезность того, что происходит в СССР в этой области и не начнут серьезные исследования, направленные на поиск методов нейтрализации дистанционного парапсихологического воздействия.



Берегите нас, поэтов!

Читаю «Русскую мысль» за 5 июля 1985 года. Статья Александра Радашкевича «Опушка с прямыми углами».

– Ого! – думаю я. – Кого это так?

И глазам своим не верю: Инну Лиснянскую.

Мы живем в трудное для стихов время. Поэтические книги – худенькие и потолще – обиженно томятся на магазинных полках. Интерес к ним упал почти до нуля.

Отчасти мы и сами виноваты. Стихи сочиняет каждый, кому не лень.

Анна Ахматова как-то сказала со вздохом: «Сейчас все пишут хорошо». В ее вздохе – ирония и сожаление. Да, действительно, любой образованный человек может легко овладеть внешней стихотворной техникой. Всё у него вроде бы на месте – и рифма, и размер. Отчего же не печатать? И печатают, особенно если у автора есть деньги на издание.

А мы листаем и думаем: а что, как это проза, да и дурная?

И еще одна беда. Многие стихотворцы играют в слова, как в кубики. Они забыли, что слово – единица духа, они фокусничают и забавляются. Другие нарочно запутывают смысл, стараются писать многозначительно. И вся эта масса стихов искусственна, претенциозна и никак не отражает «трагическую подоснову мира».

Читать такие книжки скучно, стоят они дорого – вот их никто и не покупает.

Но есть еще поэты, электрическая связь которых с читателем не прервана. И среди них – Инна Лиснянская.

Иосиф Бродский пишет:

«Из того, что я читал в последние годы, стихи Лиснянской произвели на меня особое впечатление... Она совершенно замечательный лирик, особенно в коротких стихах – это стихи чрезвычайной интенсивности» («Русская мысль», 3 февраля 1983 года).

И в самом деле, лирика ее удивительна:

«Пространства нет, есть только перекресток,
Где я, старуха, женщина, подросток,
Смеюсь, едва перемогая дрожь,
Когда меня ты за руку берешь».

Стихи Инны Лиснянской прозрачны, трогательны, отличаются превосходным вкусом. И бесстрашием. Вот она вспоминает о своем детстве, о том, как люди боялись друг друга, как брат отрезкался от брата:

«С проработки мой отец вернется,
Повернет в двух скважинах ключи,
И альбом семейный захлебнется
Керосином в угольной печи».

О чем бы она ни говорила, она говорит правду, а в Советском Союзе за это приходится платить высокую цену:

«Быть отщепенкой в любимой стране –
Видно, железное сердце во мне».

То, что мы знаем о Лиснянской – о великолепном чувстве собственного достоинства, о человеческом мужестве – усиливает симпатию читателя к ее стихам.

И вдруг, пожалуйста, – «Опушка с прямыми углами»!

Вчитываюсь в статью и поражаюсь ее несправедливости.

Автор как бы нарочно берет сильные стороны книги и пытается их развенчать.

Лирика Лиснянской необыкновенно искренна, абсолютно естественна. К ней полностью приложимы слова Гейне: «Поэт живет в стеклянном доме. Его сердце бьется явно».

А теперь из статьи:

«*Большинство этих стихов* просто не увлекают эмоциональным движением, не обнаруживают крайней необходимости их появления».

И дальше Радашкевич обвиняет стихи «в потере общей непосредственности тона, прозаичности, в заёмных настроениях и плосковатой риторике».

Но разве это всё? Упреки сыплются градом:

Композиция «притянута за уши», «умышленно избранная тема притянута за волосы», стихотворение «Зарядили дожди» удручает «своим почти надсоновским надрывным пафосом». «Ходульна вымученная „райская“ линия». «Привкус натяжки, деланности».

Господи, да о Лиснянской ли это?

В подтверждение своих обвинений автор статьи приводит много цитат. Но они ни в чем не убеждают. Мне, например, почти все эти строки просто нравятся.

Высоко оценивая творчество Лиснянской, Бродский писал:

«Русский поэт, да и вообще поэт – всегда продукт того, что написано до него, отталкиваясь или, наоборот, по принципу эха.

Единственное эхо, которое я отчетливо различаю в стихах Лиснянской, – эхо ахматовское и слава Богу».

Радашкевич с этим не согласен. Чего только он не находит! Здесь и надсоновский надрыв, и вариация чеховской темы, «проглядывает лермонтовский демон», слышится «снисходительное благородство бытовых романсов», ну и, конечно, тут и Цветаева, и Ахматова, только не эхо, а перепевы, голое подражание.

И рецензент добавляет:

«Приходится отметить, к сожалению, что стихи И. Лиснянской никогда так не привораживают, как у ее великих предшественниц».

К этому нельзя отнестись серьезно.

Ахматова не эталон, а пример. Она великий художник, входящий в первую десятку русских поэтов.

Прием, к которому прибегает автор статьи, не джентльменский и, кроме того, бессмысленный. Это ведь то же самое, что сказать: «Стихи Радашкевича (или, к примеру, Друскина) производят меньшее впечатление, чем стихи Лермонтова».

Зачем же сопоставлять несопоставимое?

Справедливости ради, следует отметить, что в статье изредка встречаются и похвалы. Но они сделаны в таком тоне, что лучше бы их не было:

«Между... пустышек (о большинстве стихов. – Л. Д.) почти теряются по-настоящему интересные, весомые и более искренние стихи, каких в сборнике Инны Лиснянской немало».

В целом свой отзыв А. Радашкевич называет «печальным откликом на сборник неравноценных стихотворений».

В заключение мне хочется сказать о стороне, затронувшей меня особенно больно.

Автор статьи позволяет себе подтрунивать над вещами, подшучивать над которыми уж вовсе не следовало бы.

Он пишет:

«Поэт придерживается измышленных границ, ходячих трактовок, *предвзятого мировоззрения*».

И в другом месте:

«...недовольство собой, страной и той ценой, которую приходится платить за *сознательно избранный образ жизни*».

И Радашкевич иронизирует над «прозрачным и многозначительным упоминанием» о «столичной конторе, где шьется, кажется, дело».

Скажу прямо: эта часть рецензии возмутительна. Все мы знаем, что Лиснянскую уже вызывали в КГБ, что над ней постоянно висит Дамоклов меч и что эту цену она действительно платит за *сознательно избранный образ жизни*. И не отступает ни на шаг.

И я представляю себе кагешника, злорадно кладущего перед ней статью А. Радашкевича:

– На Западе печатаетесь? А смотрите, что о вас там пишут!

Наносить человеку, находящемуся там под ударом, незаслуженные удары *отсюда* – невелика доблесть.

«Берегите нас, поэтов!» – воскликнул однажды Окуджава. И этот призыв актуален и сейчас, если речь идет о поэтах подлинных. А в подлинности Инны Лиснянской сомневаться не приходится.

И в защите она в общем-то не нуждается. Ее стихи говорят за себя сами.

Лев Друскин

Будничная святость

Что означает для вас это слово – «святость»? Что ответили бы вы на вопрос «хочешь ли ты стать святым»?

Противоречие налицо: «святость» стоит в ряду сугубо положительных понятий, но предложение стать святым могло бы скорее испугать. «Святой» – для непосредственного восприятия – не столько светлый, прекрасный человек, сколько предельно отдаленный от жизни, от «мира сего», отрекшийся от всех его радостей. И зачастую само это слово употребляется в таком примерно контексте: «ну, я же не святой...» – чем обычно оправдывают любую нечистоплотность.

Святой человек – Божий человек, как бы пронизанный лучами Божьей благодати. И то, что мы воспринимаем святость как нечто, оторванное от жизни, для жизни непригодное, – свидетельство нашего отчуждения и от Бога, и от созданного Им мира, свидетельство нашего неверия в возможность освящения жизни на Земле.

Последняя книга Льва Копелева содержит это противоречие уже в самом своем названии. «Святой... Федор Петрович». Рядом с домашним, вполне будничным – «Федор Петрович» – слово «святой» воспринимается почти как вызов. На мой взгляд, и вся книга посвящена раскрытию этого феномена – обыкновенной, как будто ничем не примечательной святости.

История жизни героя вся соткана из противоречий и меньше всего напоминает «житие святого». «Анкетные данные»

Лев К о п е л е в. «Святой доктор Фёдор Петрович». London: Overseas Publications Interchange, 1985.

его как бы перепутаны, ни на один из анкетных вопросов нельзя дать однозначного ответа: «немец и католик, он прожил большую часть жизни (1806 – 1853) в Москве, в русской православной среде. Прославленный врач, приятель ученых, аристократов, многих именитых москвичей, он вначале был преуспевающим состоятельным чиновником, но затем посвятил все свои знания, силы, всего себя беднейшим из бедняков: арестантам, нищим, бродягам, униженным и оскорбленным...» Автор поставил перед собой нелегкую задачу – объяснить судьбу «Федора Петровича», его характер, его подвиг, так, чтобы мы, сегодняшние, убедились, «как он современен, как необычайно важен его пример именно сегодня». Еще Достоевский писал о том, как трудно создать образ «положительно-прекрасного» человека, сделать его достоверным. Для этой цели автор «Святого доктора» пользуется разными средствами: обильно цитирует письма самого героя, письма его сестры; рассказ о «чудесном докторе» не просто насыщен бытовыми деталями, а как бы «утоплен» в повествовании обо всем, что происходило вокруг Федора Петровича. Мы изнутри видим развороченную, израненную Россию начала прошлого века, в таких порой невероятных подробностях, что, кажется, они к жизни немецкого врача не имеют никакого отношения. Например, автор рассказывает такой случай: во время восстановления Москвы после Отечественной войны 1812-го года А. Арсеньев, тогдашний предводитель московского дворянства, заметив, что медленно накрывают крышу Большого театра, «раз-другой выслушал объяснения-оправдания подрядчика, а потом велел привязать его тут же на незавершенной крыше к трубе и назначил сторожами своих егерей. – Глаз не спускать, – сказал. – Кормить вполсыта. Хмельного не более чарки в ужин. По нужде захочет, пускай работнички ему ведро несут. Но все его приказы, которые по делу, исполнять (...) И не отвязывать ни на час – пусть и спит тут же, пока вся крыша не будет целиком готова»... Автор подробно рассказывает о судьбе и Арсеньева, и Голицына – губернатора Москвы, и о многих других людях, окружавших Федора Петровича, друживших с ним или так или иначе влиявших на жизнь того времени. Он погружает нас, читателей, в атмосферу духовных исканий первой половины прошлого века, политических, философских, религиозных споров. И постепенно мы начинаем чувствовать, что ни одной избыточной подробности в книге нет, что все они необходимы для того, чтобы понять, что мог переживать немецкий доктор, прижившийся в этой стране полюбивший ее, несмотря на все ее язвы и изъяны, несмотря

на варварские повадки иных бар, – полюбивший Россию за ее великие страдания.

Параллельно с описанием исторических событий и буден того времени описываются и главные этапы в судьбе Федора Петровича: врач княгини Репниной, привезенный ею из Вены в Москву; исследователь целебных источников на Кавказе; фронтовой лекарь во время войны 1812 года; модный московский врач, купивший каменный дом, поместье, фабрику и крепостных; главный врач Москвы; член комитета попечительства о тюрьмах, главный врач московских тюрем, главный врач запущенной Старо-Екатерининской больницы для чернорабочих, борец против холеры... Это – основные вехи на пути его жизненного развития, превращения из благовоспитанного немецкого юноши, удачливого и вдумчивого врача, радующегося царским наградам, в бескорыстного, зачастую смешного, неустанного «фанатика добра», «утрированного филантропа». Лев Копелев показывает нам естественность такого превращения, его неизбежность. И в то же время он нигде не прибегает к идеализации – даже и в малейшей степени. Федор Петрович Гааз, показанный автором этой книги, – далеко не идеальный человек. Он бывает не во всем прав, поначалу в нем проскальзывают порой черты детского тщеславия. Он скорее беззащитен и смешон в своей страсти делать добро, чем надмирно светел и бесстрастен. Его сестра писала о его «чудаковатом, трудном характере», «переносить который не хватит и ангельского терпения», его друзья сердились на него за его вспыльчивость, за неумение быть дипломатичным. Ежедневный подвиг этого человека так глубоко тонет в гуще разношерстных будней, что вовсе и не выглядит подвигом, а выглядит скорее как вечное недоразумение, как какая-то палка в колесах хорошо отлаженной, безучастной к людским страданиям государственной машины. В его жизни, состоящей из парадоксов, много удивительного, но, может быть, всего удивительнее его вечная неудачливость в борьбе с неравным, неизмеримо сильнеешим противником, – та сегодняшняя, насущная неудачливость, за которой почти теряется перспектива великой удачи его жизни. Когда губернатор Москвы назначил Федора Петровича главным врачом Москвы, то все его неусыпные заботы о больных вызвали у некоторых его коллег «и тем более у чиновников, которым были подведомственны больницы, (...) сперва насмешливое недоумение, а затем и злобную неприязнь». На него писали доносы, где уверяли, что, к примеру, «лекарь Гааз находится не в здравом душевном состоянии». При раздаче наград про него «забывали», а когда приходила беда, «вспоминали» снова (так было, напри-

мер, во время эпидемии холеры). Страдания Гааза неизмеримо возросли, когда он стал членом, а потом и секретарем комитета попечительства о тюрьмах: тюремное начальство, полицейские офицеры (...) с первых же дней увидели в Гаазе противника – «затейливого и придирчивого чудака», нелепого в своих стараниях помогать «всякой сволочи». (...) «Доносы на Гааза поступали непрерывно...» Тюремные «шутники» подстраивали бедному Федору Петровичу такие жестокие «шутки», что у всякого другого могли бы отбить охоту заступаться за арестантов – чтоб отомстить ему, налапали, как будто от его имени, еще более невыносимые тяготы на беременных женщин и женщин с грудными. Кто-то из арестантов обругал проклятого юрода фращника, одна из женщин вопила надрывно... «Говорил барин, что жалеет, пожалел, как волк овцу жалеет. Будь ты проклят, не нашего Бога поп лукавый». Он, отдавший все свои силы, раздавший «дочиста» заработанное им на помощь этим несчастным арестантам, от них же «принужден был снести взгляд как бы презрения». Через 10 лет после создания комитета ему вообще запретили «впредь как-либо вмешиваться в распоряжения тюремного начальства». «Федор Петрович был в отчаянии». И все-таки он не сдался, не отступил. Говорят – плетью обуха не перешибешь. И еще говорят, что один в поле не воин. Но как же крепка должна быть та плеть, и какой неустанный дух у того воина, который, падая, каждый раз поднимается, чтоб снова продолжить борьбу, не теряя надежды? Сколько духовной силы надо иметь человеку, чтоб стать как та капля, что камень точит! Федор Петрович – мешковатый, смешной, путающийся у всех под ногами; потерявший сначала свое имя, свой язык, родину, а потом и дом, и поместье, и покровителей, приобретающий повсюду одни только неприятности... Только с высоты его завершенной жизни открывается его подвиг во всей своей безусловной подлинности, открывается величие того, что ему удалось сделать. Новые порядки в тюрьмах, чистые уборные вместо параш, ванные с «поливными» устройствами, струганные нары, чистые полы; новые «газовские» цепи («раньше-то и короче, и тяжелее были»), с холщовыми «подкладочками». Отмена так называемого «прута», на который нанизывали на все время этапа не каторжников, а легко провинившихся или вообще не преступников, а переселяемых крестьян; новая, чистая и лучше оборудованная больница для самых бедных... Но, может быть, еще важнее – тот след, что остался в душах людей, – и тех, кого гнали на каторгу, и тех, кто их мучал, донимал своими варварскими «шуточками». Новое, небывалое еще сознание того, что не одно только зло существует на свете, что,

кроме государственного отмщения виновному и невинному, существует еще и истинная, любящая доброта, что злему началу в человеке не все пути открыты, приходится и ему споткнуться. Что существование доброты *возможно*, – доброты вне национальных, религиозных и любых других рамок. Что человек человеку, действительно, может быть братом, а не волком.

При чтении этой книги невольно возникает сравнение жизни доктора Гааза с жизнью и подвигом святого другого племени, другой религии и другой эпохи – с Ганди. Мысль старается найти что-то общее в судьбах этих двух таких похожих и таких непохожих людей. Могут возразить, что Ганди удалось перевернуть огромную страну, а достижения Гааза куда скромнее. Но разве от этого его святость перестает быть такой же истинной?

И тут мы подходим не к тем вопросам, на которые эта книга отвечает, а к тем, которые она ставит. Какой должна быть святость? От чего она зависит? Есть ли смысл стремиться к ней тому, кто не одарен великими талантами, кто не хочет уходить «от мира сего», отрываться от жизни? Святость «Федора Петровича», Фридриха Йозефа Гааза – это святость «на своем рабочем месте». И думается, именно такой святости нам сейчас больше всего не достает.

Доктор Гааз не всегда и не во всем бывал прав. Как и каждый из нас, он иногда заблуждался, но, в отличие от большинства людей, он ошибался не в пользу своего эгоизма, не в пользу собственного комфорта и выгоды. История о том, как его бесовестно обворовали, потому что он безусловно доверял всем людям, ставит немало нравственных вопросов. Федор Петрович пытается арифметически доказать свой принцип безусловного доверия. Но не переходит ли такое доверие без разбора в потакание злу? Ведь те деньги, которые доктор Гааз собирался потратить на помощь беднякам, на устройство больницы, пошли в карман «матерого кулака», а обманщик, в котором Гааз надеялся вызвать раскаяние своим доверием, еще больше утвердился в своей циничной «философии»... В этом с героем книги можно спорить – а это значит, что на его жизнь так и не лег глянec законченности, безукоризненной правильности. Он остался обычным человеком, а не каким-то недостижимым, сверхъестественным идеалом. Человеком, подобным которому мог бы стать каждый из нас.

Н. Малаховская

Трагедия русской святости

Книга Федотова о святых древней Руси впервые вышла в свет в 1931 году, с тех пор ее актуальность вряд ли уменьшилась. Даже – напротив, сегодня эта книга будет прочитана в России с таким интересом, с каким, наверное, она не читалась 50 лет тому назад.

Потому что именно сегодня история русской святости вдохновляет Церковь – пусть гонимую и бесправную внешне, но сильную молитвой и притоком свежих сил – на новый культурный подвиг, именно сегодня ставится «грандиозная задача ее (культуры) воцерковления».

В предисловии к книге Федотов пишет: «Как это ни странно, задача изучения русской святости, как особой традиции духовной жизни, даже не была поставлена». Большинство исследователей приходит в отчаяние от бедности русских житий. Как объяснить этот факт? Почему у католиков, например, святые довольно часто писали свои биографии (Блаженный Августин, Святая Тереза и т. д.), а у нас святые и по сей день молчат? Каждый, кто был в русском монастыре, поймет, что биография святости не так уж и важна, что прошлое и будущее христианина блекнет перед откровением реального «сейчас».

В своем смирении монах почитает себя за «ничто» и, естественно, не занимается воспоминаниями. Отсюда и молчание. Но если он, святой, молчит, то не обязательно молчать исследователю. Потому что, соединяясь с Богом, святой остается конкретной и вполне описуемой личностью – Бог един, но «обителей много». Русская интеллигенция, шедшая путем «просвещения» и достигшая в испытаниях XX века своеобразного соединения просвещенного и просветленного сознания, именно сегодня может подойти к «личной», описуемой научно и литературно стороне святости. Личностный подход важен в наши дни еще и потому, что сегодняшний религиозный Ренессанс – это прежде всего явление неофитства, это обращение в веру ищущей и (часто) имеющей бурную биографию *личности*. Люди приходят в церковь не из привычки и не из традиции, а из собственного опыта поисков и поражений.

Федотов дает несколько подробных биографий русских святых. При этом он выбирает тех, которые наиболее характерны, и тех, которые приносят что-то новое в общую типологию христианской святости.

Г. П. Ф е д о т о в. «Святые древней Руси». Париж: YMCA-Press, 1985.

Князя Борис и Глеб. Канонизация их была шагом необычным. В Греции канонизировали обычно мучеников, аскетов (монахов) или святителей (епископов). Здесь канонизированы миряне, и канонизированы только за то, что не бежали от смерти. «Замечательно, что мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма... Сказание, как и летопись, употребляет все свое немалое искусство, чтобы изобразить их человеческую слабость, жалобную незащитность».

«Всякое невинное и вольное страдание в мире есть страданием за имя Христово», – таков вывод из жития. «Святые Борис и Глеб сделали то, чего не требовала от них церковь... Но они сделали то, чего ждал от них, последних работников, Виноградарь, и „отняли поношение от сынов русских“». «Через житие святых страстотерпцев, как через Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце русского народа – навеки, как самая заветная его святыня».

Федотов, рассказывая о святых Борисе и Глебе, дает нам ключ к излюбленному «кенотическому» мотиву в русской культуре вообще. Его можно найти в стихах Тютчева: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный...»; в расуждениях Соловьева о «любви-жалости»; в жалком «Христе»-идиоте Достоевского; в страдающем Боге Бердяева, Булгакова, Евдокимова и у многих других. Одно из последних воплощений этого мотива мы встречаем у Пастернака:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.

На примере жития страстотерпцев Бориса и Глеба можно видеть, как культура народа определяется его религией.

Подвиг непротivления – подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа. Не нужно и говорить о том, что этот подвиг стоило бы переоткрыть в наши дни, когда идеал «несопротivления» ищут где угодно – в абстрактном пацифизме или у Ганди, – но только не в собственной христианской традиции.

В следующей главе своей книги Федотов рассказывает о преп. Феодосии Печерском, в лице которого древняя Русь нашла идеал святого. Здесь Федотов пишет об очеловечивании, о гуманизации аскетического идеала на Руси. Симпатии Федотова явно на стороне этого типа святости: рассудительного, преданного социальному служению. В дальнейшем он, правда, расскажет и о других, не менее русских святых: о демонологии, чуде-

сах и аскетизме Киево-Печерского Патерика, об идеале не столько св. Феодосия, сколько св. Антония. И делает вывод: «Так открываются в обители св. Антония и св. Феодосия два потока духовной жизни: один пещерный, аскетико-героический, другой – надземный, смиренно-послушный, социально-карикативный. Их корни восходят к святым основателям, а за ними и к двоякой традиции греческого Востока: палестино-студийской и египетско-сирийско-афонской. Последняя в Киевском Патерике преобладает. Разделение их не всегда возможно, как показывают многие выше приведенные образы святых. Однако противоположность их остается. В порядке не столько морально-религиозном, сколько эстетически-религиозном, они воплощаются, быть может, всего разительнее в двух портретах-характерах: Марке Пещернике и Алипии иконописце.

Один суровый старец, весь век проведенный под землей на послушании гробокопателя, в странной фамильярности со смертью: он воскрешает покойников на несколько часов, пока не готова могила, заставляет их переворачиваться, чтобы исправить недостатки своей работы. Суровый к живым, он готов карать их смертью за злое движение сердца и открывает им путь сурового, слезного покаяния (Феофилу).

Другой – светлый художник, тоже труженик, не дающий отдыха своей руке; нестяжатель, раздающий бедным свою мзду, оклеветанный, преследуемый монахами, но кроткий, никого не карающий, возлагающий надежды на небесные силы. Его чудесные краски совершают исцеление прокаженного, и ангелы во плоти пишат за него иконы».

Это противопоставление двух разных «стилей» станет основным методом Федотова, оно разовьется им в главах, посвященных преп. Нилу Сорскому и преп. Иосифу Волоцкому, оно заставит автора даже говорить о «трагедии русской святости». А трагедия в том, что победили в русской истории иосифлянцы. Для Федотова это означает: строгость и страх победили любовь, обрядовое благочестие и уставная молитва победили молитву «умную». И здесь, даже в чем-то соглашаясь с Федотовым и симпатизируя вместе с ним нестяжателям, нельзя не задаться вопросом – так ли справедливо это противопоставление любви и строгости или любви и страха? Ведь: «работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Страх Божий – начало премудрости, а следовательно, и любви. Федотов явно разделяет предрассудки религиозных философов первой половины XX века – ему так и хочется противопоставить внутреннюю жизнь внешнему «обрядоведению», разумное исследование «нерассуждающему» послушанию и т. д. На самом же деле эти проти-

воположности не действительны, и в подлинной благодатной, духовной жизни подобные крайности не выпячиваются (тем более не вырастают в трагедию). Не «работает» на духовном уровне оппозиция консервативного-прогрессивного, как не работают и все другие социально-политические клише.

В заключении, и как бы предвидя наш дни, Федотов пишет: «Но придет время, и русская церковь станет перед задачей нового крещения обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбы национальной жизни. Тогда окончится двухвековая отрешенность ее от общества и от культуры».

Независимо от того, согласны вы с автором или нет, книга «Святые древней Руси» покорит вас новизной и подлинностью герменевтического сопереживания.

Т. Горичева

«Европа в огне»

...Лишь кто-то на северном дне
зовет, хоть вокруг уже тёмно и пусто:
ребята, Европа в огне!

Едва ли чье еще современное стихотворство определяется разноречивее поэзии Юрия Кублановского. Ее ведут от сентиментализма (Бродский), натурализма (Милославский), ему приписывают орнаментализм (Раннит), барочность (Иваск), романтизм (Бобышев), некоторые даже полагают доминирующим в ней – иронию (Лосев, Кенжеев). Поэтику Кублановского соотносили с Иннокентием Анненским (Е. Хорват), а то и... с Н. Рубцовым (Лосев).

Это, в общем, не удивительно: каждое новое явление при своем возникновении и в процессе усвоения подкоркой читательского сознания и не может восприниматься отчужденно, объемно. Современник-ценитель выхватывает именно ему соответствующее, почти инстинктивно обрубая чуждое. Поэзия же Кублановского столь, если угодно, программно укорененная в нашей духовной и стихотворной традиции, энергично наводящая мосты – через советчину и «авангардизм» – в классику

Юрий Кублановский. «Оттиск. Стихи 1982-85 гг.». Париж: YMCA-Press, 1985.

«серебряного века» и XIX столетия, естественно питается чуть не всеми ее потоками – до позднего акмеизма включительно. Лишь, пожалуй, футуристическая традиция (за исключением Пастернака, чья ранняя лирика, похоже, принимается Кублановским все-таки через призму Афанасия Фета) – осталась чужда поэту.

Так что такая разнородность в определениях лирики Кублановского свидетельствует лишь о широте ее спектра.

...Новая книга Кублановского «Оттиск» интересна еще и тем – что это его первая пространная стихотворная композиция, построенная на стиховом материале, целиком созданном за границей – вне родины. «Русская тема» ощущалась неотделимой от поэтики Кублановского, ее, кажется, невозможно представить в не-российского ландшафта и проблематики. Тем более интересно: как начинает он вводить в свой поэтический мир «тот самый свет» (Эй, прощальная мета / на руке, словно стигма, упорна. / С того самого света / мне ее насыпать не зазорно) – в который его бросила эмиграция.

Умышленно или нет, но европейская тема «Оттиска» прямо соотносится с монологом Версилова из «Подростка»: «Пусть я ничего не сделал в Европе, – исповедуется Версильов, – пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и моим сознанием. (...) Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. (...). О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес, и даже это нам дороже, чем им самим!»

И Кублановский пишет: «Далеко за псковским буераком / в непроглядный долгий снегопад / я из тех – кто, помнится, оплакал / каждый камень в кладке баррикад / и беспечный завтрак на лужайке (...).

Или: «Буду ль впредь под чужим / листопадом, ссыпaeмым в тропы, / ожидать недвижим, / как покатыся камни Европы (...).

Или вот так:

Лишь в ночи, в чьи расщелины узкие
над снегами запаяна сталь,
теплой водкою мальчики русские
поминают мадам де Ламбаль.

Версильов говорит: «Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия».

А вот в «Оттиске»:

Тебе ли, Европа, не знать поименно
безбожных своих сыновей?
Недаром они тебя ждали, влюбленно
среди помраченных степей...
Плетнями повалятся в жижу границы.
И твой обветшалый покров
еще поплывет с торжеством плащаницы
поверх присмиривших голов.

Реминисценции Французской революции доминируют в «галльском» разделе сборника.

(...)

между тем как уже дребезжал
в недалеком Париже безбожник,
убеждая, что ждать невтерпеж,
и хвалил адвокату чертежник
механический рубящий нож.

Бедный мальчик Людовик Людвейч,
как ужасно красно в зеркалах!

(...)

Помимо естественного отвращения к революционным идеалам (кстати, не столь уж и частого у наших поэтов), культ побежденного монархического начала по внешности роднит лирику Кублановского с аналогичным цветаевским. Но если у Марины Цветаевой он шел, во-первых, от еще отроческой нищепанской закваски, а во-вторых, столь свойственного ей импульса постоять за слабого, то у Кублановского он осложнен отстойным опытом жизни в секуляризированном мире, принципиально отрицающим всякую иерархию. Сознание же Кублановского органически иерархично, не самодовлеющее, «реакционно» (в смысле реакции на современный миропорядок). Поэтому и новизна его поэтики – всегда в к а н о н е. (В интервью поэт не раз говорил, что именно в каноничности видит свою задачу.) Новизна же, с порога исключаящая эклектику, – достигается за счет предельной лирической откровенности и исподволь вводимых образных и речевых новаций.

Если прежние сборники Кублановского – суть «избранное», в которых твердая композиция заменена либо хронологией написания, либо ассоциативными соображениями, то «Оттиск» – книга с твердым композиционным стержнем, она написана как бы «в один присест», и композиция в ней сродни прямому сюжету.

Этот сюжет: путешествие, путь – с учащающейся оглядкой на родину – из Франции – мимо «Лотарингских холмов» – в Германию, конкретнее – в баварские Альпы (эти края, очевидно, особенно способствуют «амальгаме»: снег, церковная архитектура Баварии, ее хвойные и лиственные леса напоминают поэту псковщину и заволжье).

А с т е р ж е н ь: воссоздание российско-европейской субстанции с вплетением в нее судьбы лирического героя.

Почти все германские стихи прямо выстроены на ассоциативном ряде с Россией. И поэт объясняет – почему это так:

Греми, Германия, бубенчиковой сбруей
стад с пажитями в масть!
Верни, великая, восточную худую
свою же часть.
Столь почитающей реальность трупных пятен
на теле Божества,
всю анатомию его холмов и впадин
– не может быть замес судьбы безблагодатен
во имя торжества
не касок с рожками, лишь раздразивших волю
в чужой тюрьме,
– но крестной крепости, вступившей с нами в долю
хотя б в уме.

«Оттиск», повторяем, сопрягает разом несколько географических и временных «миражей»: так крепчает к концу книги образ России, окрашенный апокалипсическими огнями.

В заволжской ночи невопрогляд
есть тоже Святая земля.
Еще за нее постоит
репейники и конопля.
Когда в ее белой волне
ее же начнут и топить,
найдется угодник – на дне
мальков обращать и крестить.

Завершие «Оттиска» – цикл «Покров в Печорах», адресуемый в места, о которых поэт писал в одном из своих последних в России стихотворений: «Дай мне еще покружить над тобой, псковщина нищая, глушь одичалая!».

Явно под впечатлением интуиций Флоренского поэт видит в Покрове Богородицы не просто «плат», но П о к р о в – явление метафизического и, одновременно, духовно-органического порядка (как Крест – у о. Павла). Покров – в некотором роде

«Имя собственное», обладающее даже не просто самостоятельным сверхбытием, но действительно и религиозно влияющее на мир:

Если уже из придела
ставшее, было, мельчать
вынесли косное тело
в грубом гробу на плечах,
строга Покров пропускает
душу тогда сквозь рядно
и милосердно счищает
всю с нее спесь заодно.

...Так предельно точная в географии, в детали, в эпитете, в воссоздании ситуации и картины, поэзия Юрия Кублановского связана, конечно, не с «натуральной школой» и, тем более, не столь ценимой ныне «иронией», ее истоки и ощущения – в христианском понимании мира, в стремлении вернуть творческому духу и слову – его Божественный корень, едва ли не безвозвратно утраченный. Потому-то лирическая гармония поэта – одновременно и трагична и очистительна.

П. Шмидт

Папа и блудные дети

Эрнст Хемингуэй несомненно входит в когорту самых крупных прозаиков 20-го столетия, но его популярность в Советском Союзе, его роль в нашей общественной жизни объясняется и обуславливается не только и не столько качеством его художественного дара. Многие писатели, как американские, так и европейские, вполне соизмеримые по таланту с Хемингуэем – Стейнбек, Вулф, Томас Манн или Генрих Бёлль – тоже издавались по-русски в безукоризненных переводах, тоже были объектами литературно-критических исследований, тоже пользовались широкой известностью, но ни об одном из них, я уверен, не могла бы быть написана книга, подобная той, которую выпустила в издательстве «Ардис» Раиса Орлова.

Хемингуэй в России воспринимался не только как выдающийся писатель и не только как писатель и человек с героической и яркой биографией, но и как своего рода абстракция, утвердившаяся в нравственной, эстетической и даже бытовой

сферах. Книги Хемингуэя были неизменной, я бы сказал – кодовой принадлежностью любого интеллигентного дома, бесчисленные изображения Хемингуэя – в рубашке военного покроя, в грубом свитере и даже в полуголом виде за рулем парусной яхты – продавались в галантерейных магазинах наряду с чугунными втяжками, анодированными пепельницами и псевдогрузинской чеканкой, цитатами из Хемингуэя полтора десятилетия перебрасывалась развитая городская молодежь, Хемингуэю посвящали стихи Евтушенко и Ахмадулина, а Виктор Платонович Некрасов, еще будучи советским писателем, опубликовал хороший рассказ, который так и был им озаглавлен – «Посвящается Хемингуэю».

Как же получилось, что иностранный писатель, американец, убежденный индивидуалист, весьма далекий как от марксистско-ленинских идей, так и от классической русской литературной традиции, отразился не только в сознании, но и в облике целого поколения советских граждан, стал образцом современного характера, эталоном мужчины, а также породил неисчислимое количество подражателей, соизмеримых по численности разве что с легионами подражателей Маяковского?

На все эти вопросы отвечает Раиса Орлова в своей книге «Хемингуэй в России», выпущенной недавно издательством «Ардис».

В книге Раисы Орловой наличествуют два плана – внешний и внутренний, историко-научный и общественно-публицистический. Фабула исследования развивается в соответствии с датами публикаций Хемингуэя на русском языке, с различными вехами его довольно бурной биографии, с разнообразными партийными документами и причудливыми веяниями в нашей общественной жизни. Развивающаяся параллельно всему этому – внутренняя, аналитическая часть книги посвящена взаимодействию творчества Хемингуэя, его эстетической и нравственной программы – с сознанием аудитории, причем, на разных исторических этапах, в силу тех или иных событий, а также – вопреки этим событиям.

Раиса Орлова показывает, как хемингуэевский кодекс мужественного поведения в безнадежных обстоятельствах становился опорой для советского человека, как герои Хемингуэя, подавляющие свои чувства во имя долга, становились для наших соотечественников спасительным или хотя бы утешительным примером.

Персонажи Хемингуэя, как и советские люди, то и дело, по выражению Маяковского, – «наступали на горло собственной песне», но при этом Раисой Орловой тонко подмечено, что по-

добие хемингуэевского кодекса тем правилам, которые внедрились в души советских людей, было обманчивым, а суть этих двух этических программ – диаметрально противоположной. Чем бы ни жертвовали герои Хемингуэя в борьбе за дело, которое они считали правым, никто из них, тем не менее, не писал доносов, не выдавал на расправу колхозникам собственного отца и не сопровождал демагогические лозунги партийных вождей – бурными, долго не смолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Поэтому углубление в мир Хемингуэя становилось для советского человека если не бунтом, то во всяком случае – формой бегства от действительности с ее метростроями, днепрогэсами и гидроцентралями, с ее громохочущими одами и клубящимися эпопеями, а главное – с ее приматом коллектива над личностью.

Нельзя не согласиться с Орловой и в том, что любовь к Хемингуэю носила в нашей стране романтический, то есть – капризный, возвышенный, требовательный и переменчивый характер, склонный к идеализации и потому чреватый в дальнейшем бурными разочарованиями. Действительно, увлечение Хемингуэем, как подмечает Раиса Орлова, явно напоминает феномен русского байронизма 19-го столетия, когда в 20-е – 30-е годы появились десятки русских поэм и романов в байроническом духе. Ведь и тогда, как и в случае с Хемингуэем, можно было не только декламировать строки, навеянные английским поэтом, но и встречать местных байронов в Петербурге и в Москве, в дворянском собрании и в гвардейском полку, на полковой гауптвахте или даже в казематах Петропавловской крепости. И если молодой Александр Сергеевич Пушкин, условно говоря – кутался в плащ Чайлд-Гарольда, то Иосиф Бродский или Василий Аксенов в пору ранней молодости примеривали на себя грубые рыбацкие свитера и отпускали хемингуэевские бороды.

Раиса Орлова внимательно прослеживает всю историю бурного и драматического «романа» между русским обществом и великим американским писателем со всеми взлетами и спадами, с первыми публикациями и первыми проработками, с длительной опалой в сороковые годы, которую Хемингуэй имел честь разделять с лучшими русскими прозаиками Булгаковым, Платоновым и Зощенко, с реабилитацией в конце 50-х годов, которую Хемингуэй разделил с теми, кто уцелел в сталинских лагерях, и с постепенным угасанием этого «романа» в 70-е годы.

Именно в эту пору, когда Хемингуэй завоевал журналы и издательства, сцену и кинематограф, русское общество начало охладевать к своему кумиру. Любовь к нему перестала быть

личной, интимной, полузапретной, она стала общей, дозволенной, массовой, а это ли не верный признак угасания чувств? Полтора десятилетия русская молодежь жила рыболовно-охотничьими и военно-спортивными идеалами, но вот недолгая оттепель сменилась ощутимыми заморозками, переходящими в устойчивое ненастье, и мыслящая часть русского общества разделилась на лояльных прагматиков и на тех, кто потянулся к более глубоким формам духовности, кто попытался приобщиться к религии или русской философии начала века, кто либо замкнулся в узком кругу близких по духу людей, либо бесстрашно пошел на открытую конфронтацию с властями.

Для этого поколения Хемингуэй был простоват и даже инфантилен, а его основные тезисы перекликались с древнегреческим «В здоровом теле – здоровый дух», в то время, как русское общество все чаще убеждалось, что в самом здоровом теле может гнездиться рабское заячье сердце, а слабая и хрупкая телесная оболочка сплошь и рядом оказывается вмещилищем подлинной духовности.

Таким образом, Хемингуэй как бы перекинул для советского читателя мост от парадного и безликого искусства социалистического реализма к фантазмагориям Кафки и Орвелла, к откровениям Бердяева, Леонтьева и Соловьева, одарив наше поколение простыми и доступными идеалами, и не Хемингуэй виновен в том, что эти идеалы оказались слишком хрупкими, что советская реальность потребовала от нас более серьезных решений и побудила к более серьезным раздумьям.

Хемингуэй был нашим кумиром, его не только любили как писателя, но и старались жить по его образцам, и потому разочарование в нем было особенно сильным, ведь по-настоящему презирать и ненавидеть человек способен лишь собственные слабости и грехи.

Хемингуэй застрелился около тридцати лет назад, и с тех пор остается неизменным, а меняемся только мы сами, и не очень-то благородно, я думаю, возлагать на покойного писателя ответственность за собственные перемены.

Хемингуэй был кумиром, а любовь или хотя бы благодарность к развенчанному кумиру требует от нас известной доли благородства, поэтому главная ценность книги Раисы Орловой именно в том, что она пробуждает добрые чувства в тех из нас, кто еще способен на это.

С. Довлатов

Новооткрытая лирика Сергея Клычкова

Еще «оттепелевских» времен привыкли мы к прежде в общем-то в истории небывалому: каждые несколько лет всплывает вдруг и навсегда остается в нашем интеллектуально-сердечном обороте целая литературная Атлантида – творчество того или иного, казалось бы навсегда погребенного, российского автора.

Литератор расстрелян, сгноен в тюрьме или лагере, распылен в зазеркалье эмигрантского бытия... Но вот проходят десятилетия и проясняются «лики творчества» – Мандельштама, Клюева, Ходасевича, Г. Иванова, все перечисляемы. А вот теперь еще – и Сергея Клычкова.

Сергей Антонович Клычков был арестован в июле 1937 года и, согласно «Воспоминаниям» Н. Я. Мандельштам, расстрелян на одном из допросов (правда, официальная дата его смерти иная – 21 января 1940 г.). Вот уже свыше пятидесяти лет в СССР не издано ни одной его книги.

Ныне наследие этого весьма причудливого и многоталантливого автора принялось воскрешать парижское издательство YMCA-PRESS. В последние годы здесь вышли два объемных романа Клычкова: «Сахарный немец» (в СССР напечатан в 1926 г.) и «Князь мира» (советское издание увидело свет в 1928-м). Книги эти сразу же вернули нам своеобразнейшего писателя, творчество его – теперь органичный для нашего сознания компонент российской постреволюционной прозы.

И вот недавно здесь же вышла избранная лирика Сергея Клычкова. «Обреченный Лель» – метко озаглавил предисловие к клычковскому томику составитель Мишель Никё.

...С. А. Клычков родился 13 июля 1889 года в семье крестьян-старообрядцев. Его первый поэтический сборник «Песни» появился в 1911 году, второй – «Потаенный сад» – в 1913-м. Дореволюционное поэтическое творчество С. Клычкова в еще большей степени, чем есенинское, скажем, опиралось на внесветскую фольклорную, впрочем, весьма условную «мифологию».

Господствовавший и широко разлившийся тогда во всем цивилизованном мире Jugend Stil (исподволь начинавший сменяться авангардизмом) алчно черпал отовсюду – от ассирийских орнаментов до... скандинавского эпоса и славянского фольклора включительно. Этого требовал его эклектичный синтез.

Сергей Клычков. «Стихотворения». Составитель Мишель Никё. Серия «Избранная лирика», YMCA-PRESS, 1985.

И этого нельзя не учитывать, говоря о таком явлении, как ранняя «славянская» лирика Клюева, Есенина, Городецкого и Клычкова. (Вспомним, что и Кандинский начинал с картин на «допетровские» темы.) Но каждое оригинальное творчество за счет спонтанности дарования и, так сказать, «онтологической» подлинности всегда преодолевает стилиевой антураж. И русская культура – в рамках «модерна» – давала новые и оригинальные художественные и поэтические миры.

Правда, Андрей Белый в 5-м номере «Записок мечтателей» (1922 г.), отстаивая «рембрантову правду в поэзии наших дней» (в данном случае поэтику Ходасевича), вспоминает и констатирует: «Пятнадцать уж лет как господствует в нашей поэзии спорт; самоновейшее вытесняет новейшее (...). Маяковский «штанил» в облаках преталантливо; и отелился Есенин на небе – талантливо, что говорить; Клюев озеро Чад влил в свой чайник и выпил, развел баобабы на севере так преталантливо, почти гениально, что нам не было время вдуматься в безбаобабные строки простого поэта (...)».

Клычков не имел столь интенсивного стихотворного дарования, как Клюев, но определенная душевная простота его лирики, делает ее подчас обаятельнее клюевской «баобабности»:

Синий дым по луговине...
В ряд сидят снопы в овине...
Дремлет дед за камельком,
Звезды падают мельком.

Эту строфу (из стихотворения 1923 г. «Дед овин сушит») сочувственно цитирует «молодой советский литературовед» А. М., чье проникновенное эссе, наряду с предисловием М. Никё, предваряет массив клычковского стихотворного текста в имковском сборнике.

А. М. верно углядывает в этой поэтике связь с Пушкиным:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут.

Мир поэзии Клычкова, – пишет А. М., – «мир лесной, травянистой, лиственной и озерной тишины и той душевной простоты, которая знакома нам по полотнам Нестерова».

Вместе с тем поэтика Клычкова претерпевает в 20-е гг. известные изменения:

Надела платье белое из шелка
И под руку она ушла с другим.
Я перекинул за плечи кошелку
И потонул в повечерный дым.

И вот бреду по свету наудачу,
Куда подует вешний ветерок,
И сам не знаю я: пою иль плачу,
Но в светлом сиротстве не одинок.

(...)

Лирическая энергия этих строф (написанных в 1922-м и доработанных в 1927-м гг.) сопоставима с лучшими пьесами С. Есенина.

Клычков остро переживал есенинское самоубийство:

И потому страшнее
Нет ничего уловки,
Когда себе на шею
Кладут петлю веревки...

(...)

Все ж в роковой записке
Меж кротких слов прощенья
Для дальних и для близких
Таится злое мщенье.

Поэт был горячим сторонником версии, что Есенин замыслил свое самоубийство как инсценировку, что накидывал на шею петлю, будучи уверен, что спешащий по гостиничному коридору приятель Вольф Эрлих успеет его спасти. Увы, то раздалась шаги другого постояльца, шедшего в другой номер. В примечаниях к новому тому Клычкова приводится фрагмент из хранящихся в ИМЛИ воспоминаний В. Ардова. Ардов воспроизводит слова Клычкова: «Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с Есениным номер в 3 часа ночи... А Сергей не мог убить себя, не мог!»

...После революции у Клычкова вышло несколько поэтических сборников: «Гость чудесный» (1923 г.), «Талисман» (1927 г.) и последний «В гостях у журавлей» (1930 г.). С тех пор его поэтические книги уже не переиздавались.

Травля Сергея Клычкова началась еще в 20-е годы. Ориентация на стихию народного поэтического слова и образа в «пролетарском» государстве расценивалась как заведомо «кулацкое» дело (подобно тому как ныне любое национально-патриотическое и православное движение духа «демократические» прокуроры автоматически подверстывают к черносотенству).

Так творческая судьба Клычкова отводит его от продажного соцреалистического балагана (не забудем, что речь тогда шла не «просто» о моральном и материальном выборе, но ис-

тинно о жизни и смерти, т. е. о сознательном выборе жертвенного пути; вспомним, какой ценой спасал свою шкуру С. Горюхицкий) – в стан обреченных, но сохраняющих достоинство и незамутненные стихотворческие истоки: Клычков близок Ключеву; окая, он читает Ахматовой:

Впереди тревожная доро́га,
Мно́го го́ря впереди,
О, побудь со мно́ю ради Бога,
Хоть немного по́сиди.

Так воспроизводила эту строфу (в беседе с Г. В. Глезкиным) Анна Андреевна. На самом деле это горячо любимое Осипом Мандельштамом стихотворение («любезно предоставленное» составителю сборника М. Никё С. Полляком, т. е. прежде не публиковавшееся) читается так:

Впереди одна тревога
И тревога позади.
Посиди со мной немного,
Ради Бога посиди.
Сядь со мною, дай мне руку,
Лоб не хмурь, глаза не щурь,
Боже мой, какая мука,
А всему виною дурь.

(...)

Завтра, может быть, не вспыхнет
Над землей зари костер,
Сердце навсегда утихнет,
Смерть придет – полночный вор,
В торбу черную под ветошь
С глаз упрячет медяки –
Нет уж, лучше в прорубь, нет уж,
Лучше к чёрту в батраки.

Здесь, и впрямь, есть нечто от одного из «течений» поздней лирики Мандельштама: драматизм и «последняя прямота» спрессованы в простую и весьма непритязательную по внешности поэтическую оболочку. И это, заметим попутно, есть, на наш взгляд, высшее творческое достижение вообще: выразительная сила стоит за – собственно словесной – тканью, за текстовой образностью, и вместе с тем «она дает о себе знать» с такой энергией, что у чуткого читателя мурашки бегут по коже (ср., например, мандельштамовское «Мы с тобой на кухне посидим»)...

Сколько хочешь плачь и сетуй, –
писал Клычков в 37-м году, –

Ни звезды нет, ни огня.
Не дождешься до рассвета,
Не увидишь больше дня!

В этом мраке, в этой темноте
Страшно выглянуть за дверь:
Там ворочается время,
Как в глухой берлоге зверь.

Время обернулось для Клыčkова – как и для его великих сподвижников по литературе – «зверем», беспощадно растоптавшим жизнь этого, хочется сказать... кудесника, этого необычайного литератора.

Но слава Богу – помимо конкретного исторического каннибальского времени, есть время иное – вечное, омывающее. Именно в его волнах скрывается до поры творчество закланного советскому зверю мастера. Но бьет час – и оно является во всей своей непререкаемой первозданной силе. А мученическая судьба автора придает ему особенное свечение.

Столь славная участь – вне сомнения – ожидает и творческое наследие Сергея Клыčkова, которое находит теперь своего признательного читателя.

Ю. К.



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Б о д р о в а Нина Борисовна, род. в Москве. Окончила Литературный институт. В СССР не публиковалась. С 1982 г. живет в Мюнхене. Стихи Н. Бодровой печатались в «Гранях» (№ 123) и «Вестнике РХД» (№ 142).

В а й л ь Петр, род. в 1949 году в Риге. Закончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Работал техником-конструктором, слесарем, грузчиком, пожарным, окномоем, журналистом. Служил в армии (1969-71). Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Александром Генисом.

Г е н и с Александр, род. в 1953 году в Рязани. Закончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Работал рабочим, пожарным, журналистом. Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Петром Вайлем.

Выступают в литературной критике, публицистике, эссеистике. Печатались в газетах, журналах «Грани», «Континент», «Время и мы», «22», «Эхо», «Часть речи» и др. Авторы книг «Современная русская проза» (1982) и «Потерянный рай» (1983). С 1980 по 1984 гг. редактировали еженедельники «Новый американец», «Новый Свет», «Семь дней».

В и л е н с к а я Лариса, род. в Москве. Училась в Институте стали и сплавов в Москве на факультете полупроводниковых материалов и приборов. Будучи студенткой, заинтересовалась парапсихологией. Работала сначала на общественных началах в Лаборатории биоинформации в Москве, а затем в качестве штатного сотрудника Института общей и педагогической психологии Академии Педагогических Наук СССР. Эмигрировала в Израиль в 1979 г. С 1981 г. живет в США, в Сан-Франциско. Издает международный парапсихологический журнал «Psy Research».

Г е с с е н Елена, род. в Москве. Окончила Институт иностранных языков. Работала в Библиотеке иностранной литературы. Переводила книги и статьи с немецкого, голландского и польского. Занималась литературной критикой. Эмигрировала в США в 1981 г. Живет в Бостоне.

Д о л и н а Вероника, род. в Москве (1957 [?]). Окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, затем Педагогический институт им. Ленина, отделение французского языка. Работала не по специальности, в редакции «Журнала экспериментальной и теоретической физики». Единственная публикация в СССР – цикл стихов в журнале «Юность». Булат Окуджава назвал Веронику Долину в числе наиболее талантливых бардов современной России.

Е ф и м о в Игорь Маркович, род. в 1937 г. в Москве. Окончил Ленинградский политехнический институт (1960), в 1963 – 1964 гг. читал в Сев.-зап. Политехническом институте курсы по термо- и аэродинамике. В 1973 году закончил Высшие литературные курсы в Москве. Печатается с 1962 г. Входил в литературную группу Вахтина «Горожане» (Ленинград, 1965). Эмигрировал из СССР в 1978 г. Живет в г. Анн Арбор (США).

Рассказы и повести Ефимова публиковались во многих журналах в СССР (до эмиграции) и на Западе. Его перу принадлежат 11 книг и сборников. Среди них: «Высоко на крыше» (1964), «Таврический сад» (1966), «Лаборантка» (1975), а также изданные на Западе роман «Как одна плоть» (1981) и приключенческий научно-фантастический роман «Архивы Страшного суда» (1982).

Ж о л к о в с к и й Александр Константинович, род. в 1937 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ и заочную аспирантуру по африканским языкам Института восточных языков при МГУ; кандидатская защита, задержанная в связи с «подписантством», состоялась в 1969 г. Работал в Лаборатории машинного перевода МГПИИЯ (1959 – 1974), Информэлектро (1974 – 1978), диктором языка сомали на московском радио (1967 – 1974), вел неофициальный семинар по поэтике (1976 – 1979). Эмигрировал в 1979 г. Преподавал в Амстердамском университете (1979), Корнелле (1980 – 1983) и университете Южной Калифорнии. Основные работы в области африканистики – «Синтаксис языка сомали» (М., 1971), структурной лингвистики – «Толково-комбинаторный словарь русского языка» (совместно с И. А. Мельчуком, Вена, 1985), поэтики – «Ма-

тематика и искусство» (М., 1976) и «Поэтика выразительности» (Вена, 1980, обе совместно с Ю. К. Щегловым), «Themes and Texts» (Ithaca, N. Y., and London, 1984), в области русской литературы – статьи в эмигрантских и славистических изданиях.

Максимов Владимир Емельянович, род. в 1932 г. в рабочей семье. Воспитывался в детских колониях. Работая на стройках Крайнего Севера и во многих городах страны, приобрел профессии каменщика, штукатура и др. С 1952 г. занимается литературным трудом. Первое прозаическое произведение – повесть «Мы обживаем землю» – появилась в 1961 г. в сборнике «Тарусские страницы» под ред. К. Паустовского. В 1971 г. в изд-ве «Посев» вышел роман В. Максимова «Семь дней творения» (до этого распространявшийся в Самиздате). В 1973 г. за публикации на Западе и публицистические выступления Максимов был исключен из ССП. В 1974 г. выехал во Францию, спустя год был лишен советского гражданства. В. Максимов – автор 6-томного Собрания сочинений, изданного изд-вом «Посев». Один из основателей и главный редактор журнала «Континент».

Парамонов Борис Михайлович, род. в 1937 г. Кандидат философских наук. Преподавал историю философии в Ленинградском государственном университете. В 1974 г. уволен из университета, а в 1976 г. лишен всякой работы и принужден эмигрировать. За границей занимается журналистикой. Печатается также на иностранных языках (по-итальянски, по-английски).

Рапопорт Виталий, род. в 1937 г. Окончил Московский институт стали. Кандидат экономических наук. В соавторстве с Ю. Алексеевым написал документальную книгу «Измена родине. Очерки из истории РККА. 1918 – 1938». Эмигрировал из СССР в 1980 г. Живет в Нью-Йорке.

Тудоровская Елена Александровна, род. в 1904 г. Фольклорист и литературовед. С 1920 г. училась в Петроградском государственном университете (ПГУ). В 1923 г. была сослана по студенческому делу. Вернулась в Ленинград в 1935 г. Эмигрировала из СССР в 1977 г., сейчас живет в США. В Советском Союзе печаталась в изданиях АН СССР (сб. «Русский Фольклор», «Советская Этнография» и др.). В эмиграции публиковала статьи по фольклористике в «Wiener Slawistischer Almanach» и ряд литературных статей в русских журналах и газетах Нью-Йорка.

В следующем номере:

Проза:

Василий Аксёнов
Леонид Бородин

Стихи:

Лев Лосев

Литературная критика:

Михаил Лемхин

Круг чтения:

П. Вайль и А. Генис

Публицистика:

Борис Парамонов

Интервью «Граней»:

СССР и США –
противоборство в космосе

Искусство:

Александр Батчан

Главный редактор Г. Н. Владимов
Зам. главного редактора М. А. Поповский
(представитель в США)
Ответственный секретарь Н. Е. Денисьева
Зав. редакцией Е. И. Пахомова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани” выпускает карманные сборники избранного из „Граней”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

А. Kandaurow c/o „Possev-Verlag”

Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней”:

Сборник	№ 1 из	№№	87/88-94 (разошелся)
Сборник	№ 2 из	№№	78-86 (разошелся)
Сборник	№ 3 из	№№	71-77 (разошелся)
Сборник	№ 4 из	№№	69-70 (разошелся)
Сборник	№ 5 из	№№	53-68
Сборник	№ 6 из	№№	49-52
Сборник	№ 7 из	№№	40-51
Сборник	№ 8 из	№№	34/35-39

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ” — 17.50 н. м., „ПОСЕВ” — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.